

Л. ПАНТЕЛЕЕВ

3

Л. ПАНТЕЛЕЕВ



2

## Annotation

В настоящее четырехтомное собрание сочинений входят все наиболее значительные произведения писателя. Состав томов и расположение материала по тематическому принципу предложены самим автором.

В третий том вошли рассказы о подвиге, рассказы о детях, маленькие рассказы, воспоминания, одноактные пьесы.

Рисунки П. Тырсы и И. Харкевича.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

---

- [Л. Пантелеев](#)
  - [Рассказы о подвиге\\*](#)
    - [Пакет\\*](#)
    - [Ночка\\*](#)
    - [Рассказы о Кирове\\*](#)
    - [Первый подвиг\\*](#)
    - [Приказ по дивизии\\*](#)
    - [Гвардии рядовой\\*](#)
  - [Рассказы о детях\\*](#)
    - [Честное слово\\*](#)
    - [Новенькая\\*](#)
    - [На ялике\\*](#)
    - [Маринка\\*](#)
    - [Долорес\\*](#)
    - [Главный инженер\\*](#)
    - [Платочек\\*](#)
    - [Индиан Чубатый\\*](#)
    - [Камилл и учитель\\*](#)
    - [Трус\\*](#)
    - [Буква «ты»\\*](#)
  - [Маленькие рассказы\\*](#)
    - [Спички\\*](#)
    - [Кожаные перчатки\\*](#)
    - [Настенька\\*](#)

- [Брат алкоголика\\*](#)
  - [Плоды просвещения\\*](#)
  - [Всепоглощающая любовь\\*](#)
  - [Две лягушки\\*](#)
  - [Рассказы и воспоминания](#)
    - [Живые памятники\\*](#)
    - [В осажденном городе\\*](#)
    - [Январь 1944\\*](#)
    - [У Щучьего озера\\*](#)
  - [Одноактные пьесы](#)
    - [Анечка\\*](#)
    - [Ночные гости\\*](#)
  - [Комментарии](#)
  - [Выходные данные](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
-

**Л. Пантелеев**

**Собрание сочинений в четырех томах**

**Том 3. Рассказы. Воспоминания. Пьесы**

# Рассказы о подвиге\*

Нет, дорогие товарищи, героического момента в моей жизни я не припомню. Жизнь моя довольно обыкновенная, серая.

В детстве я был пастухом и сторожил заграничных овец у помещика Ландышева. Потом я работал в городе Николаеве плотницкую работу. Потом меня взяли во флот. На «Двенадцать апостолов». Потом революция. Потом воевал, конечно. Потом учили меня читать и писать. Потом – арифметику делать.

А теперь я заведую животноводческим совхозом имени Буденного. А почему я заведую животноводческим совхозом имени Буденного, я расскажу после. Сейчас я хочу рассказать совсем небольшой, пустяковый случай, как я однажды на фронте засыпался.

Было это в гражданскую войну. Состоял я в бойцах буденновской Конной армии, при особом отряде товарища Заварухина. Было мне в ту пору совсем пустяки: двадцать четыре года.

Стояли мы с нашей дивизией в небольшом селе Тыри.

Дело было у нас плоховато: слева Шкуро теснит, справа – Мамонтов, а спереду генерал Улагай напирает.

Отступали.

Помню, я два дня не спал. Помню, еле ходил. Мозоли натер на левой ноге. В ту пору у меня еще обе ноги при себе были.

Ну, помню, сел я у ворот на скамеечку и с левой ноги сапог сымаю. Тяну я сапог и думаю: «Ой, – думаю, – как я теперь ходить буду? Ведь вот дура, какие пузыри натер!»

И только я это подумал и снял сапог, – из нашего штаба посыльный.

– Трофимов! – кричит. – Живее! До штаба! Товарищ Заварухин требует.

– Есть! – говорю. – Тьфу!

Подцепил я сапог и портянки и на одной ноге – в штаб.

«Что, – думаю, – за черт?! У человека ноги отнимаются, а тут бегай, как маленький!»

– Да! – говорю. – Здорово, комиссар! Зачем звали?

Заварухин сидит на подоконнике и считает на гимнастерке пуговицы. Он всегда пуговицы считал. Нервный был. Из донецких шахтеров.

– Садись, – говорит, – Трофимов, на стул.

– Есть, – говорю.

И сел, конечно. Сапог и портянки держу на коленях руками. А он с подоконника встал, пуговицу потрогал и говорит.

– Вот, – говорит, – Трофимов... Есть у меня к тебе великое дело. Дай мне, пожалуйста, слово, что умрешь, если нужно, во имя революции.

Встал я со стула. Зажмурился.

– Есть, – говорю. – Умру.

– Одевайся, – говорит.

Обулся я живо. Мозоли в сапог зачихал. Подтянул голенище. Каблуком прихлопнул.

– Готов? – говорит.

– Так точно, – говорю. – Готов. Слушаю.

– Вот, – говорит. И вынимает он из ящика пакет. Огромный бумажный конверт с двумя сургучовыми печатями. – Вот, – говорит, – получай! Бери коня и скачи до Луганска, в штаб Конной армии. Передашь сей пакет лично товарищу Буденному.

– Есть, – говорю. – Передам. Лично.

– Но знай, Трофимов, – говорит товарищ Заварухин, – что дело у нас невеселое, гиблое дело... Слева Шкуро теснит, справа – Мамонтов, а спереду Улагай напирает. Опасное твое поручение. На верную смерть я тебя посылаю.

– Что ж, – говорю. – Есть такое дело! Замётано.

– Возможно, – говорит, – что хватит тебя белогвардейская пуля, а то и живого возьмут. Так ты смотри, ведь в пакете тут важнейшие оперативные сводки.

– Есть, – говорю. – Не отдам пакета. Сгорю вместе с ним.

– Уничтожь, – говорит, – его в крайнем случае. А если Луганска достигнешь, то вот в коротких словах содержание сводок: слева Шкуро теснит, справа – Мамонтов, а спереду Улагай наступает. Требуется ударить последнего с тыла и любой ценой удержать центр, дабы не соединились разрозненные казачьи части. В нашей дивизии

бойцов столько-то и столько-то. У противника вдвое больше. Без экстренной помощи гибель.

– Понятно, – говорю. – Гибель. Давай-ка пакет, товарищ...

Взял я пакет, потрогал, пощупал, рубашку расстегнул и сунул его за пазуху, под ремень.

– Прощай, комиссар!

– Прощай, – говорит, – Трофимов. Живой возвращайся.

Выбежал я на крыльцо. Зажмурился. Каблуком стукнул.

«Ох! – думаю. – Только бы меня мозоль не подвела, дьявол!»

Бегу на выгон. Там наши кони гуляют – головы свесили, кашку жуют.

Выбрал я самого лучшего коня – Негра. Чудесный был конь, австрийскопленный. Поправил седло я, вскочил, согнулся, дал каблуком в брюхо и полетел.

Несется мой Негр, как леший.

Несемся мы по шоссе под липками, липки шумят, в ушах жужжит. Что ни минута, – верста, а Негр мой только смеется, фырчит, головой трясет... Лихо!

Вот мост деревянный простукали...

Вот в погорелую деревню свернули...

Вот лесом скачем...

Темно. Сыро. Я поминутно голову поднимаю, солнце ищу: по солнцу дорогу узнать легче. Голову подниму – ветки в лицо стегают. Снова сгибаюсь и снова дышу в самую гриву Негра.

Вдруг, понимаете, лес кончается. И вижу: течет река. Какая река? Что за черт?! Неожиданно.

Скачу по берегу вправо. Мост ищу. Нету. Вертаюсь, скачу налево. Нету.

Река широкая, темная – после узнал, что это река Донец.

– Фу, – говорю, – несчастье какое! Ну, Негр, ныряй в воду.

Спускаюсь тихонько с обрыва и направляю конягу к воде. Коняга подходит к воде.

– Но! – говорю. И пришпорил слегка. И поводьями дернул.

Не двинулся Негр.

– Но! – говорю. – Дурашка! Воды испугался?

Стоит и боками шевелит. И уши тоже шевелятся.

– Да ну же, – говорю, – в самом деле!..



Обозлился я тут... Как ударил в бока, свистанул:

– А ну, скачи!..

Подскочил Негр. И ринулся прямо в воду. Прямо в самую глубину.

Уж не знаю, как я успел стремена скинуть, только вынырнул я и вижу – один я плыву по реке, а рядом, в двух саженях, круги колыхаются и белые пузыри булькают.

Ох, пожалел я лошадь!..

Минут пятнадцать все плавал вокруг этого места. Все ждал, что вот-вот вынырнет Негр. Но не вынырнул Негр. Утонул.

Захлюпал я тут, как маленький, и поплыл на тот берег.

Вылез. Течет с меня, как с утопленника. Шапку в воде потерял. Сапоги распухли. В мягких таких сапогах и идти легко.

Пошел. Иду по тропиночке. Солнце мне левую щеку греет – значит, Луганск правее – где нос. Иду по направлению носа. Между прочим, все больше и больше обсыхаю. И сапоги обсыхают. Все меньше и меньше становятся сапоги – ногу начинают жать.

Вдруг откуда-то человек. Не военный. Вольный. В мужицкой одежде. Страшный какой-то.

– Здорово, – говорит, – пан солдат!

И смеется.

Я говорю:

– Чего, – говорю, – смеешься?

Я испугался немножко. Все-таки не в деревне гуляю на масленице. На фронте ведь.

А он говорит:

– Я смеюсь с того, пан солдат, что вы очень ласковые.

– Как, то есть, – говорю, – ласковые? Ты кто?

– Я, – говорит, – был человеком, а теперь я – бездомная собака.

Вы не смотрите, что у меня хвоста нет, я все-таки собака...

– А ну тебя, – говорю. – Выражайся точнее.

Смеется бродяга.

– Вы, – говорит, – у меня жену убили, а я сейчас вашего часового камнем пристукнул.

– Как, – говорю, – часового?

И сразу – за браунинг. А он за горло себя схватил, рубаху на себе разорвал и как заорет:

– Стреляй, стреляй, мамонтов сын!..

Я тут и понял. Фуражки на мне нет, звезды не видно – вот человек и подумал, что я белобандит, сволочь, мамонтовский казак.

– Кто, – говорю, – у тебя жену убил? Отвечай...

– Вы, – говорит. – Вы, добрые паны. И домик вы мой сожгли. И жинку, старушку мою, штыком закололи. Спасибочки вам...

И на колени вдруг встал. И заплакал.

«Фу! – думаю. – На сумасшедшего нарвался. Что с ним поделаешь?»

– Встань, – говорю, – бедный человек. Иди! Ошибаешься ты: не белый я, а самый настоящий красный.

Встал он и смотрит. Такими глазами смотрит, что век не забуду. Большие, печальные, как и действительно у собаки.

– Иди, – говорю, – пожалуйста.

А он смотрит.

– Иди, – говорю, – пройдишь немножко.

Страшно мне стало. Браунинг все-таки, шесть патронов в обойме, а страшно. Жутко как-то.

Мужик молчит. Тогда я свернул с тропиночки и осторожно пошел мимо него. И дальше иду. Нажимаю. И тут, понимаете ли, опять начинает скулить мозоль. Пока я стоял с сумасшедшим, сапоги у меня совершенно ссохлись. Невозможно до чего заскулила мозоль. Еле иду.

И вдруг сзади топот. Оглядываюсь – бежит сумасшедший. За мной бежит, орет чего-то.

Ох, испугался я – мочи нету. Побежал. Не могу бежать. Остановился. Поднял браунинг и спустил курок.

И конечно, выстрел у меня не вышел. Пока я купался, патроны промокли и отсырели.

Но сумасшедший остановился. Остановился и снова кричит:

– Пан товарищ! Не ходите до той могилы. За могилой вам смерть.

Не понял я. За какой могилой? Чепуха! Пошел.

Не знал я, конечно, в то время, что они тут всякую горку могилой называют. На горку как раз и взбираюсь. Карабкаюсь я на эту горку и вдруг вижу: навстречу мне с горки – конный разъезд.

Сразу я догадался, что это за разъезд. Блеснули на солнце погоны. Мелькнули барашковые кубанки. Сабли казацкие. Пики...

Тут на своих ужасных мозолях я все-таки побежал. Я побежал в кусты. Выкинул браунинг. И руками – за пазуху, за ремень, где лежал

у меня тот секретный пакет к товарищу Буденному.

Но – мать честная! Где же пакет? Шманаю по голому животу – живот весь на месте, а пакета нема. Нету!.. Потерялся пакет...

А уж кони несутся с горы, уж слышу казацкие клики:

– Гей! Стой!..

Уж даже фыркanye лошадиное слышу. Даже свист из ноздрей слышу. А бежать не могу. Невозможно. Не позволяют, понимаете, мозоли бежать, и все тут.

Глупо я им достался. Тьфу, до чего глупо!

Ну, у меня еще в те времена, по счастью, обе руки при себе были. Я показал им, как в нашей деревне дерутся. Один – получай в зубы, другой – в ухо, а третий... третий меня по башке стукнул. Упал я. И память потерял. Но не умер.

Очнулся я – мокрый. Течет на меня вода. Хлещет вода, не поймешь откуда. И в нос, и в уши, и в глаза, и за шиворот. Фу!

Закричал я:

– Да хватит! Бросьте трепаться!



И сразу увидел: лежу я на голой земле у колодца, вокруг офицеры толпятся, казаки... Один с железным ведром, у другого в руках пузырек какой-то, спирт нашатырный, что ли...

Все нагибаются, радуются... Сапогами меня пинают.

– Ага, – говорят, – ожил!

– Задвигался!

– Задышал, большевистская морда!

– Вставай! – приказывают.

Я встаю. Мне все равно, что делать: лежать, или стоять, или сидеть на стуле. Я стою. Мокрый. Весь капаю.

– Ну как? – говорят. – Куда его?

– Да что, – говорят, – с ним чикаться! Веди его, мерзавца, прямо в штаб.

Повели меня в штаб. Иду. Капаю. И невесело, вы знаете, думаю:

«Да, – думаю, – Петя Трофимов, жизнь твоя кончается. Последние шаги делаешь».

И, между прочим, эти последние шаги – ужасные шаги. Мозоли мои, товарищи, окончательно спятили. Прямо кусаются мозоли. Прямо как будто клещами давят. Ох, до чего тяжело идти!

«Да, – думаю, – Петечка!.. Погулял ты достаточно. Хватит. Мозолям твоим уж недолго осталось ныть. Через полчаса времени расстреляют тебя, буденновец Петя Трофимов!»

«Ох... Буденновец! – думаю. – Баба! Растяпа!.. Пакет потерял! Представить только: буденновец пакет потерял!..»

«Ой, – думаю, – неужели я его потерял? Неужели посеял? Невозможно ведь. Не мог потерять. Не смел...»

И себя незаметно ощупываю. Иду, понимаете, ковыляю, а сам осторожно за пазухой шарю, в штанинах ищу, по бокам похлопываю. Нет пакета. Ну что ж! Это счастье. С пакетом было бы хуже. А так – умирать легче. Все-таки наш пакет к Мамонтову не попал. Все-таки совести легче...

– Стой! – говорят конвоиры. – Стой, большевик! Вже штаб.

Поднимаемся мы в штаб. Входим в такие прихожие сени, в полутемную комнату. Мне и говорят.

– Подожди, – говорят, – мы сейчас доложим дежурному офицеру.

– Ладно, – говорю. – Докладывайте.

Двое ушли, а двое со мной остались. Вот я постоял немного и говорю.

– Товарищи! – говорю. – Все-таки ведь мы с вами братья. Все-таки земляки. С одной земли дети. Как вы думаете? Послушайте, – говорю, – земляки, прошу вас, войдите в мое тяжелое положение. Пожалуйста, – говорю, – товарищи! Разрешите мне перед смертью переобуться! Невозможно мозоли жмут.

Один говорит:

– Мы тебе не товарищи. Гад! Россию вразнос продаешь, а после – мозоли жмут. Ничего, на тот свет и с мозолями пустят. Потерпишь!

Другой говорит:

– А что, жалко, что ли? Пушай переобувается. Можно, земляк. Вали, скидавай походные!

Сел я скорее на лавочку, в уголок, и чуть не зубами с себя сапоги тяну. Один стянул и другой... Ох, черт возьми, до чего хорошо, до

чего приятно голыми пальцами шевелить! Знаете, так почесываешь, поглаживаешь и даже глаза зажмуришь от удовольствия. И обуваться обратно не хочется.

Сижу я на лавочке в темноте, пятки чешу, и совсем уж другие мысли в башку лезут. Бодрые мысли.

«А что? – думаю. – Не так уж мои дела, братцы, плохи. Кто меня, между прочим, поймать может? Что я такое сделал? Красный? На мне не написано, что я красный, – звезды на мне нет, документов тоже. Это еще не известно, за что меня расстрелять можно. Еще побузим, господа товарищи!..»

Но тут – не успел я как следует пятки почесать – отворается дверь, и кричат:

– Пленного!

– Эй, пленный, обувайся скорей! – говорят мне мои конвоиры.

Стал я как следует обуваться. Сначала, конечно, правую ногу как следует обмотал и правый сапог натянул. Потом уж за левую взялся.

Беру портянку. И вдруг – что такое? Беру я портянку, щупаю и вижу, что там что-то такое – лишнее. Что-то бумажное. Пакет! Мать честная!

Весь он, конечно, промок, излохматился... Весь мятый, как тряпка. Понимаете? Он по штанине в сапог провалился. И там застрял.

Что будешь делать?

Что мне, скажите, бросить его было нужно? Под лавочку? Да? Так его нашли бы. Стали бы пол подметать и нашли. За милую душу.

Я скомкал его и в темноте незаметно сунул в карман. А сам быстро обулся и встал.

Говорю:

– Готов.

– Идем, – говорят.

Входим мы в комнату штаба.

Сидит за столом офицер. Ничего. Морда довольно симпатичная. Молодой, белобрысый. Смотрит без всякой злобы.

А перед ним на столе лежит камень. Понимаете? Огромный лежит булыжник. И офицер улыбается и слегка поглаживает этот булыжник рукой.

И я поневоле тоже гляжу на этот булыжник.

– Что? – говорит офицер. – Узнаешь?

– Чего? – говорю.

– Да, – говорит, – вот эту штучку. Камешек этот.

– Нет, – говорю. – Незнаком с этим камнем.

– Ну? – говорит. – Неужели?

– В жизнь, – говорю, – с камнями дела не имел. Я, – говорю, – плотник. И вообще не понимаю, что я вам такого плохого сделал. За что? Я ведь просто плотник. Иду по тропинке... Понимаете? И вдруг...

– Ага, – говорит. – И вдруг – на пути стоит часовой. Да? Плотник берет камень – вот этот – и бьет часового по голове... Камнем!

Вскочил вдруг. Зубами заляскал. И как заорет:

– Мерзавец! Я тебе дам голову мне морочить! Я тебя за нос повешу! Сожгу! Исполосую!..

«Ах ты, – думаю, – черт этакий!.. Исполосуешь?!»

– Ну, – говорю, – нет. Пожалуй, я тебе раньше ноги сломаю, мамочкин сынок. Я таких глупцов полтора года бью, понял? Ты! – говорю. – Гоголь-моголь!

И бес меня дернул такие слова сказать! При чем тут, тем более, гоголь-моголь? Ни при чем совершенно.

А он зашипел, задвигался и кричит мне в самое лицо:

– А-а-а! Большевик? Товарищ? Московский шпион? Тэк, тэк, тэк! Замечательно!.. Ребята! – кричит он своим казакам. – А ну, принимай его. Обыскать его, подлеца, до самых пяток!

Ох, задрожал я тут! Отшатнулся. Зажмурился. И руки свои так в кулаки сжав, что ногти в ладошки вонзились.

Но тут, понимаете, на мое счастье, отворяются двери, вбегает молоденький офицер и кричит:

– Господа! Господа! Извиняюсь... Генерал едет!

Вскочили тут все. Побледнели. И мой – белобрысый этот – тоже вскочил и тоже побледнел, как покойник.

– Ой! – говорит. – Что же это? Батюшки!.. Смирно! – орет. – Немедленно выставить караул! Немедленно все на улицу встречать атамана! Живо!

И все побежали к дверям.

А я остался один, и со мной молодой казак в английских ботинках. Тот самый казак, который меня пожалел и мне переобуться

позволил. Помните?

Стоит он у самых дверей, винтовкой играет и мне в лицо плядит. И глаза у него – понимаете – неясные. Улыбается, что ли? Или, может быть, это испуганные глаза? Может быть, он боится? Боится, что я убегу?

Не знаю. Мне рассуждать было некогда. Я сунул руку в карман, нащупал пакет и думаю:

«Вот, – думаю, – последняя загадка: куда мне пакет девать? Уничтожить его необходимо. Но как? Каким макарон уничтожить? Выбросить его нельзя. Ясно! Разорвать невозможно. Что вы! Разорвешь, а после, черти, его по кусочкам склеят. Нет, что-то такое нужно сделать, что-то придумать».

Стою, понимаете, пакет щупаю и на своего надзирателя пляжу. А надзиратель – ей-богу! – улыбается. Смотрю на него – улыбается. Подозрительная какая-то морда. То ли он мне сочувствует, то ли смеется. Пойми тут! И главное дело – винтовкой все время играет.

«А что, – думаю, – дать ему, что ли, пакет на аллаха? Вот, дескать, друг, возьми, спрячь, пожалуйста...»

«Нет, – думаю, – нет, ни за что. Подозрительная все-таки морда. Очень, – думаю, – подозрительная».

Но, дьявол, куда ж мне пакет девать?!

И тут я придумал.

«Фу, – думаю. – Об чем разговор? Да съем!.. Понимаете? Съем, и все тут».

И сразу я вынул пакет. Не пакет уж, конечно, – какой там пакет! – а просто тяжелый комок бумаги. Вроде булочки. Вроде такого бумажного пирожка.

«Ох, – думаю, – мама! А как же его мне есть? С чего начинать? С какого бока?»

Задумался, знаете. Непривычное все-таки дело. Все-таки ведь бумага – не ситник. И не какой-нибудь блеманже.

И тут я на своего конвоира взглянул.

Улыбается! Понимаете? Улыбается, белобандит!..

«Ах так?! – думаю. – Улыбаешься, значит?»

И тут я нахально, назло, откусил первый кусочек пакета. И начал тихонько жевать. Начал есть.

И ем, знаете, почему зря. Даже причмокиваю.



Как вам сказать? С непривычки, конечно, не очень вкусно. Какой-то такой привкус. Глотать противно. А главное дело – без соли, без ничего – так, всухомятку жую.

А мой конвоир, понимаете, улыбаться перестал и винтовкой играть, перестал и сурьезно за мной наблюдает. И вдруг он мне говорит... Тихо так говорит:

– Эй! – говорит. – Хлеб да соль.

Удивился я, знаете. Что такое? Даже жевать перестал.

Но тут – за окном, на улице, как загремит, как залает:

– Урра-аа! Урра! Урра!

Коляска как будто подъехала. Бубенцы зазвенели. И не успел я как следует удивиться, как в этих самых сенях голоса затывкали, застучали приклады, и мой часовой чучелом застыл у дверей. А я испугался. Я скомкал свой беленький пирожок и сунул его целиком в рот. Я запихал его себе в рот и еле губы захлопнул.

Стою и дышать не могу. И слюну заплотать не могу.

Тут распахнулись двери и вваливается орава.

Впереди – генерал. Высоченный такой, косоглазый медведь в кубанской папахе. Саблей гремит. За ним офицеришки лезут, писаря, вестовые. Все суетятся, бегают, стулья генералу приносят, и особенно суетится дежурный по штабу офицер. Этот дежурный глистопёр уж прямо лисой лебезит перед своим генералом.

– Пардон, – говорит, – ваше превосходительство. Мы, – говорит, – вас никак не ожидали. Мы, так сказать, рассчитывали, что вы как раз под Еленовкой держите бой.

– Да, – говорит генерал. – Совершенно верно. Бой под Еленовкой уже состоялся. Красные отступили. С божьей помощью наши войска взяли Славяносербск и движутся на Луганск через Ольховую.



Подошел он к стене, где висела военная карта, и пальцем показал, куда и зачем движутся ихние части.

И тут он меня заметил.

– А это, – говорит, – кто такой?

– А это, – говорят, – пленный, ваше превосходительство. Полчаса тому назад камнем убил нашего караульного. Захвачен в окрестностях нашей конной разведкой.

– Ага, – говорит генерал.

И ко мне подошел. И зубами два раза лякнул.

– Ага, – говорит, – сукин сын! Попался? Засыпался?! Допрашивали уже?

– Нет, – говорят. – Не успели.

– Обыскивали?

Застыл я, товарищи: Зубы плотнее сжал и думаю: «Ну, – думаю, – правильно! Засыпался, сукин сын».

А все, между прочим, молчат. Все переглядываются. Плечами пожимают. Неизвестно, дескать. Не знаем.

И тут вдруг, представьте себе, мой землячок, этот самый казак в английских ботинках, выступает:

– Так точно, – говорит, – ваше превосходительство. Обыскивали.

– Когда?

– А тогда, – говорит, – когда он без памяти лежамши был. У колодца.

– Ну как? – говорит генерал. – Ничего не нашли?

– Нет, – говорит. – Нашли.

– Что именно?

– Именно, – говорит, – ничего, а нашли тесемочку.

– Какую тесемочку?

– Вот, – говорит. И вынимает из кармана ленточку. Ей-богу, я в жизнь ее не видал. Обыкновенная полотняная ленточка. Лапти такими подвязывают. Но только она не моя. Ей-богу!..

– Да, – говорит генерал. – Подозрительная тесемочка. Это твоя? – спрашивает.

А я, понимаете, головой повертел, покачал, а сказать, что нет, не моя, – не могу. Рот занят.

И тут, понимаете, опять казачок выступает.

– Это, – говорит, – ваше превосходительство, тесемочка не опасная. Это, – говорит, – плотницкая тесемка. Ею здешние плотники разные штуки меряют, вместо аршина.

– Плотники? – говорит генерал. – Так ты что – плотник?

Я, понимаете, головой закивал, закачал, а сказать, что ну да, конечно, плотник, – не могу. Опять рот занят.

– Что это? – говорит генерал. – Что он – немой, что ли?

– Да нет, – говорит офицер. – Должен вам, ваше превосходительство, сообщить, что пять минут тому назад этот самый немой так здесь митинговал, что его повесить мало. Тем более, – говорит, – что он мне личное оскорбление сделал...

– Так, – говорит генерал. – Замечательно. Ну, – говорит, – подайте мне стул, я его допрашивать буду.

Сел он на стул, облокотился на саблю и говорит:

– Вот, – говорит, – мое слово: если ты мне сейчас же не ответишь, кто ты такой и откуда, – к стенке. Без суда и следствия. Понял?

Конечно, понял. Что тут такого особенно непонятного? Понятно. К стенке. Без суда и следствия.

Я молчу.

Генерал помолчал тоже и говорит:

– Если ты большевистский лазутчик, сообщи название части, количество штыков или сабель и где помещается штаб. А если ты здешний плотник, скажи, из какой деревни.

Видали? Деревню ему скажи? Эх!..

«Деревня моя, – думаю, – вам известна: Кладбищенской губернии, Могилевского уезда, деревня Гроб».

И я бы сказал, да сказать не могу – рот закупорен. А я об одном думаю: «Как бы мне, – думаю, – мертвому, после смерти, рот не разинуть! Раскрою рот, а пакет и вывалится. Вот будет номер!..»

– Нет, – говорит генерал, – это, как видно, из тех комиссариков, которые в молчанку играют. Такой, – говорит, – скорее себе язык откусит. А впрочем... Вот, – говорит, – мое распоряжение. Попробуйте его шомполами. Поняли? Когда говорить захочет, приведите его ко мне на квартиру. А я чай пить пойду...

– Но только, – говорит генерал, – смотрите, не до смерти бейте. Расстрелять мы его всегда успеем, а нужно сперва допросить. Поняли?

– Так точно, – говорят, – ваше превосходительство. Будем бить не до смерти. Как следует.

Ну, генерал чай пить ушел. А меня повели в соседнюю комнату и велели снимать штаны.

– Снимай, – говорят, – плотник, спецодежду.

Стал я снимать спецодежду. Свои драгоценные буденновские галифе.

Спешить я, конечно, не спешу, потому что смешно, понимаете, спешить, когда тебя бить собираются.

Я потихонечку, полегонечку расстегиваю разные пуговицы и думаю: «Положение, – думаю, – нехорошее. Если бить меня будут, я могу закричать. А закричу – обязательно пакет изо рта вывалится. Поэтому ясно, что мне кричать нельзя. Надо помалкивать».

А между прочим, бандиты поставили посреди комнаты лавку, накрыли ее шинелью и говорят:

– Ложись!

А сами вывинчивают шомпола из ружей и смазывают их какой-то жидкостью. Уксусом, может быть. Или соленой водой. Я не знаю.

Я лег на лавку.

Живот у меня внизу, спина наверху. Спина голая. И помню, мне сразу же на спину села муха. Но я ее, помню, не прогнал. Она почесала мне спину, побегала и улетела.

Тогда меня вдарили раз по спине шомполом.

Я ничего на это не ответил, только зубы плотнее сжал и думаю: «Только бы, – думаю, – не закричать! А так всё – слава богу».

Пакет у меня совершенно размяк, и я его потихонечку плаваю. Ударят меня, а я, вместо того, чтобы крикнуть или там охнуть, раз – и проглочу кусочек. И молчу. Но, конечно, больно. Конечно, бьют меня, сволочи, не жалеючи... Бьют меня по спине, и пониже спины, и по ребрам, и по ногам, и по чем попало.

Больно. Но я молчу.

Удивляются офицеры.

– Вот ведь, – говорят, – тип! Вот экземпляр! Ну и ну!.. Бейте, братцы!.. Бейте его, пожалуйста, до полусмерти. Заговорит! Запоет, каналья!..

И снова стегают меня. Снова свистят шомпола.

Раз!

Раз!

Раз!

А я голову с лавочки свесил, зубы сдавил и молчу. Помалкиваю.

– Нет, – говорит офицер. – Это так невозможно. Что он такое сделал? Может быть, он и в самом деле язык себе демонстративно откусил?.. Эй, стойте!..

Остановились. Сопят. Устали, бедняжки.

– Ты, – говорит офицер. – Плотник! Будешь ты мне отвечать или нет? Говори!

А я тут, дурак, и ответил:

– Нет! – говорю.

И зубы разжал. И губы. И что-то такое при этом у меня изо рта выпало. И шмякнулось на пол.

Ничего не скажу – испугался я.

– Эй, – говорит офицер, – что это у него там изо рта выпало?  
Королев, посмотри!

Королев подходит и смотрит. Смотрит и говорит:

– Язык, ваше благородие...

– Как? – говорит офицер. – Что ты сказал? Язык?!

– Так точно, – говорит, – ваше благородие. Язык на полу валяется.

Дернулся я. «Фу! – думаю. – Неужели и вправду я вместе с пакетом язык сжевал?»

Ворочаю языком и сам понять не могу: что такое? Язык это или не язык? Во рту такая гадость, оскомина: чернила, сургуч, кровь...

Поглядел я на пол и вижу: да, в самом деле лежит на полу язык. Обыкновенный такой, красненький, мокренький валяется на полу язычишко. И муха на нем сидит. Понимаете? Понимаете, до чего мне обидно стало?

Язык ведь, товарищи! Свой ведь! Не чей-нибудь! А главное – муха на нем сидит. Представляете? Муха сидит на моем языке, и я ее, ведьму, согнать не могу!

Ох, до того мне все это обидно стало, что я заплакал. Ей-богу! Прямо заплакал, как маленький... Лежу на шинельке и плачу.

А бандиты вокруг стоят, удивляются и не знают, что делать.

Тогда офицер говорит:

– Королев, – говорит, – убери его!

– Слушаю-с, – говорит Королев. – Кого убрать?

– Язык, – говорит, – убери. Болван! Не понимаешь?

«Ну, – думаю, – нет! Шалите! Не позволю я вам надсмехаться над моим язычком».

Проплотил я скорее слезы и заодно все, что у меня во рту было, протянул руку, схватил язычок и – в рот.

И чуть зубы не обломал.

Мать честная! Никогда я таких языков не видел. Твердый. Жесткий. Камень какой-то, а не язык...

И тут я понял.

«Фу ты! Так это ж, – думаю, – не язык. Это – сургуч. Понимаете? Это сургучовая печать товарища Заварухина. Комиссара нашего».

Фу, как смешно мне стало!

Размолот я зубами этот сургучный язык и скорей, незаметно, его проплотил.

И лежу. И не могу, до чего мне смешно.

Спина у меня горит, кости ломит, а я – чуть не смеюсь. А над чем, вы думаете?

Смеюсь я над тем, что бандиты уж очень испугались за мой язык. Вот испугались! Вот им от генерала попадет! Ведь им генерал что сказал? Чтобы они меня живого и здорового привели к нему на квартиру. А они?..

Офицер – так тот прямо за голову хватается.

– Ой! – говорит. – Ай! Немыслимо!.. Чего он такое сделал? Ведь он язык съел! Понимаете? Язык уничтожил! Боже мой, – говорит, – какая подлость!

И ко мне на колесиках подъезжает:

– Братец, – говорит, – что с тобой? А? Зачем ты плачешь?

А я и не плачу. Я смеюсь.

– А? – говорит. – Может быть, – говорит, – тебе лежать жестко? Ты скажи тогда. Можно подушку принести. Хочешь, – говорит, – подушку? Отвечай.

А я ему отвечаю:

– Мы-ны-бы-бы...

– Что? – говорит.

Я говорю:

– Бы-бы...

И головой трясу. Понимаете? Будто я настоящий немой.

– Да, – говорит офицер. – Так и есть. Он язык слопал. А ну, говорит, – ребята! Сведем его, пожалуйста, поскорей в околоток к доктору. Может быть, с ним еще чего-нибудь можно сделать. Может быть, он не совсем язык откусил. Может быть, пришить можно.

– Одевайся! – говорят.

Стали мне помогать одеваться. Стали напяливать на меня гимнастерку, пуговицы стали застегивать, будто я маленький и не умею. Но я отпихнул их и сам оделся. Сам застегнулся и встал. Встал на свои ноги.

И ясно, что первое дело – спину пощупал. Надо же поглядеть, что и как.

И – как вам сказать? Чешется. Липкая какая-то, противная стала спина. И – ноги. Ноги еле стоят. Фу, до чего плохие стали ноги!

– А ну, – говорят, – пошли!

Пошли. Выходим на площадь. Идем. Я иду, офицер идет и – представьте себе – казачок в английских ботинках идет. Его фамилия Зыков.

– Слушай, Зыков, – говорит офицер. – Веди его, пожалуйста, поскорей в околоток. А я тебя сейчас догоню. Я, понимаешь, к его превосходительству должен сбегать.

Подхватил свою кавалерийскую саблю и побежал.

А мы идем через площадь. Я – впереди, а Зыков – немного сзади.

Винтовку свою он держит наперевес. И молчит.

Я говорю:

– Послушай, земляк...

А он отвечает:

– Молчать!

Я говорю:

– Брось ты, братишка!..

А он:

– Не разговаривать! Смир-рно!

Вот ведь какой чудной! Вот белая шкура!

Ну, я больше с ним разговаривать не стал и иду молча.

Иду, понимаете, ковыляю и разные мысли думаю. И думаю все о том, что дело мое окончательно гиблое. Что всюду, куда ни сунься, – один каюк.

Ну, сами подумайте, что мне такое делать? Бежать? Так сзади с винтовкой шагает. Беги – все равно спасу нет.

Нет, невеселое мое дело! Ох, до чего невеселое! Только одно и весело, что пакет слопал. Это – да! Это еще ничего. Все-таки совесть во мне перед смертью чистая...

А тут мы пришли в околоток. Это по-нашему если сказать, по-военному. А по-вольному – называется амбулатория. Или больница. Я не знаю.

Маленький такой деревенский домик. Окно открыто. Крылечко стоит. У крылечка и под окном на завалинке сидят больные. Очереди ждут.



Один там больную руку на белой повязке качает. У другого нога забинтована. Третий все время за щеку хватается – зубы скулят. Четвертый болячку на шее ковыряет. У пятого – неизвестно что. Просто сидит и махорку курит.

И все, конечно, об чем-то рассуждают, чего-то рассказывают, смеются, ругаются...

Мой конвоир говорит:

– Здорово, ребята!

Ему отвечают:

– Здоровы! Куды, – говорят, – без очереди? Садись, четырнадцатым будешь.

Он говорит:

– Мы без очереди. У нас, – говорит, – дело очень серьезное.

– Со штаба?

– Ну да, – говорит. – Видите, комиссар заболел.

– Ого! – говорят. – Что же в нем заболело?

– А в нем, – говорит, – зуб заболел. Ему перед смертью особую золотую плонбу хочут поставить.

– Ого! – говорят.

Хохочут, дьяволы. Издеваются. И тот – этот Зыков – тоже хохочет и тоже шуточки вышучивает.

– А ну, – говорит, – комиссар, садись, отдохни, покуда его благородие к его превосходительству бегают. Да ты, – говорит, – не стесняйся...

Я не стесняюсь. Сесть я хотя и не сел, а слегка прислонился к столбику, на котором крыльцо висело.

Стою потихоньку, спину свою о столбик почесываю и на этих гадов внимания не обращаю.

«Пускай, – думаю, – веселятся. Жалко, что ли? Больные все-таки. Скучно ведь».

А сам и не слушаю даже, чего они там про меня зубоскалят. Я, понимаете, природой люблюсь.

Ах, какая природа! Ну, я такой не видал. Ей-богу! Даже в нашей деревне и то нету таких садов и таких густых тополей. А воздух такой чудный! Яблоком пахнет. А небо такое синее – даже синее Азовского моря! Ну, прямо всю жизнь готов любоваться! Да только какая моя

осталась жизнь? Маленькая. Я потому и люблю, что после уж поздно будет. Зато уже всю люблю. Даже голову к небу задрал.

А тут, понимаете, прибегает со своей саблей его благородие, господин офицер. Красный такой, весь взлохмаченный, мятый, словно его побили. И на меня:

– А! – говорит. – Языки кусать? Ты, – говорит, – языки кусаешь, а после за тебя отвечаешь? Да? Дрянь худая!..

Размахнулся и – раз! – меня по щеке. Понимаете?

Я ничего на это не ответил, только зубы сжал да как вдарю его по башке. Сверху.

Ох, как завоет, застонет, заверещит:

– Расстрел-л-лять!..

А я еще раз – бах! И еще со всего размаху – бах!

Ну, он и сел, как миленький, у самого крылечка.

Конечно, меня в два счета сграбастали эти самые больные. Руки мне закрутили, к виску – наган и не выпускают. А я и не рыпаюсь. Чего мне рыпаться? Стою потихоньку. Тогда офицер встает, поправляет свою офицерскую фуражечку и говорит:

– Погодите еще стрелять.

Потом закачался, глаза закрыл и говорит:

– Ох... Мне худо...

Его поскорее сажают обратно на ступеньку и начинают махать около его морды – кто чем: кто, понимаете, тряпкой, кто веточкой, а кто просто своей забинтованной лапой.

– Ну как, – говорят, – ваше благородие? Ожили?

– Да нет, – говорит. – Не совсем.

Опять помахали.

– Ну как?

– Ожил, – говорит. – Спасибо... Молодцы, ребята!

Они, дураки, отвечают:

– Рады стараться, ваше высокоблагородие!

Потом говорят:

– Ну как? Можно расстреливать?

– Да нет, – говорит офицер. И встает. – Нет, – говорит. – К моему сожалению, придется подождать с расстрелом. Его сначала доктору показать нужно. Однако расстрел от него не уйдет. Я, – говорит, – из этой малиновой дряни через полчаса решето сделаю.

Собственноручно. Но только сначала, – говорит, – его все-таки подлечить нужно... Послушай, Зыков, веди его, пожалуйста, поскорей к доктору, а я сзади пойду.

Понимаете? Боится! Боится рядом идти. Даже вдвоем с Зыковым боится...

– А ну, – говорит, – еще кто-нибудь... Вот ты, – говорит, – Филатов, у тебя наган при себе, пойдем с нами.

Зыков пихает меня прикладом и кричит:

– А ну, пошел! Живо!

Я пошел. Поднимаюсь по лесенке и захожу в эту самую – в раздевальную комнату.

Ну, знаете, воздух тут прямо противный. Карболкой воняет. Какие-то всюду банки валяются, склянки, жестянки. Пыль, понимаете, грязь.

Стены черные. У стены деревянная лавка стоит, а на стене, на вешалке, висят солдатские шинели, фуражка и китель с погонами.

Я это все заметил потому, что мы в раздевальной целую минуту стояли, покуда его благородие по лестнице поднимался. С ним, понимаете, опять худо стало. И его опять обмахивали березками.

Потом он приходит и говорит:

– Ну, вы! – говорит. – Чего на дороге стали? К доктору! Живо!

Ну, Зыков меня опять пихает прикладом, Филатов распахивает двери, и я захожу к доктору.

А доктор-то, доктор! Ей-богу, смешно сказать – совсем старичок. Беленький, маленький, ну такой маленький, что даже ноги его в халате путаются. А перед ним, понимаете, выпятив грудь, стоит этакий здоровенный полуголый дядя. И доктор его через трубку слушает. А тот дышит грудью. словно борец Василий Петухов.

Мы, понимаете, входим, а доктор и говорит:

– Стучаться, – говорит, – нужно.

Но тут, как увидел штабного офицера, совсем иначе заговорил.

– Извиняюсь, – говорит, – господин подпоручик. Я, – говорит, – думал, что это кто-нибудь без очереди лезет.

– Нет, – говорит офицер. – Вы ошиблись. У нас чрезвычайно экстренное дело. Потрудитесь, – говорит, – отпустить больного и оказать помощь.

– Ага, – говорит доктор. – С большим удовольствием.

Тут он скорее достукал своего борца Петухова, помазал его кой-где йодом и отпустил. А сам подошел к рукомойнику и стал намыливать руки.

– Да, – говорит. – Я вас слушаю.

– Вот, – говорит офицер. – Видите этого человека? Несколько минут тому назад этот человек демонстративно откусил себе язык.

– Ага, – говорит доктор.

Потом говорит:

– А как, позвольте спросить, откусил?.. Насовсем или частично?

– Я не знаю, – говорит офицер. – Может быть, и частично. Не в этом дело. Самое главное в том, что он теперь говорить не может. Понимаете? А нам еще нужно его допросить. Так вот, – говорит, – не можете ли вы чего-нибудь сделать? Научным путем. Чтобы он перед смертью хоть чуточку поговорил.

– Посмотрим, – говорит доктор.

И начинает споласкивать руки.

– Посмотрим, – говорит. – Это нетрудно. Хотя, – говорит, – должен вас поставить в известность, что наша наука не очень допускает, чтобы человек разговаривал без языка. Конечно, посмотреть можно. Это труда не представляет. Но все-таки с научной точки зрения я не берусь вам давать какие-либо обещания. Посмотреть, – говорит, – посмотрю, а...

– Хорошо, – говорит офицер. – Посмотрите. Но только нельзя ли поторопиться, господин доктор? Нельзя ли слегка поскорей?

– Можно, – говорит. – Почему же нельзя? Можно и поторопиться...

И начинает, понимаете, вытирать полотенцем пальцы. Один, понимаете, вытрет – посмотрит, полюбуется и другой начинает. Потом третий. Потом четвертый. И так далее.

Офицер – ну прямо лягается. Прямо копытами бьет. Даже шпора звякает.

А доктор внимания не обращает, вытирает себе потихоньку пальчики и чего-то мурлычет.

Потом он подходит ко мне и говорит:

– А ну, молодой человек... Откройте рот.

Я не хотел открывать. Но думаю: «Что, в самом деле... Жалко, что ли?..» Взял и открыл.

– Еще, – говорит, – откройте... Пошире!  
Я открываю еще пошире, как только могу.

– Еще, – говорит.

Ну, тут я совсем до ушей разинул ему свою пасть.

– Вот так, – говорит. – Достаточно. Спасибо.

Посмотрел он у меня во рту, поковырялся своими чистенькими пальчиками и говорит:

– Да нет, – говорит. – Язык на месте.

– Как? – говорит офицер. – Не может этого быть!

– Уверяю вас, – говорит доктор. – Язык в полной исправности, только синий.

– Да нет, – говорит офицер. – Вы ошибаетесь. Я же сам хорошо видел, как он его кусал.

– Тогда посмотрите, – говорит доктор.

И показывает ему мой рот. А там, понимаете, преспокойно болтается язык.

Ах, мать честная! Вот офицер удивился! Вот у него глаза на лоб полезли!

– Да что же это, – говорит, – такое! Да как же, – говорит, – это может быть? Что у него, дьявола, два языка висят, что ли?!

– Да нет, – говорит доктор. – Навряд ли что два... У одного человека двух языков не полагается. Этого наука не допускает. И я, – говорит, – хотя с научной точки зрения и не берусь объяснить этот факт, но в общем и целом – язык на месте.

– Тьфу! – говорит офицер. – Так, значит, он меня обманул?! Значит, он говорить может? Значит, ты, мерзавец, говорить можешь?

– Да, – говорю, – могу.

И тут же сказал я ему такое слово, от которого, извиняюсь, можно со стула упасть.

А он – вы думаете, что? Рассердился? Думаете, он орать на меня стал или драться? Ничего подобного. Он смеяться начал. Он прямо обрадовался – ну как не знаю что. Как будто ему, понимаете, пятнадцать рублей подарили.

– Ой, – говорит, – неужели это не сон? Неужели я не ослышался? А ну, – говорит, – повтори, что ты сказал.

Я повторил. И еще прибавил. Дескать, вы, говорю, ваше высокоблагородие, последняя дрянь и даже хуже. Вы, говорю...

Понимаете? Не ругается! Не дерется! Смеется, как лошадь.

– Еще! – говорит. – Еще!

Даже ругаться скучно. Чего, в самом деле? Я же не граммофон.

Я постоял, порычал немного и замолчал.

Тогда он кончает смеяться, поправляет свою офицерскую саблю и начинает командовать.

– Вы, – говорит, – господин доктор, пожалуйста, подзаимитесь немного с этим субъектом. Успокойте его слегка, приведите в порядок, а после пришлете его к нам в штаб. А вы, братцы, покараульте пленного. Филатов останется здесь, а Зыков – наружная охрана. После, Зыков, приведешь его в штаб.

Подцепил свою вострую саблю и поскакал. А за ним и Зыков. Дверь перед ним отворяет. И в сени за ним бежит.

И там, в этих сенях, кто-то вдруг как заорет:

– О-ох!

– Что? Что такое? – говорит доктор.

Тут Зыков кричит:

– Ничего! Ничего! Не извольте беспокоиться. Это их благородие спотыкнулись. О притолку шмякнулись.

– Ах, – говорит доктор, – разве можно так резво бегать?

Ну, мы остались втроем: я, Филатов и доктор.

А доктор-то, доктор! Фу, ей-богу, ну прямо без смеха глядеть невозможно.

Такого доктора, если потребуется, пристукнуть – совсем пустяки. Деревянной ложкой можно пристукнуть.

Но я вижу, что здесь у меня ничего не выйдет. Во-первых, Филатов как столб стоит со своим наганом. Потом – окно. Оно хоть и открыто, но за окном на завалинке больные сидят, – мне даже их голоса хорошо слышно, – а на подоконнике всякая мура стоит: банки, склянки, микстурки, клистирки...

Нет, я вижу, что здесь ничего у меня не выйдет, и стою тихо.

А доктор меня начинает лечить.

– Так вот, – говорит, – молодой человек... Откройте, пожалуйста, рот.

Я говорю:

– Зачем? Чего, – говорю, – вы там не видали?

– А я, – говорит, – хочу убедиться.

– Ну ладно, – говорю. – Убеждайтесь.

И рот раскрыл. И язык высунул.

– Да, – говорит доктор. – Язык у вас в полной исправности. Могу вас порадовать. Но только, – говорит, – он чересчур синий. Как будто его в чернилах купали. А? Вы, молодой человек, чернила не кушаете? Хе-хе!..

– Нет, – говорю.

– Так, так, – говорит. – И десны у вас распухли. Ну, – говорит, – нате, скушайте, пожалуйста, пирамидону.

Я съел. Ничего.

Мне, понимаете, так здорово есть хотелось, что я бы и самого доктора съел.

– Вы что? – говорит. – Военнопленный?

– Да, – говорю. – Не в гости, конечно, сюды приехал.

– Значит, вы – большевик?

– Был, – говорю. – Да.

– Ах, – говорит, – вы сядьте. Что вы стоите? Вот, пожалуйста, табуретка – присаживайтесь.

– Нет, – говорю, – спасибо. У меня, – я говорю, – на том месте, где сидят, заметка на вечную память. Я, – говорю, – этим местом сидеть не могу. Но если б мне жить привелось, я бы, – говорю, – не забыл, что и как. Я бы, – говорю, – помнил.

И тут я, товарищи, извиняюсь, штаны опустил и показал доктору.

– Ах, – говорит доктор, – ах, какая жестокость!

А Филатов как загопочет:

– Го-го-го!

– Ты что? – спрашивает доктор.

– Виноват, – говорит, – ваше благородие. Поперхнулся.

А доктор нахмурился и говорит:

– Ну, – говорит, – молодой человек, если вас не расстреляют, приходите, – я вам еще пирамидону дам.

– Ладно, – говорю. – Зайду.

Смеюсь, конечно. Зачем мне, скажите, после смерти ходить, старичков пугать? Я насовсем помирать собрался. А живым я ходить уж, понимаете, не надеюсь. Нет, не надеюсь, ни чуточки.

– Ну что ж, – говорит доктор, – можете отправляться.

А сам уж скорей к ручной мойке – пальчики мылить.

Филатов командует:

– Шагом марш!

И наган свой наизготовку.

Выходим через сени на улицу. Зыков сидит с больными. Сидит на завалинке с больными и что-то рассказывает смешное. Те на него хохочут. Зубы скалят.

– А! – говорит. – Комиссару почтенье! Ну, как, – говорит, – поставили вам золотую пломбу?

Все:

– Ха-ха-ха...

Смешно, понимаете, дуракам.

И Филатов тоже грохочет.

Я говорю:

– Поставили бы, – говорю, – тебе такую пломбу в плотку...

Говорю тамбовский!

Все опять:

– Ха-ха-ха!.. Ловко отшил! Браво!

Зыков мне отвечает:

– Я-то тамбовский, а ты, интересно, каковский?

Я говорю:

– Знаешь? Я с тобой и говорить не хочу. Продажная ты, – говорю, – шкура! Белобандит!

Гляжу – покраснел мой Зыков. Встает, поднимает свою винтовку и говорит:

– А ну! – говорит. – Поворачивайся! Шагом марш!

И затвором – щелк!

Дескать, поговори у меня – свинцовую пломбу получишь.

Я пошел. Идем мы почти что рядом. Я слева, а Зыков справа. И вдруг я вижу, что мы совсем не туда идем. Понимаете? Мы идем не к штабу, а куда-то совсем обратно. Туда, где село кончается. Где последние домики стоят.

«Что, – думаю, – за шут? Куда же это мы идем?»

А спросить я, конечно, у Зыкова не хочу. Самолюбие не позволяет. Я молчу.

Зыков тогда говорит:

– А ну, поднажми.

– Вот еще! – говорю. – Буду бегать!



Он говорит:

– Поднажми! Дурак!

Ну, я хотя и не очень, а пошел побыстрее. А сам думаю: «Занятно, куда это все-таки мы так спешим? На свадьбу, что ли?»

И только я это подумал: «на свадьбу», вижу – идет нам навстречу какой-то седой генерал. Какое-то, понимаете, чучело в синих подштанниках. Такой, понимаете, щупленький, поганенький старичок. Идет и ножкой подрывивает.

– Куда? – говорит.

Тут Зыков мой делает перед ним, как полагается, стойку и отвечает:

– Так что, – говорит, – ваше превосходительство, пленного большевика к исполнению веду.

– В расход?

– Так точно, ваше превосходительство, в расход.

– Ну, ну, – говорит генерал. – Вольно... Шагай себе... Не промахнись, – говорит.

И на меня, понимаете, этак весело посмотрел, будто я курица или гусь и он меня на обед скушать собирает.

– Шагай, – говорит, – с богом... И пусть, – говорит, – твоя рука не дрогнет... Потому что, – говорит, – ты не человека убиваешь, а дьявола. Понял?

– Так точно, – говорит Зыков. – Понял, – говорит. – Дьявола.

– Ну, с богом! – говорит.

И пошел. Опять, понимаете, ножкой задрыгал.

А мы, понимаете, тоже пошли дальше.

И прямо скажу – не хотелось идти. Ну, поверите, ноги не хотели идти.

А тем более, что погода была замечательная. Погода стояла чудная. В садах повсюду фрукты цвели. Деревья шумели. Птицы летали.

А тут – изволь идти на такой веселенький проминат!

Ах, мать честная!.. Никогда мне, товарищи, не забыть, как я тогда шел, что думал и что передумал...

Иду, понимаете, я впереди, а Зыков идет сзади. Винтовочка у него все гремит. Английские ботиночки поскрипывают. И все молчит этот

Зыков – сукин сын... Хоть бы слово сказал для развлечения. Хоть бы крикнул чего-нибудь.

А идем мы сначала селом. Потом мы выходим на выгон, где коровы гуляют. Потом по тропиночке, мимо разных там огородов и зимних сараев идем. И все молчит этот Зыков – сукин сын... Только знай винтовкой потряхивает. И противно все время скрипят его ботсы.

Фу, понимаете, до чего невесело!..

Я думаю: «Ну! Ну, Петя Трофимов!.. Буденновец! Подними голову!»

Не могу, понимаете. Не поднимается голова.

Какая-то, понимаете, панихида все время в голову лезет.

«Да, тяжело, – думаю, – Петя Трофимов, помирать не в своей губернии. Хотя, – думаю, – губернии мне не жаль. Какая у меня, к черту, губерния? Какая у плотника, каменщика, пастуха губерния? Где хлебом пахнет, туда и ползешь. Отец у меня в одном месте зарыт, мать – в другом. Только и остались у меня боевые товарищи. Да вот загадка: выскочат ли они из ловушки? Ох, – думаю, – туго небось товарищу Заварухину в деревне Тыри. Слева Шкуро теснит, справа – Мамонтов, спереди Улагай напирает... И, может быть, это из-за меня! Может быть, это я все дело прошляпил?!»

Но – дьявол! – куда же мы всё идем? Куда же мы всё, понимаете, шагаем?

Уж вон и села не видать, и собаки не лают, а мы всё идем. Удивительно, знаете.

«Разве, – я думаю, – здесь вот, за этим кусточком, не очень подходящее место? Или вон, скажем, за теми ракетами...»

Мне ведь, товарищи, самому приходилось расходовать людей.

Я думаю: «Здесь, за этим кусточком, или вон в том овраге – очень удобное место. Это Зыков, – я думаю, – напрасно меня туда не ведет».

А Зыков меня, понимаете, как раз туда и ведет. В тот самый в овраг.

– А ну, – говорит. – Стой!

Я встал. И стою. И спокойно, вы знаете, думаю:

«Что ж, – думаю. – Прощайся, буденновец!..»

А с кем мне прощаться? Вокруг, понимаете, одна трава.

Я повернул голову и вижу, что Зыков берет свой бердан под мышку, а сам лезет за пазуху и вынимает оттуда – что-то такое

неясное.

– На! – говорит. – Пришпиливай!

Что такое?

Вижу – погоны. Понимаете? Золотые погоны с такими блестящими бляшечками. И четыре французских булавки.

– Ну! – говорит. – Приторачивай!

– Что? – говорю.

Я, понимаете, не понимаю. Я говорю:

– Ну тебя, знаешь!.. Довольно шутики шутить.

А он:

– Чумовой! – говорит. – Надевай поскорей погоны, покуда нас не засыпали. Слышишь?

Я не могу. Ей-богу, стою, понимаете, как дурак.

– Ну давай, – говорит, – я сам присобачу. Нагинайся, – говорит. – Живенько!

Я нагнулся. И тут он мне ловко пришпилил двумя булавками левый погон и двумя булавками правый.

– А теперича, – говорит, – бежим.

– Куда? – говорю.

– А куда? – говорит. – Ясное дело, куда: к Буденному.

Ох, товарищи!.. Ну, знаете, я чуть не заплакал. Ей-богу, я сел на землю и встать не могу.

– Браток! – говорю. – Братишка! Зыков, – говорю, – неужели свой?

– Свой, – говорит, – честное слово... Вставай, – говорит, – побежим к Буденному.

– Нет, – говорю, – погоди... Не могу.

– А что? – говорит. – Почему не можешь?

– А у меня, – говорю, – в животе какая-то карусель начинается.

Понимаете? У меня в самом деле что-то ужасное начинается в животе. Начинает, я думаю, таять сургуч. Потому что как будто огнем начинает мне жечь и горло, и грудь, и особенно самое брюхо. Все, понимаете, кишки во мне начинают как будто плясать и как будто рваться на мелкие лоскутки. И больно. Такая боль, что сказать не могу. И на ноги встать не могу.

«Фу, – думаю. – неужели от пули спасся, а тут от такой гадости помирать? Нет, – думаю, – не хочу помирать».

И хочу, понимаете, встать на ноги. Через силу встаю на колени и падаю снова.

– Нет, – говорю, – шалишь! Встанешь, так тебя перетак!

И опять, понимаете, встаю на колени. И опять падаю.

– Ах, – говорю. – Дрянь какая!

Вы подумайте: буденновец на ноги встать не может.

«Ну, – думаю, – что ж... Значит – кончено».

– Значит, – говорю, – давай попрощаемся, товарищ Зыков.

А он говорит:

– Ладно. Прощаться мы после успеем. А ты, – говорит, – не обидишься, если я тебя на руках понесу?

– Нет, – говорю, – это не стоит. Это, – я говорю, – смысла нет меня на руках нести. Все равно мне каюк.

– Да брось, – говорит. – Ну просто у тебя в животе телеграмма зудит.

– Какая, – говорю, – телеграмма?

– А та, – говорит, – которую ты давеча сшамал.

– Вот, – говорю, – охламон! Вот чудик! Это же не телеграмма. Это пакет. Это секретное письмо к товарищу Буденному, которое, понимаешь, я вез и которое не довез. Я, – говорю, – ворона. Я съел важнейшие оперативные сводки своей дивизии. Меня, – говорю, – расстрелять за это мало.

Ну, я, понимаете, все ему рассказал.

– А теперь, – говорю, – оставь меня, за ради бога... Беги, пока жив.

А он – вы подумайте! – ничего мне на это не сказал, а берет меня прямо в охапку, кладет меня, как мешок, на плечо и шагает со мной в кусты.

А потом из оврага вон. А потом через кочки-пенечки бегом, понимаете, как припустил... Даже ужас! Лошади, понимаете, так не бегают.

Я говорю:

– Зыков! Тебе тяжело, наверно?

– Невидадь, – хрипит. – Я, – говорит, – и не с таким бегал.

Я говорю:

– Ты отдохни...

Мне, понимаете, все-таки неудобно как-то на человеке ехать.

– Ты отдохни, – говорю, – а потом опять поедem.

– Не гуди, – отвечает. – До леска вон того добежим, а там посмотрим.

А лесок, я пляжу, не близко. До леска того, понимаете, версты две.

Ну, мы так хорошо с ним скакали, что минут через десять были уже в лесу.

– Тпру! – говорю. – Приехали.

Зыков меня опускает на землю, и я – вы представьте себе! – спокойно встаю на ноги.

Вот ведь чудо какое!

А это, вы знаете, пока я на Зыкове через поле скакал, у меня в животе все помаленьку умялось. И стало как будто полегче. Как будто не так чересчур больно.

– Ну, что ж, – говорю, – давай побежим дальше!

А Зыков говорит:

– Нет. Погоди... Не могу.

– А что? – говорю. – Почему не можешь?

– А я, – говорит, – все-таки не лошадь! Я не могу без отдыха.

Вижу – действительно: вспотел парень.

Ну, мы тут сели с ним под высоким деревом: я растянулся в траве, а Зыков достал кисет и стал закуривать трубочку.

Я говорю:

– Все-таки, Зыков... Я не понимаю: кто ты такой?

– Я? – говорит. – Я – продажная шкура. Я, – говорит, – за английский шинель Мамонтову продался.

– Ох, – говорю, – ты же врешь, Зыков!

– Ну, – говорит, – может, и вру. Меня, – говорит, – это верно, мобилизовали. Я не своей охотой четвертый месяц у белых служу.

И тут он мне, понимаете, рассказал все...

Как он приехал с германского фронта домой. Как у него дома хозяйство погибло. Как он жену после тифа похоронил. Как он, представьте, у попа в работниках жил. И так далее... И как его после насильно забрали в казаки, дали ружье и велели стрелять в большевиков.

– Стреляй, говорят, и пороху не жалеи! Потому что, говорят, большевики не люди. Они, говорят, понимаешь, – враги человечества...

Я спрашиваю:

– И ты – стрелял?

– Нет, – говорит. – Я прикладом.

– Как, – говорю, – прикладом? Значит, ты убивал?

– Честное слово, – говорит, – одного только человека... И тот наш офицер. Подпоручик Гибель.

– Это какой, – говорю, – Гибель?

– А тот, – говорит, – который тебя по щеке ударил.

– Как? – я говорю. – Мать честная! Когда ты успел?

– А я, – говорит, – его в околотке... в сенях... прикладом. Пока ты там пирамидон кушал.

Ведь вы подумайте, какой ловкий парень! Он этого подпоручика с одного маху прикладом положил. Помните, доктор спросил, кто там орет? Так это Гибель орал. Зыков его в это время под лавку запихивал.

– Я, – говорит Зыков, – в этих сенях, между прочим, и погончики тебе раздобыл... Нет, – говорит, – не бойся. Не с покойника. Там у доктора китель висел. Так я с этого самого кителя. Ведь ты, – говорит, – теперь знаешь кто? Ты теперь – доктор.

– Фу, – говорю.

Я говорю:

– Зыков! Чего ж ты, братишка, тогда дурака валял? Чего ж ты со мной ругался?

– Ругался? – говорит. – А ты что – захотел, чтобы я целовался? Чтобы я тебя «дорогим товарищем» называл? Так нас бы с тобой тогда, дорогой товарищ, на одной березе повесили.

– Верно, – говорю. – Верно, Зыков! Ах, ну и ловкий ты парень, Зыков!

А он говорит:

– Да! У меня теперича такой вопрос: расстреляют меня, скажи, у ваших или нет, если я туды перемахну?

– Да брось, – говорю. – Ты что – генерал? Или ты полковник?

– Нет, – говорит, – я – нижний чин.

– Ну, – говорю, – чего ж нам тебя стрелять? Мы расстреливаем врагов, капиталистов, а ты кто? Ты же не капиталист? Ты же не с буржуазного класса?

– Я, – говорит, – таких слов не понимаю. Но я, – говорит, – окончил приходскую сельскую школу. Два класса. А после батя меня в

пастухи отдал.

– Во! – говорю. – Значит, мы с тобой одного звания. Я тоже в пастухах воспитывался. Да что, – говорю, – я! У нас вся армия с пастухов, да с маляров, да с каменщиков. У нас, – говорю, – тебя примут во как! Свой парень! Мужик! Где же тебе иначе служить, как не в буденновской армии?

– Верно, – говорит. – Мне, – говорит, – в казаках служить неподходящее дело. Я, – говорит, – это давно о Буденном мечтаю. Мне, понимаешь, ужасно охота его поглядеть. Какой он такой, Буденный? Ты его видел?

– Да, – говорю, – видел. Но только – на стенке. Портрет его у нас в штабе на стенке висел. На белой лошади.

– А что, – спрашивает Зыков, – он – с офицеров бывших?

– Ну да! – говорю. – Ты что – сдурел? Ведь он же командует цельной армией.

– Значит, из генералов?

– Да нет, – говорю, – из бывших батраков. Представь себе – нашей губернии мужичок. Да, впрочем, – говорю, – сам увидишь! Если мы до Луганска дойдем и я Буденного разыщу, я тебя обязательно с им познакомлю.

– Знаешь что? – говорит Зыков. – Давай пойдем тогда поскорей, поищем дорогу.

– Пойдем, – говорю.

А сам, понимаете, и встать не могу. Развезло.

Зыков тогда меня поднимает, и я кое-как шагаю. Шагаем мы через лес и выходим на такую веселую опушку. И помню – выходим мы на эту веселую опушку, Зыков и говорит:

– А скажи, – говорит, – на коего лешего ты нашего часового тюкнул?

Я говорю:

– Как тюкнул? Я, – говорю, – его не тюкал. Это его один сумасшедший, наверно, угробил.

И только я это сказал – вы подумайте! – из кустов выходит мужик. Тот самый сумасшедший мужик, который меня, вы помните, напугал и в которого я с браунинга целился.

Идет он навстречу – лохматый, рваный, и опять, вы подумайте, улыбается. И опять он чего-то бормочет и чего-то шипит.

Я испугался. Стал. Но виду не подал.

Я говорю:

– А-а! Знакомая личность.

– Это кто? – спрашивает Зыков.

Я говорю:

– А это тот самый, который вашего караульного камнем убил.

Потом говорю:

– Ты что же это, братишка, по чужому пачпорту людей убиваешь? А? Меня, знаешь, из-за тебя чуть за нос не повесили. Чуешь? Ты, – говорю, – зачем это вздумал людей убивать?

А он отвечает:

– Да, – говорит. – Убивал и убивать буду. Я, – говорит, – вас всех изничтожу, мамонтово племя.

И вижу – глядит мне на левое плечо. А там, понимаете, на левом плече, у меня погон сверкает.

– Я, – говорит, – и вас не пожалею. И вас отошлю к богу в рай, сучьи дети!

Нагибается и – вижу – берет камень.

– Стой! – кричу. – Стой, шалопут!

Но тут, понимаете, – ззиг!

Над самой моей башкой летит камень. Ну, только на палец башки не достал!

Разозлился я.

– Чум! – говорю. – Сумасшедший! Остановись!

А он, вы представьте себе, бежит до канавы, нагибается и набирает полные горсти камней. И оттуда, понимаете, из засады, начинает в нас этим камнем швырять. Мне в ухо два раза попал. Зыкову, кажется, в грудь или в нос.

Я говорю:

– Хватай его, Зыков! Чего там...

Навалились мы тут вдвоем на этого сумасшедшего, Зыков его по ногам хрястнул, а я в обнимку схватил и валю на землю... А он – сильный. Сумасшедшие, знаете, все сильные. Он ворочается, шипит, кусается – ну прямо никак невозможно его положить. И орет все время.

– Гады! – орет. – Собаки! Холуй буржуйские!..



Ну, тут я с себя ремешок стянул, – у меня ремешок был особенный, прочный, из сыромятной кожи, – и мы сумасшедшего кое-как связали. Чтобы он не орал, мы в рот ему напихали травы. И после, связанного, кинули в канаву, – лежи, мол, отдыхай.

И уж собрались дальше идти, – вдруг слышим топот. Казачий разъезд. Понимаете? Прямо на нас несутся.

– Стой! – говорят. – Кто такие? Откуда?

«Ну, – думаю, – Петя Трофимов! Завяз».

Сижу на земле на корточках и встать не могу.

А Зыков, вы знаете, не смутился. Он отвечает бойко:

– Так, мол, и так... Генерала Мамонтова личные курьеры.

– А куда идете?

– А идем, – говорит, – мы в деревню Курбатово, к полковнику Штепселю с донесением.

– Так, – говорят, – дело. А ну – поворачивай в штаб.

– Это зачем?

– А затем. Там разберемся.

И вижу – глядят на мои погоны. И хмуро посмеиваются. Дескать, нам все понятно. У нас глаза спробованные. Нас на арапа не возьмешь.

А только и Зыков не дурак. Он тоже глядит на мои погоны и тоже чего-то кумекает.

– Вы знаете, – говорит, – между прочим, кто это там сидит? Это, – говорит, – самый главный врач деникинской армии. Он только что убежал из советского плена, и теперь ему спешно необходимо податься к Деникину. А я его личный конвой. Чуете?

Те говорят:

– Врешь?!

Он говорит:

– Если вы только осмелитесь нас задержать, вам от Мамонтова так влетит, что лозы не хватит. Верно, – говорит, – господин доктор?

А я, понимаете, прямо смутился и не знаю, что сказать.

– Да, – говорю. – Висеть вам, ребята, на первой березе. Серая, – говорю, – вы скотинка. Какое вы имеете право так с благородным человеком поступать?

Я говорю:

– Наука этого не допускает.

Ну, они тут все сразу шапки посымали и стали затылки чесать. А тут, на наше счастье, еще какой-то подъехал. Казак. Он Зыкова знал. Он говорит:

– А! Зыков.

Зыков говорит:

– Здорово, Петров (или, там, Иванов). Подумай, какое дело: меня признавать не хотят!

Тот говорит:

– Что вы, ребята! Это же Зыков. С первого эскадрону. Нашему каптеру земляк.

Ну, тут уж бандиты совсем поверили, что я доктор, а Зыков мой адъютант.

– Пожалуйста, – говорят. – Можете ехать.

И мне говорят:

– Извините, ваше благородие. Мы не нарочно.

Я говорю:

– Чего там... Ладно. Наука это допускает.

И пошел. И Зыков за мной, как адъютант, идет.

А они нам кричат:

– Послушайте! Эй... Послушайте!

– Что еще? – спрашиваю.

Стал. А Зыков мне шепчет:

– Дуй! Дуй, парень...

Они говорят:

– Вы, господин доктор, на правую руку не ходите.

– А что такое?

– А там, – говорят, – за ручьем буденновцы окопались.

– Буденновцы? – говорю. – Ах, какой ужас! Ладно, – говорю, – не пойдем. Мерси вам. Можете ехать.

Они на коней позалезли и поехали.

А мы сразу – в канаву, где, помните, у нас сумасшедший был положен. Мы думали – он задохся. Но видим, что нет сумасшедшего. Туда, сюда, – представьте себе, исчез сумасшедший! Один ремешок в канаве лежит, и тот пополам лопнувший.

Ох, я дурак тогда был – мне до чего ремешка стало жалко, я чуть не заплакал! Зыков смеется, говорит: «Вот боров – какой сильный», – а я чуть не плачу. Тем более, что ремешок я купил у нашего взводного

за четыре куса рафинада и ему сносу не было. Такой сыромятный, свиной кожи ремень – его двадцать пять человек тяни, не растянешь. А тут один человек без рук разорвал... Или он его зубами раскусил, – я не знаю.

Стою, вздыхаю. Вдруг вижу, что Зыков тоже нахмурился и тоже чего-то соображает. Как будто он чего-то потерял. Или дома оставил.

– Ты чего? – говорю. – Что с тобой?

– погоди, – говорит, – не мешай.

И чего-то он себя осматривает и ощупывает и лоб потирает. Потом говорит:

– Я, – говорит, – забыл... Это какая рука?

Я говорю:

– Левая.

– А эта?

– Правая.

– Ну, – говорит, – слава богу! Давай сюда. На эту руку.

– А! – говорю. – Понимаю. На правую. За ручей. К Буденному.

Есть такое дело! Топаем, Вася!

Бросил свой бывший ремень и так, понимаете, бодро зашагал, что сам удивился. Но только – недолго.

Немного прошел, и опять, вы подумайте, заскулила мозоль, опять в животе заворчало и заныла спина.

Иду раскорякой и думаю.

«Эх, – думаю, – герой! Аника-воин. Таким из-под пушек лягушек гонять, а не за власть бороться».

А Зыков идет, идет и остановится. Потом остановился и говорит:

– Стой! Ты ничего не слышишь?

– Нет, – говорю.

Остановился. Послушал.

И в самом деле, где-то далеко-далеко как будто горох молотили. Я говорю:

– Что-то трещит.

– Стреляют, – говорит Зыков. Пулеметная дробь. С кольту бьют. Чуешь, – говорит, – как ваши нашим накладывают?

– Да, – говорю, – чую.

Ну, мы тут опять побыстрее пошли. На дорогу вышли. И по пыльной дороге прямо на солнце топаем. А солнце уже садится, уже

темнеет, и чем дальше, тем громче – то справа, то слева – бум! бах!

– Ну, – говорит Зыков. – Довольно! Давай сымать эту дрянь.

– Чего, – говорю, – сымать?

– Погоны, – говорит. – Сымай их к бесу. Ша! Хватит! Пофасонил четыре месяца. Не поверишь, брат, на плечах мозоли натер.

– А пора? – говорю.

– Пора, – отвечает. – Вполне. Давайте, – говорит, – господин доктор, я вам первому сыму.

И начинает сдирать с меня деникинские погоны.

Я голову повернул и вижу, что лицо у него злое-злое, как будто он не погоны снимает, а что-то такое грязное делает. А тем более, что булавка попалась ржавая, не отшлифовывается. Он ее дергает, а она не лезет.

– А, – говорит, – холера!

Дернул и – прямо с мясом погон оторвал. Прямо такой вот кусок гимнастерки вырвал.

– Есть, – говорит, – один штука. Давай, – говорит, – поворачивайся!

И только второй отцепил и только бросил его куда-то к черту в канаву, – слышим топот.

Опять, понимаете, не успели опомниться, не успели вздохнуть – опять конный разъезд несется.

И прямо на нас.

– Тикай, – говорит Зыков. – Тикай, парень, если жить хочешь.

И так, понимаете, поскакал, будто его стегнули.

И я побежал. Уж не знаю, как я бежал, но только бежал хорошо и от Зыкова не отставал.

А конники, ясно, нас нагоняют. Это в лесу легко убежать от кавалерии, а по гладкой дороге это не очень легко. Все-таки у них ног больше. Лошади все-таки.

Ну, слышу, что ближе и ближе стучат их копыта. И вдруг – трах-тах-тах!

Над самой моей башкой свистит пуля.

Бах! – еще раз...

Как принялись пулять из берданов – спина похолодела.

Зыков мне говорит:

– Милый! Браток!

Я говорю:

– Что?

Он говорит:

– Милый... товарищ! Не отставай...

Гляжу на него: бледный несется, глаза выкатил, на губах пузыри белые, как у лошади.

– Беги, – говорит. – Беги, пожалуйста... Не отставай. Милый...

Ох, не хотелось, как видно, парню обратно к Мамонтову! Видно, и в самом деле хотел он перед смертью Буденного повидать.

Да и мне помирать не хотелось. Я прямо как орловский рысак скакал.

Бежим, понимаете, а вокруг такая пылища, как дым на пожаре. Дороги не видно. И Зыкова мне тоже не видать. А сзади так и трещит:

Бум! Бах! Трах!

Вдруг Зыков мне что-то сказал. Не сказал, а крикнул:

«Ай!»

Или:

«Ой!»

Я не помню.

Я повернул голову и вижу: упал мой Зыков навзничь, лежит на дороге, щека у него в крови, а нос в земле.

А сзади: бах! бах!

Я побежал. Вперед. Не могу. Не бежится. Вертаюсь тогда назад и кричу.

– Зыков! – кричу. – Вставай! Зыков!

А он – не встает. Не шевелится. Землю нюхает.

Хватаю его тогда за плечо. Трясу что есть силы.

– Зыков, – говорю, – хватит трепаться! Вставай!..

Но тут над самой моей головой:

– Стой! Руки кверху!

Поднимаю я эту свою чумовую голову и вижу...

Мать честная! Вижу на мятых солдатских фуражках красные красноармейские звезды.

Сел я тогда, как помню, в самую пыль, где Зыков лежал, и говорю.

– Товарищи! – говорю. – Что же это? Зачем? Ведь вы же, – я говорю, – своего убили!

– Брось, – говорят. – Не вкручивай. У наших погоны не блестят.

– Да мало ли, – я говорю, – что погоны! Он все-таки свой! Он, – говорю, – наш!

– Верно, – говорят. – Это ты правду сказал, что ваш...

А ихний взводный командир, такой чубастый парнишка, смеется и говорит.

– Эва, – говорит, – эполеты-то – с мясом вырвал. Сдрейфил, белобандит?

– Сам ты бандит, – говорю. – я тебе, знаешь, – за оскорбление...

Я задохнулся даже. «Что, – думаю, – за черт? К своим попал, а так встречают».

Я говорю:

– Я тебе зубы пересчитаю.

Он говорит:

– Ладно. После посчитаемся. Товарищи, – командует, – убитого обыскать, а этого счетовода гони в Бандурово до комиссара.

Я тут только и понял.

– Вы что, – говорю, – думаете, я – белый?

– Нет, – говорит, – ты, пожалуй, серо-буро-малиновый.

А Зыков по-прежнему все лежит в пыли. Его поворачивают на спину, на бок и шарят во всех карманах. Говорят:

– Еще дышит.

– Ладно, – говорит взводный. – Пускай подышит. Погода сегодня чудная.

Вынимают тогда из кармана Зыкова бумажки. Читают:

«Василий Семенович Зыков, первого эскадрона добровольческой казачьей дивизии генерала Мамонтова рядовой».

– Н-да, – говорит взводный. – Это наш. Это по всему видно, что наш. А ну, – говорит, – на коня, хлопцы!

А мне говорит:

– А ну, солдат... Вперед – за бога, царя и отечество!

– Ну нет, – говорю. – Я не оставлю своего товарища. Берите его с собой. Слышите?

– Извиняемся, – отвечают. – У нас катафалка с собой не захвачено.

– Я, – говорю, – не пойду без него.

– Не пойдешь? Верно? Не шутишь? Ну, если так, то бери его сам. Неси на закурках. Согласен?

А я – что вы думаете? Я понатужился, сграбил Зыкова в охапку и положил на плечо. Ну, тяжело, конечно, а все-таки я не упал и Зыкова не уронил и стою на своих ногах.

Ну, тут мы поехали.

Спереди едут двое на дозоре, слева еще один, справа еще один, сзади взводный на белой лошади, а посередине Зыков на мне. Конечно, ноги у меня неподкованные, и шибко бежать я не в силах. Тем более, что мозоли, спина... Сами знаете. Я не особенно шибко иду. И невесело.

Иду я, как пьяный. Глаза закрываются, ноги шатаются... И все время, тем более, на коней натыкаюсь. Все время меня окричивают:

– Эй! Беляк! Лошадей не пугай... Чучело!

Я говорю:

– Извиняюсь. Нечаянно.

И дальше иду. Мне, понимаете, все равно, что кричат. Мне не жалко. Такая в башке чепуха, что и думать не хочется.

Думаю только, что чепуха. Чепуха такая, что ужас! Ужас, какая чепуха! Ведь это представить надо: буденновец к Буденному в плен попал!

А все-таки мне спокойнее.

Свои ведь, черт подери! Ведь свои все-таки, со звездочками. Разве я надеялся, что увижу своих, со звездочками? Нет, никогда не надеялся.

А сбоку копыта стучат. И в голове стучит. И на плече Зыков поминутно вздрагивает.

«Ах, – думаю, – бедняга Зыков! Погиб ты, – думаю, – не за медную пуговицу. И не увидел ты мечту своей жизни, товарища Буденного».

Но я не могу. Я чуть не падаю. Чуть под копыта не попадаю.

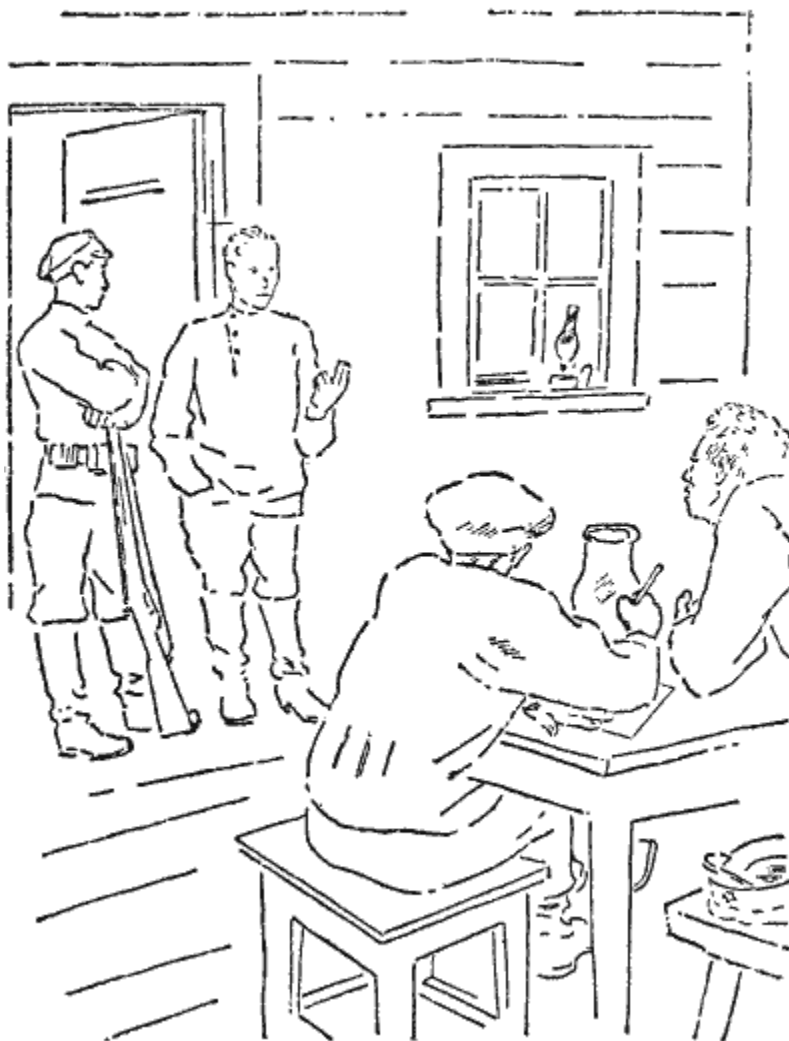
Слышу – сбоку смеются:

– Эх, солдат! Мало ты каши ел. Видно, белая каша не очень-то жирная. А?

А я и сказать ничего не могу. Даже выругаться как следует не могу. Я прямо падаю.

Тогда говорит кто-то сбоку:

– Давай, – говорит, – солдат, клади своо друга моему коню на загривок.



Я положил. Я, помню, «спасибо» сказал и взвалил своего бедного Зыкова на теплую лошадиную шею. Ну, он повис и руки свесил. А я дальше пошел.

Уже темно стало. Уж звезды наверху замигали, когда мы въехали в село Бандурово, Марьевской волости, Луганского уезда.

И помню, что мы на каком-то дворе долго чего-то ждали. Тут часовые стоят, тут Зыков лежит на земле у колодца, а я на корточках рядом сижу и плачу.

Может быть, у меня нервы расстроились, может быть, я устал, но мне тяжело было, товарищи, смотреть, как помирает мой друг.



Он дышал еще. Но так, знаете, – невесело и нечасто. Вздохнет, замычит, головой поерзает – и снова молчит. И кровь уже не идет с виска. А это – худо.

Я говорю:

– Зыков!

А он молчит. И глаз не открывает. И ушами не шевелит.

Я говорю:

– Зыков!.. Да брось!.. Не журысь! – говорю. – Все ладно будет. Ошибка ведь вышла. Ведь это наши, буденновцы, – говорю, – со звездочками. Завтра мы, – говорю, – Зыков, сами наденем звездочки и пойдем до Буденного знакомиться. Вот я тогда и скажу: «Товарищ Буденный, позвольте вам познакомиться моего друга Василия Семеновича Зыкова. Он – первый герой на нашем земном шаре...» Зыков, ты слышишь? А Буденный тебе ответит: «Да, – скажет, – хороший ты парень и вид у тебя боевой, но только служить тебе не у белой сволочи, не у Деникина, а в особом отряде товарища Заварухина». И пошлет тебя к нам в часть. Ты хочешь, – говорю, – Зыков, к нам в часть?

Чепуху, конечно, я говорю, потому что Зыков не слышит, молчит и лежит у колодца, как дерево.

Тут отворяются двери, и из дому кричат:

– Пленных!

Это я-то пленный!.. Подумайте только: буденновец к Буденному в плен попал!

Ну, вводят меня в избу. В избе, понятно, и хлебом, и щами, и керосином воняет, под иконами стол стоит, на столе – молока кувшин и английский маузер. А за столом сидит молодой парень в кавказской рубахе. И другой рядом с ним – в кепке. И еще, с бородой – у окна. И еще какие-то – я не помню.

– А ну, – говорят, – ходи, голубчик, сюда, поближе.

Зыкова кладут на лавку, а я подхожу к столу.

Все они разглядывают меня, как будто я не человек, а чудо. Потом они начинают писать акт.

– Фамилия? – спрашивают.

Я говорю:

– Трофимов Петр Васильевич.

– Чего? – говорят.

Я говорю:

– Я не могу вам громко отвечать, у меня горло чернилами смазано.

– Фу, – говорят, – чумовой!

Я говорю:

– Что?

Они говорят:

– Рядовой?

– Да, – говорю, – особого отряда товарища Заварухина боец.

– Как! – говорит парень, который в кавказской рубахе. – Ты заварухинец?

– Ну конечно, – говорю.

– Что за чепуха! Товарищи, где вы его взяли?

А те говорят:

– Заливает, товарищ комиссар. С мамонтовской дивизии чистокровный разведчик. Вот документики.

И кладут перед ним на стол зыковский военный билет.

Я говорю:

– Ну так что ж? Это – Зыков. Он беглый мамонтовец. Это верно. А я – Заварухина боец. Я вез, – говорю, – секретный пакет к товарищу Буденному.

– На чем это, – спрашивают, – вез?

– На Негре, – говорю.

– На каком негре? Ты, – говорят, – голубок, не в Африке. Ты, голубок, в Российской республике.

– Да, – говорю, – я знаю, что я в Российской республике. Но Негр – это лошадь.

– Да? А где же она, твоя лошадь?

– Потонула, – говорю.

– Это лошадь-то потонула?

– Да, – говорю, – представьте себе... Затянул чересчур подпругу, ну, с ней в воде худо стало.

– Вот, – говорят, – чудеса какие! Ну, а пакет-то твой где?

– Ну где? – говорю. Обозлился я, помню, страшно. – Где? – говорю. – Съел!

Как загогочут:

– Хо-хо-хо!

Не верят, понимаете... Ни одному моему слову не верят. Думают, я треплюсь.

Я говорю:

– Вот у меня и спина вся исстегана. Видите? Что, я сам себя, что ли, шомполами отхлестал?

И тут я задрал рубаху и показал. И тому, который в кавказской рубахе, и тому, который в кепке, и тому, который стоял у окна, с бородой.

У окна, с бородой, говорит:

– Это да. Это так невозможно себя самого исхлестать. Это верно. Вон ведь как, черти, излупцевали! Кто это тебя так?

Я говорю:

– Мамонтовские казачишки.

– А, – говорят. – Что же с ним делать? Может быть, он и верно наш. Кто его знает... Документы у тебя есть?

Я говорю:

– Нету. Все съел. Вы, – говорю, – самое лучшее, телеграмму пошлите к товарищу Заварухину. Он вам ответит.

– Эвона, – говорят, – от Заварухина три дни известий нету. Где он и что с ним – аллах ведает.

– А я, – говорю, – знаю, где он и что с ним. Я товарищу Буденному от него все сведения везу. Пустите меня, – говорю, – пожалуйста, я дальше поеду.

– Ну как? – говорят одни.

– А что? – говорят другие.

И вижу – плечами пожимают и руками вот этак делают. Отпустят, вижу. Ей-богу, отпустят.

Но тут, понимаете, снова случилось приключение.

Вдруг, вы представьте, за окном во дворе какой-то начался шум. Какой-то послышался голос. Какое-то даже пение послышалось. И мне почему-то сразу стало невесело. У меня какое-то вроде предчувствие появилось. Мне худо стало.

А комиссар, который в кавказской рубахе сидел, спрашивает:

– Чего там такое случилось во дворе?

Который с бородой повернулся к окну и отвечает:

– А это все тот самый несчастный старикан шумит.

– Какой несчастный старикан?

– А тот пасечник, у которого белые жену зарезали.

– А, – говорит комиссар. – Чего ж он бродит тут? Чего его не выпускают? Может быть, он голодный, так пусть ребята накормят.

А тут распахнулась дверь, и сам этот несчастный пасечник ворвался в избу.

Ну, я его сразу узнал. Как же мне было его не узнать, когда он на меня за один день столько страху нагнал! Это был тот самый мужик. Сумасшедший. Теперь он совсем уж был страшный. Одежда его совсем изодралась. Руки и ноги были в крови, как будто он три часа в шиповнике прятался. И главное дело – глаза у него совсем полоумные стали. Такими глазами можно было целый полк боевой кавалерии испугать. Я чуть на пол не сел от страха. А он увидел меня – как замашет руками, как заорет...

– Ага! – кричит. – Вот он! Товарищи! – говорит. – Большевики! Бейте его! Бейте чертова сына! Стреляйте в него сию минуту с самого длинного нагана...

– А что, – говорит комиссар, – ты его разве знаешь?

– Знаю! – говорит. – Как же не знать! Они самые хату мою сожгли и Нинку, старушку мою, штыком закололи. Они, собаки, после уздечкой меня в лесу увязали...

– Что? – говорит комиссар. – Что такое?!

А я говорю:

– Как уздечкой? Врет, – говорю, – не уздечкой, а ремешком.

А он:

– Это, – говорит, – генерала Мамонтова кульеры. Шли они, – говорит, – до Курбатова с доносом. Я все своими ушами слышал, хотя они меня, подлецы, уздечкой связали и в канаву кинули.

Я говорю:

– Не ври! Что ты выдумываешь? Не уздечкой вовсе мы тебя вязали.

А комиссар:

– Ша! – говорит. – Не гуди! Ты лучше скажи, дрянь, зачем это ты в Курбатово путешествовал?

Я говорю:

– Ну так что ж... Это верно. Действительно, мы шли в Курбатово. Но шли мы занарочно... Шли мы...

Я смутился. Я спутался, понимаете, и покраснел, наверное.

– Шли мы, – я говорю, – не туда, а шли сюда. Шли мы...

– Стой! – кричит комиссар. – Достаточно.

Потом говорит комиссар старику:

– Ладно, диду. Спасибо тебе. Можешь идти. Скажи красноармейцам, чтобы тебе кушать дали. Прощай.

Пожал сумасшедшему руку, и сумасшедший ушел... А все ребята сели в углу под иконами и стали совещаться...

Ну, время тогда, сами знаете, какое было. Экономное. Рассушивать некогда было.

Пошептались ребята, подумали, написали чего-то в бумагу и уже читают:

– «Трофимова Петра, неприятельского разведчика и шпиона, – расстрелять. Приговор привести в исполнение немедленно».

Я – что? Я ничего не сказал. Только, помню, сказал:

– Н-да!.. Буденновец к Буденному в плен попал...

Тогда все встали. Кто из избы пошел. Кто о военных делах заговорил. А меня взяли трое или четверо за бока и повели во двор. И велели вставать к стенке.

Я, помню, им говорю:

– Во дворе не стоит. Зачем, товарищи, двор гадить? После, – я говорю, – мужику противно будет. Вы где-нибудь в стороне, чисто плотно...

– Ладно, – говорят. – Ставай. Некогда чисто плотничать.

Я говорю:

– Ну что ж... Я разденусь.

– Не надо, – отвечают.

– Что же, – я говорю, – значит, одеже пропадать? Нет, это так не годится... Лучше, ребята, я вам свою одежду отдам. У меня, – я говорю, – сапоги отличные. Спиртовые! А?

– Не надо, – говорят. – Не желаем английских сапог. Пушай в них Антанта ходит.

– Дурни вы! – говорю. – «Антанта»! Сами вы Антанта! Так это же, – я говорю, – не английские сапоги. Это московские. Фабрика «Богатырь».

Сажусь я скорей на землю и тащу с себя эти самые богатырские сапоги.

– Натё, – говорю, – ребята, носите на вечную память.

Кидаю им сапоги. Разматываю портянку.

И – что вы думаете? Ну, этого мне не забыть!

Я вижу в своей изодранной, потной портянке какой-то клочок. Какой-то бумажный комочек. И что-то на нем написано.

Я развернул его и вижу – буквы. Но что это были за буквы, в то время я не знал.

Я говорю:

– Ну-ка, ребята, я неграмотный. Прочтите, чего тут написано.

Они говорят:

– Чего нам читать! Нечего нам читать. Вставай к стенке!

Я говорю:

– Да что вам, жалко, что ли? Успею я к стенке встать. Прочтите, чего тут сказано. Может быть, тут что-нибудь важное сказано.

Ну, один нашелся, который зажег спичку и стал читать. Стал шевелить губами и составлять буквы. Потом говорит:

– Тут написано, в общем, «хайло».

– Как? – я говорю. – Какое хайло?

– Да, – говорит, – хайло.

Другой подошел. Третий. Стали читать.

– Да, – говорят. – В общем, «нуми... хайло... К.К...».

Потом говорят:

– Подозрительно все-таки. Тут и печатка была приклепнута... Давайте, – говорят, – ребята, позовем Белопольского.

Пошли в избу. Через секунду возвращаются с комиссаром. Комиссар – в кавказской рубашке – ругается.

– Что еще, – говорит, – за хайло? А ну, покажите.

Берет, я помню, рваную, мятую мою бумажку и читает:

– «...ну Михайловичу Буденному... армию Первой конной штаб шестой дивизии РККА».

Ну, тут что было – можно и не говорить.

Комиссар Белопольский за голову схватился.

– Что это? – говорит. – Что это такое?!

Я говорю:

– А это все, что от пакета осталось. Который я вез в Луганск. К Буденному. А остальное, – говорю, – я сшамал.

Ах, что тут было!

Комиссар Белопольский кричит:

– Отставить. Приговор отменяется!

Потом он подходит ко мне, нагибается и хватает меня за плечо.

– Товарищ, – говорит, – извини! Чуть к богу в рай не послали.

Я говорю:

– Ничего. Пожалуйста. Дайте мне лошадь, я к Буденному поскачу.

У меня, – говорю, – к нему очень важные оперативные сводки.

А сам, понимаете, и с земли встать не могу. Сажу на землю, без сапог и портянками пот с лица вытираю. Упрел, понимаете... Упрешь!..

Через пять минут у ворот тачанка гремит. На паре. Кони такие чудные, так и бьются – прямо копытами землю роют! Меня положили на тачанку. Сеном всего обклали. Тепло, мягко...

Я, помню, глаза чуть-чуть призакрыл и слышу – товарищ Белопольский командует:

– В Луганск, до штаба командарма Буденного.

Тогда я голову поднимаю.

– Послушайте, – говорю, – и Зыкова тоже положьте.

И Зыкова принесли и положили рядом со мной. Пихнул я его, помню, головой в бок. Молчит. Ни бум-бум. Как дерево.

Тут кучер мой захлопал кнутом, тачанка дернулась, и я потерял память. Заснул, одним словом.

И, помню, вижу я сон.

Будто стоим мы в городе Елисаветграде. Будто у меня новые сапоги. И будто я покупаю у Ваньки Лычкова, нашего старшины, портянки. Будто он хочет за них осьмью махорки и сахару три или четыре куска. А я даю полторы пайки хлеба и больше ни шиша, потому что махры у меня нет. Я некурящий. И будто мне очень хочется купить эти портянки. Понимаете, они такие особенные. Мягкие. Из господского полотенца.

Я говорю:

– Полтора фунта я дам. Хлеб очень хороший. Почти свежий.

А Лычков говорит:

– Нет... К богу!

Ну, я не помню, на чем мы с ним сторговались, но все-таки я их заимел. Я их купил, эти портянки. И стал наматывать на ноги.

Мотаю их тихо, спокойно, а тут вдруг товарищ Заварухин идет. Идет он будто и пуговицы на гимнастерке считает. И так говорит:

– Трофимов, до нашего сведения дошло, что ты на ногах имеешь мозоли. Это верно?

– Так точно, – говорю. – Есть маленькие.

– Ну вот, – говорит. – Наш особый отдел решил тебя по этому поводу расстрелять.

Я говорю:

– Как хотите, товарищ Заварухин. Это, – я говорю, – товарищ Заварухин, ваше личное дело. Можете расстреливать.

И начинаю, понимаю, тихо, спокойно разматывать свои портянки. Сымаю портянки и думаю: «Н-да! Бывает в жизни огорченье...»

А тут я проснулся.

Лежу в тачанке. Тачанка стоит почему-то. Темно. Мост какой-то или застава. Мой кучер сидит на передке и курит.

А рядом Зыков.

Хрипит мой Зыков из последних сил, и все лицо у него, подумайте, в крови. Из виска так и булькает. Так и клекочет.

Хотел я подняться и кучеру сказать, чтобы чего-нибудь с ним сделали, но мне так страшно стало, что я обратно без памяти упал. И обратно заснул.

А второй раз проснулся уже в другом месте.

Лежу я в мягкой постели. Над головой у меня лампочка тихо горит. На животе чего-то лежит горячее, пузырь какой-то, а рядом на стуле сидит такой рыжеватый дядя в белом переднике.

Я говорю:

– Ты кто, рыжий?

Он говорит:

– Я доктор.

– А я?

– А ты в лазарете. Ты больной. Лежи, пожалуйста, и не двигайся. У тебя только что в желудке нашли сургуч, чернила и еще кое-что.

Я говорю:

– Так. А бумагу нашли?

– Да, – говорит, – очень много.

Я говорю:

– Всё поняли?

– Что? – говорит.



Я говорю:

– Всё разобрали, что там написано было? Или что-нибудь смылось?

– Да нет, – говорит. – Эта бумага превратилась в сплошную массу.

– Жалко, – я говорю.

Он говорит:

– А тебе теперь нужно лечиться. Тебе нужно серьезно и долго лечить свой живот. На вот, – говорит, – скушай, пожалуйста, на всякий случай пирамидону.

Я съел. Он посидел, поправил пузырь и ушел.

Я повернул голову. Поглядеть, что тут такое происходит. И вижу – лежат больные. Спят. Кое-кто стонет. Кто-то бормочет во сне. А через две койки от меня, у самой печки, вижу – знакомая личность.

Представьте себе – Зыков!

Но только – что он такое делает?

Башка у него забинтована. Один нос торчит. А он, этот Зыков, свесился с койки и чего-то на полу делает. Что-то пихает в щелку.

Я говорю:

– Зыков!

Он свои полбашки поднял и говорит:

– А?

Я говорю:

– Чего, – говорю, – ты там делаешь?

– Я?

– Ну да, – говорю. – Ты!

– А я, – говорит, – это пирамидон туды пихаю. Мне, – говорит, – понимаешь, он до чертовой матери надоел. Пирамидоном, – говорит, – наверное, во всех армиях лечат. Я думаю, доктора еще до рождества Христова солдат пирамидоном кормили.



– Чудак! – говорю.

Потом спрашиваю:

– Ты жив?

– А то нет? – говорит.

Я говорю:

– Рад?

– А то нет? – говорит. – Чучело тамбовское!..

Ну, хотел я его как следует обругать, хотел даже в него подушкой кинуть, но вдруг ослаб, ослаб, понимаете, задрожал и тюкнулся на эту самую подушку. И заснул.

А проснулся от солнца. Это уж утром было. Горячее солнце хлещет мне прямо в глаза. Я отворачиваюсь, помню, поворачиваю

голову и вдруг вижу – знакомое лицо.

Такой невысокий, плечистый дядя с усами стоял в дверях и смотрел на меня.

Понимаете, я его сразу узнал. Хотя и не видел ни разу, а узнал.

«Ох, – думаю, – братишка наш Буденный! Какой ты, с усам...»

А он – сам с усам – подходит до моей койки, снимает свой громоотвод и говорит:

– Ну, здорово!

Я приподнялся немного и говорю:

– Товарищ Буденный... – Я поперхнулся даже. – Товарищ Буденный! Особый отряд товарища Заварухина окружен неприятелем. Слева, – я говорю, – теснит Шкуро. Справа теснит Мамонтов. Нет, – говорю, – слева Мамонтов... Слева, – я говорю, – Улагай... Извиняюсь, – говорю, – справа Улагай...

Я забыл. У меня в голове, понимаете, все спуталось. Я замолчал. И лег.

А товарищ Буденный, помню, положил мне на лоб ладошку и говорит:

– Жар начинается. Необходимо поставить компресс.

Но я тут вспомнил чего-то, поднялся опять через силу и говорю:

– Товарищ Буденный! Позвольте вам познакомить моего друга – Василий Семеныч Зыков. Первый герой на земном шаре.

Смеется Буденный и говорит:

– Это который герой?

– А тот, – я говорю, – у которого полбашки завязано. Вот он вам улыбается.

– Ага, – говорит.

И пошел к зыковской койке.

Ну, как они там познакомились, я не помню. Проще сказать, я не видел. Я спал.

А через две недели я вышел из лазарета и поехал обратно в дивизию.

А потом зима наступила. И под самый Новый год – мне из Москвы подарок: орден Красного Знамени.

За что? – вы подумайте...

## **Ночка\***

### *Хозяйка*

Мне двенадцать лет было. Подружки мои еще в куклы играли да через веревочку прыгали, а уж я хозяйкой была.

Сама и белье стирала, и по воду ходила, и кухарила, и полы мыла, и хлеба пекла...

Нелегко было, только я не жаловалась.

Мама у нас умерла. Папа второй год с белыми воевал. Жили мы вдвоем с братом. Ему уж тогда пятнадцатый год пошел, он в комсомоле состоял. А меня в комсомол не брали. Говорят – маленькая.

А мне обидно было. Какая же я, помилуйте, маленькая, когда я не только обед сготовить или что, – я даже корову доить не боялась.

### *Ночка*

Корова у нас была хорошая, красивая, во всем городе такой второй не сыскать. Сама вся черная, как ворона, и только на лбу белая звездочка. Зато и кличка у нее была подходящая – Ночка.

Это еще мама ее так назвала, еще теленочком. Я, может, за это и любила ее так, нашу Ночку, что она мамина воспитанница была.

Ухаживала я за ней – сил не жалела.

Бывало, встану чуть свет, сама не поем, а Ночке воды согрею, сена натаскаю: «Ешь, – говорю, – Ноченька, поправляйся». Потом доить сяду.

А как подою, Васю разбужу и скорей гоню Ночку в стадо.

А для меня это самое милое дело – корову в стадо гонять. Бывало, меня соседки просят:

– Верочка, возьми и нашу заодно.

– А что ж, – говорю, – давайте!

Прихвачу штуки три-четыре – мне еще веселее.

Иду, кричу:

– Гоп! Гоп!

А коровы мычат, стучат, колокольчиками брякают.

Так через весь город и топаем.

А потом – река. А на реке – мост.

Мы через мост идем:

«Туп! Туп! Туп!»

А потом уж луга пошли. А за лугами лес. Ну, тут и прощаемся.

Я, правда, никогда сразу из лесу не уходила. Утром в лесу хорошо. Другой раз возьму с собой шить или починить что-нибудь и сижу себе, ковыряюсь до самого обеда. А рассидишься если, так и уходить не хочется.

## *Бандиты*

Правда, меня пугали, будто в лесу бандиты орудуют. Только я сначала не верила. Мало ли что девочки брешут. Но потом и Вася мне однажды говорит:

– Ходи осторожнее. В заречных, – говорит, – хуторах действительно орудуют...

А потом уж и по всему городу слухи пошли о бандитах.

Такие о них ужасы рассказывали, будто они и живых в землю закапывают, и маленьких детей режут, и даже кошкам и собакам – и тем пощады не дают.

А у нас в городе в то время никакого войска не было. И некому было его защищать. Одни комсомольцы остались, вроде Васи нашего. Им на всякий случай оружие выдали. И Вася мой тоже какой-то наган заваливший получил. Но только на них не надеялись. Какие же это защитники – мальчишки желторотые!

Всё ожидали, что вот-вот Красная Армия подойдет. Богунская дивизия тогда подступала от Киева.

Эту дивизию у нас в городе все ночью и днем ждали. А я больше всех ждала. Потому что в одном из полков этой дивизии служил наш папа.

А уж я о нем так соскучилась, так соскучилась, что и сказать не могу. Бывало, ночью проснусь, лежу и слушаю: не идут ли, не слышно ли? А потом в подушку забьюсь и плачу тихонько, чтобы Вася не

слышал. А то ведь, если услышит, задразнится. Он и так меня плаксой называл. А я – ничего не скажу – любила поплакать.

### *Однажды*

Дело осенью было. Я уж давно с хозяйством управилась, обед сготовила, на стол накрыла, – сижу, дожидаясь Васю. А Васи моего чего-то все нет и нет. А мне уж за Ночкой пора – уж доить время.

Вдруг слышу: за окном где-то – бах! бах!

Я думала – это бочки с водой по улице катятся.

А потом, как еще раз бабахнуло, – «нет, – думаю, – это не бочки... это, пожалуй, скорее всего с винтовок стреляют».

«Ох, – думаю, – не папина ли это дивизия подходит?»

Только подумала, слышу: в сенях со всего размаху дверь как хлопнет. Вася вбегает. Сам бледный, рубаха на шее расстегнута, козырек набок свернулся.

Я испугалась даже. На скамеечку даже присела.

– Что, – говорю, – Васенька? Что такое? Что с тобой?

А он на меня дико так посмотрел и говорит:

– Банда идет!

– Какая банда?

– Такая вот... Соколовского атамана банда. С Богуславского хутора хлопчик сейчас прискакал. Богуславку сожгли, сюда идут.

– Ой, – говорю, – что же это будет?

– Ничего не будет, – говорит Вася. – Защищаться будем. Я за наганом пришел. У нас в комитете сбор.

Я не подумала, вскочила. Говорю:

– Я тоже пойду.

Рассердился Вася.

– Ну да! – говорит. – Только тебя там и ждали, Матрена Ивановна!..

Обиделась я, еле слезы сдержала. Но не сказала ему ничего, отвернулась.

А Вася наган из-под подушки достал, почистил, подул на него зачем-то, сунул за пояс и побежал.

А я посидела, подождала, да и за ним следом.

## *В комитете*

Прибегаю в комитет, а там уж народу – не протолкаться. Там комсомольцам – мальчишкам и девчонкам – оружие выдают. Кому – наган, кому – винтовку, а кому – только один штык от винтовки.

Я потолкалась да и тоже в очередь стала.

Подошла очередь, я говорю:

– Дайте и мне.

Оттолкнули меня. Говорят:

– Иди, не мешай!

Я говорю:

– Дайте, пожалуйста! Я ж тоже хочу город защищать.

– Иди, – говорят, – не путайся.

Я говорю:

– Вы думаете, я маленькая? Я же не маленькая. Я – сильная. Во, посмотрите, какие мускулы у меня...

Тогда этот паренек, который оружие выдавал, говорит:

– Ну, на, попробуй.

И винтовку мне подает.

Я винтовку взяла – и чуть на пол не села. Действительно, хоть мускулы у меня и крепкие, а тяжело.

Я говорю:

– Вы мне дайте – знаете, бывают такие маленькие... карабинчики, что ли...

– Эва, – говорит, – чего! Может, тебе еще игрушечный пугач выдать? Иди, не задерживай, некогда...

## *Подслушала разговор*

Я в сторону отошла, слышу: ребята судачат о чем-то.

– Мост, – говорят, – сейчас взрывать будут.

Все говорят:

– Правильно! Пусть через реку сунутся – без моста-то.

А один говорит:

– А что толку-то? Мост! Они, если захотят, и по плотине у Стахеевской мельницы переберутся.

– Ну, это положим. Кто им, интересно, покажет эту плотину! О ней ведь и в городе не всякий знает.

Я сразу и не поняла, о чем они там говорят. Какой мост? Почему взрывать? А потом, как вспомнила, что у нас в городе всего один мост, – догадалась. Значит, они хотят бандитов от города отрезать. Ведь если моста не будет, им сюда не попасть.

«Ловко, – думаю. – Молодцы ребята! Хоть и мальчишки, а ничего, соображают...»

Подумала так, и вдруг меня за плечо кто-то как схватит. Оглянулась – Вася.

– Ты что? – говорит. – Тебе кто позволил?

Я хоть и не боялась его ни капельки, а все-таки испугалась.

– Я, – говорю, – не зачем-нибудь пришла. Я – просто так, поглядеть.

– А ну, домой сию же минуту!

Рассердился.

– Мне, – говорит, – перед отцом за тебя отвечать!

– Да? – говорю. – А за тебя, интересно, кому отвечать?

– Еще рассусоливать?! Пигалица!.. Марш!!

Ну, я спорить не стала больше, поглядела на него как следует и пошла.

## ***Взрыв***

До угла не успела дойти – как бахнет! В ушах зазвенело. И даже в глазах темно стало.

Оглянулась – все небо черное. И сразу на улице дымом запахло.

Я думаю:

«Что это? Откуда?»

А потом вспомнила:

«Мост!»

Очень мне захотелось на реку побежать, поглядеть, как этот взорванный мост гореть будет. Но не пошла.



«Нет, – думаю. – Надо и правда домой спешить. А то я даже и дверь на замок не закрыла. Да и поздно уж – пора за Ночкой в стадо бежать...»

Подумала так и похолодела.

– Ой, батюшки! Милые мои! Ночка-то! Ночка-то ведь моя – за рекой?!

«Что же мне делать? – думаю. – Миленькие!..»

У меня даже слезы из глаз брызнули.

Закричала я тут, как сумасшедшая:

– Ноченька моя! Ночка!

И побежала к реке.

### *Мост горит*

Я думала, – может, еще проскочить успею.

Да нет, где уж тут проскочишь... Еще издали, за две улицы, слышно было, как трещали в огне сухие сосновые балки.

Люди бежали к реке с баграми. Наверное, не знали, в чем дело. Думали, что пожар.

А на берегу уж весь город собрался. Я еле протискалась.

Все шумят, кричат – радуются, что бандитов обманули. А я стою, как дура, и плачу.

Тут уж и думать нечего было, чтобы на ту сторону пробиться. Из-за дыма да из-за огня даже не видно было, что на той стороне делается.

Вдруг мне послышалось, будто на том берегу теленочек закричал. А потом колокольцы как будто звякнули. Потом слышу: коровы мычат.

А уж в толпе кто-то кричит:

– Стадо идет! Стадо идет! Куда они? Гоните их! Ведь сгорят! Живые сгорят...

А я хоть и на цыпочки встала и шею вытянула, а никакого стада не вижу. Только дым и огонь вижу и только слышу все ближе и ближе: «Му-у-у-у! М-у-у! М-у-у-у!»

Да так жалобно, так печально, что и не хочешь плакать, а заплачешь.

## *Плотина*

«Ну, – думаю, – пропала моя Ноченька».

И тут я вспомнила о Стахеевской мельнице.

«А что? – думаю. – Попробовать разве?»

Я даже не подумала о том, что Стахеевская мельница далеко, что туда полчаса бежать надо.

«Ничего, – думаю. – Как-нибудь добегу. Через плотину переберусь, корову найду и обратно. Бандиты еще и подойти не успеют».

Но до мельницы мне добежать не пришлось.

Только я из толпы выбралась, не успела на дорогу выйти, вижу – навстречу Вася идет. А с ним еще человек пять комсомольцев.

Вася и рта раскрыть не успел, а уж я ему говорю:

– Не ругайся, Васенька! У нас беда.

– Что такое?

– Ночка у нас на той стороне осталась.

Он побледнел. Потом говорит:

– Плевать. Ничего с ней не будет.

Я говорю:

– Как это так ничего не будет? А если ее подстрелят?

– Ну и пусть, – говорит, – подстрелят. Не в этом счастье... Беги домой. Сейчас у них тут стрельба начнется. Бандиты подходят.

Тут я не выдержала и говорю:

– Нет, ты как хочешь, Васька, а я домой не пойду. Я лучше к Стахеевской мельнице побегу.

– Это зачем еще? – говорит.

А один комсомолец языком прицелкнул и говорит:

– Опоздала, девочка!

– Как это опоздала?

– Да так. Опоздала трошки. Наши ребята только что побежали плотину взрывать.

## *Дядя Федор*

Что же мне делать было? Домой бежать? Нет, не могла я домой бежать – ноги не шли.

На берегу уж никого не осталось, все куда-то попрятались. Только я одна сидела у самой воды и смотрела на тот берег. А мост все еще горел. И вода вокруг него была красная, огненная, блестящая. Пар над водой клубился. Что-то шипело, ломалось, трещало... И мне все чудилось, что на той стороне коровы мычат. А может быть, и не чудилось, может быть, они и правда мычали.

Вдруг где-то близко-близко захлопали по воде весла.

Я голову подняла – вижу: лодка плывет. А в лодке знакомый старик – дядя Федор, охотник.

Он меня тоже заметил, положил весла и кричит:

– Эй! Кто там? На берегу! Тетенька!

А я и ответить не могу. Отвернулась и поскорей слезы потоаю.

Тогда он к берегу пристал, поглядел и узнал меня.

– О! – говорит. – Тетенька-то знакомая. Ты чего реवेशь, тетка?

Ну, я ему все рассказала – сквозь слезы-то. Он помолчал, веслом поиграл и говорит:

– Жалко корову.

Потом еще подумал, в затылке почесал, крякнул и говорит:

– Э, была не была! Давай садись поскорей в лодку. Поедем твою буренушку спасать...

У меня сразу и слезы высохли. Я сама лодку от берега отпихнула, на ходу вскочила; дядя Федор ударил по воде веслами, и наша лодочка на всех парах полетела на тот берег.

### *Успеем или не успеем?*

Я все думала:

«Успеем или не успеем?»

И все на тот берег поглядывала. А там у самого берега очень густой кустарник рос. И вот, я помню, думаю:

«Если мы там, у этих кустов пристанем, – это хорошо. Там можно и лодку спрятать и самим притаиться, если надо будет».

Дядя Федор изо всех сил веслами работал. А мне все казалось – тихо плывем. Я, помню, даже подгоняла его:

– Дядя Федор, давай нажмем! Дядя Федор, поскорей, пожалуйста...

А он только побряхтывал да головой кивал: дескать, ладно, не торопись, успеем...

Вот уж до того берега совсем близко осталось. Вот уж травой запахло. Уж листики на кустах видно стало.

Я на носу сидела. Мне не стерпелось, я встала; думаю – сейчас соскочу на берег. Уж и место себе глазами выбираю посуше.

Вдруг что-то как хрустнет. Я думала – это днище о песок задело. А потом слышу:

– Стой! Кто такие?

Дядя Федор лодку с разгону как повернет. Зубами как заскрипит.

– Садись, – говорит, – девка! Живо! Назад!

А я – не знаю, что со мной случилось, откуда у меня храбрость взялась. «Нет, – думаю, – уж коли так случилось, назад не поеду».

Взяла да и прыгнула в воду.

И – бегом к берегу.

А уж над головой у меня пули свистят. Одна, другая, третья.

Оглянулась, вижу: дядя Федор далеко. Саженой двадцать уж отмахал. Лодка у него, как моторная, бежит. Пена вокруг. А весла над головой так и мелькают, так и мелькают, будто крылышки стрекозиные...

### *Допрос*

Я когда в воду прыгала, мне не страшно было. А как увидела этих бандитов, – ноги затряслись.

Их там не много было: человек пять или шесть. Но я хоть и раньше о них слыхала, а все-таки не думала, что эти бандиты такие страшные.

Все они с ног до головы оружием обвешаны: бомбами, кинжалами, револьверами. Одеты не по-военному, а как-то чудно, будто на маскарад вырядились. Кто в офицерской шинели, кто в бушлате, кто в шубе овчинной. У одного на голове фуражка без козырька, у другого – папаха, у третьего – этакий, как у нас говорят,

бриль соломенный. У одного – косынка шелковая в полосочку, а еще у одного – так целая дамская шляпа с пером и с вуалькой.

У меня голова завертелась, когда я на них посмотрела.

Мне бы бежать надо, пока они там в дядю Федю стреляли. А я – не могу. Ноги не двигаются. Стою по колено в воде и смотрю, как наша лодочка от бандитов удирает.

Дядя Федор так и ушел от них невредимый.

Рассердились бандиты. Плюнули. Заругались. И сразу на меня накинулись.

– Ты кто, – говорят, – такая? Тебе что здесь требуется?

А я забубнила чего-то, заплакала. Потом говорю:

– Я, дяденьки, за Ночкой приехала.

– Ты зачем врешь? – говорят. – За какой дочкой? Какая у тебя может быть дочка?

Я говорю:

– Да не за дочкой, а за Ночкой. Это корова у нас так называется...

Который в шляпе с пером, приставил к моему носу наган и говорит:

– А это вот нюхала? А ну, говори правду, а не то зараз дух вышибу...

И так наганом нажал, что носу больно стало.

Я еще громче заплакала и говорю:

– Я вам правду сказала.

– Нет, ты не правду говоришь! Ты врешь! Отвечай: кто тебя сюда послал?

Я говорю:

– Никто меня не посылал. Я за коровой приехала. Пустите меня, пожалуйста, у меня корова с утра недоенная ходит.

Они друг на дружку посмотрели, головами покачали и говорят:

– Ловко придумано. Ничего не скажешь...

А потом этот, который в шляпе, взял меня за плечо, сдавил его со всей силы и говорит:

– А ну, пошли к атаману. Разберемся...

Я всю дорогу плакала. Да так еще плакала, так орала, что даже бандиты не вытерпели. Один какой-то с бородой, в бриле соломенной, остановился и говорит:

– Тьфу! Не могу. Все уши заложило от ее крика.

Тут и другие остановились. Говорят:

– А ну ее! Таскаться с ней... Может, она, и верно, за коровой приехала!

А тот, который в шляпе, ногой топнул и говорит:

– Бросьте! Знаем мы, какие тут у них коровы. Никаких тут коров нема! Тут...

И только сказал «тут» – будто назло ему где-то впереди как загудит:

– М-у-у-у-у!..

Я сразу очухалась и плакать перестала.

Вижу: навстречу нам из лесу на лужок выходят коровы. Впереди – белая, за ней – пегая, потом еще какие-то, а потом – кто вы думаете? А потом вижу – Ноченька, красавица наша идет!

Я как закричу:

– Вот она! Вот она, моя корова! Видите – черная, которая с беленькой звездочкой!

И бежать уж хотела. А бандит в шляпе схватил меня за плечо и говорит:

– Стой!

Потом говорит:

– Вот я тебе что скажу. Это твоя корова? Да? Так ты ее позови. Кликни. Если она отзовется, если пойдет, – значит, правда. А если не пойдет, – значит, неправда, значит, ты брешешь, значит, ты – красный разведчик.

### *Испытание*

Я обрадовалась. Говорю:

– Ладно!

А сама думаю:

«А вдруг не пойдет Ночка? Вдруг не откликнется?» Ведь все-таки, сами понимаете, это корова, а не собака...

Вздохнула я тихонечко и говорю:

– Ноченька! Ночка!..

Она – хоть бы что. Даже головы не повернула. Идет, не спешит, травку жует.

Тогда я погромче говорю:

– Ночь, Ночь, Ноченька!

Вижу – Ноченька голову подняла, губами шевелит, будто воздух нюхает. А потом в мою сторону посмотрела и пошла. А я – к ней навстречу.

За шею схватила и – целовать. И опять чуть не плачу.

– Ноченька ты моя, Ноченька! – говорю. – Бедная ты моя, бедная! Вымечко-то у тебя как разбухло. Пить ты, наверное, хочешь, бедняжечка!..

А Ночка меня узнала, трется об меня и локоть мне своим шершавым языком лижет.

Тут уж, конечно, бандитам пришлось поверить, что я за коровой приехала, а не за чем-нибудь. Даже этот, который в дамской шляпе, и тот поверил.

– Ну что ж, – говорит. – Твое счастье. Шут с тобой! Забирай свою дочку или бочку и – катись отсюда.

А я думаю:

«Куда же мне катиться?»

Потом думаю:

«Ясно – куда. К Стахеевской мельнице. Сейчас, как они только уйдут, я потихонечку по кустикам да по залескам и погоню мою Ночку к плотине. Может, успею еще. Может, еще наши ребята, на счастье, не взорвут ее к тому времени...»

### *Атаман Соколовский*

Но и тут мне не повезло.

Только мы с бандитами разговор кончили, не успели попрощаться, слышу: копыта стучат. Вижу: из лесу на лужайку всадники скачут.

Мои бандиты, как увидели их, испугались чего-то, побледнели.

– А ну, – говорят, – ребята, сторонись! Атаман едет!

А он, атаман этот, к ним подскакал, плеткой взмахнул и кричит:

– Вы чего тут треплетесь?.. Варнаки!..

Сам он усатый, в папахе, седло у него шелком вышито, а на боку целых две сабли – одна с золотой рукояткой, а другая с серебряной. Бандиты, я вижу, еще больше испугались, потемнели все и говорят:

– Да ты не ругайся, Соколовский. Чего там. Мы же в разведке тут.

А он их не слушает. Кричит:

– Какая разведка? Какие вы к черту разведчики? Пока вы тут баклуши бьете, красные черти мост успели спалить!..

Бандиты ему говорят:

– Мы же не виноваты.

А он им:

– Не виноваты?!

Раскраснелся весь, зубами залязгал.

– Я вот, – говорит, – вас всех сейчас постреляю за такое дело.

Потом меня увидел и говорит:

– А это кто такая?

– А это, – говорят, – девочка. За коровой пришла.

Он еще больше покраснел, даже позеленел и говорит:

– Видали? Красные там оборону готовят, мосты жгут, а они тут, черти, с грудными младенцами прохлаждаются!

Я не обиделась, правда, что он меня грудным младенцем назвал, но только думаю – надо сматывать удочки. А то, глядишь, и тебе попадет от такого бешеного.

Их уж там полная лужайка набилась, этих бандитов. Кто на коне, кто пеший... Коляска еще какая-то приехала.

Шумят, орут, ругаются на чем свет стоит.

Я думаю: «Ну, до свидания. Я пошла».

Подняла какую-то хворостинку, огляделась и под шумок погнала свою Ночку в кусты.

### *«Кирпичом по голове»*

До кустов не дошла – слышу за спиной:

– Эй, дивчина!..

Оглянулась – вижу: ко мне атаман подъезжает.



У меня сердце захолонуло. «Что еще? – думаю. Этак, я думаю, – с вами и через час до плотины не доберешься».

А он на меня зверем посмотрел и говорит:

– Ты тутошняя?

Я говорю:

– Да, тутошняя.

Тогда он пониже ко мне нагнулся, по сторонам посмотрел и говорит:

– Скажи, далеко отсюда будет Стахеевская мельница?

У меня сразу и хворостинка на землю полетела. Меня будто кирпичом по голове стукнули. Даже губы затряслись. Я говорю:

– Какая мельница? Не знаю я никакой мельницы. Никакой мельницы тут нет.

А он:

– Как это нет? Ты зачем брешь? Нам же хорошо известно, что тут где-то есть мельница, и около мельницы – плотина.

У меня в голове мысли, как колесики в часах, завертелись. Я думаю:

«Как же это? Откуда они узнали? Ведь если они, раньше чем плотину взорвут, до нее доберутся, это ж – городу крышка. Это же значит, что они у нас всех перережут. Вы посмотрите – их сколько? Вона – у них и пулемет, и второй пулемет из коляски торчит... А у наших мальчишек – только ружья да наганы заржавленные...»

Я думаю:

«Нет, нет. Надо что-то такое придумать. Надо их обязательно задержать, обмануть. Давай, – думаю, – покажу им не в ту сторону. Пускай-ка побегают. Пока они там разберутся, пока догадаются, а уж от плотины одни щепочки останутся!»

Все это я в одну секунду обдумала.

Атаман говорит:

– Ну что? Вспомнила?

А я перед ним дурочкой представилась и говорю:

– А-а! Это вы про плотину спрашиваете? Так это ж далеко. Это – в ту сторону. Это – за мостом...

Он говорит:

– А ну, проводи нас.

## *Не в ту сторону*

Уж этого я никак не ожидала.

«Вот, – думаю, – влипла, девочка!»

Ну, сами подумайте, – что мне делать было?

Отказываться? Попробуй откажись – он тебя так плеткой погладит, что от шкуры ничего не останется. А если не откажусь – тоже хорошего мало. Куда ж их вести? Не в ту сторону? Так они тебя после в куски разорвут, из пулемета застрелят.

Да, ничего не скажу, испугалась я в эту минуту. Даже подумала: не сказать ли им правду?

А потом, как вспомнила, что в городе одни мальчишки да женщины остались, – стыдно мне стало.

«Э, – думаю. – Ладно! Чего там! Уж коли назвалась груздем – полезай в кузов».

Думаю:

«Так и быть! Поведу их не в ту сторону».

## *В лесу*

А уж Соколовский командует:

– Построиться!..

Вот они все построились кое-как – конные на коней позалезли, пешие ремни на винтовках подтянули, – и вся эта банда, вся орава двинулась за мной следом.

Впереди у нас, за самого главного командира, Ночка моя выступает. За ней – я с хворостинкой. Со мной рядом – атаман Соколовский на кауром коне, а за ним следом – его есаулы, помощники и вся шайка.

Идут они как попало: где у них конные, где пешие – не разберешь. Атаман на них кричит. Сами они ругаются. И на меня тоже все время покрикивают.

– Эй, – говорят, – босоногая! Чего спишь? Гони свою тварь, а то сейчас ее на говядину пустим...

А я не спешу, не тороплюсь. Думаю: «Куда мне спешить? Пока я веду вас, голубчики, ничего вы со мной не сделаете. А вот потом что будет – это дело другое».

«Ох, – думаю, – лучше об этом сейчас и не думать...»

### *Пугаю бандитов*

Я только об одном думаю: скоро ли взрыв-то будет? «Что ж они, – думаю, – черти, копаются там?» Ведь рано ли, поздно ли бандиты очухаются, вернуться. Тогда уж поздно будет плотину взрывать. Неужели они, косолапые, до сих пор до мельницы не могли добраться?

А уж мы из лесу вышли. Опять по реке идем.

Над рекой туман. Уж темнеть стало. В городе, на той стороне, желтые огоньки замигали. И я как увидела эти огоньки, – мне до того худо стало, до того невесело, так мне домой захотелось, что прямо хоть в воду кидайся...

Я даже плакать опять потихоньку принялась.

Мне и себя-то до смерти жалко. И Ночку жалко. Бедняжка за день набегалась, нагулялась – теперь еле бредет, еле ногами переступает...

Да и бандиты, я вижу, тоже чего-то приуныли маленько.

Атаман уж сердиться стал. То и дело спрашивает:

– Ну, что? Скоро ли?

Я говорю:

– Скоро. Скоро.

Он говорит:

– Да знаешь ли ты, где плотина-то? Может, ты путаешь чего-нибудь?

Я говорю:

– Нет, не путаю.

– Ты сама-то была на мельнице? Какая она – плотина? Широкая?

Я говорю:

– Очень широкая.

– Тачанка пройдет?

– Нет, – говорю, – тачанка, пожалуй, не пройдет.

Это я нарочно сказала. Я думала, может, они испугаются и не поедут дальше, если тачанка-то у них не пройдет. Но, вижу, – нет, не испугались. Едут.

Они меня по дороге много о чем спрашивали. И сколько в городе красных, и какие части, и много ли у них при себе оружия. А я хоть и знаю, что мало, а говорю:

– Ох, до чего много! И винтовки, и пулеметы, и револьверы.

Они только посмеиваются.

– Да ну? – говорят. – Неужели не врешь? Неужели даже револьверы?

Я говорю:

– А что вы думаете? Даже пушка есть. Я своими глазами видела: у самой плотины стоит. Вот такая пушища – с колесами.

Думаю: может быть, они хоть пушки-то испугаются. Нет. Опять смеются.

– Ну, что ж, – говорят. – Пойдем побачим, що це за пушка с колесами...

### *Наконец грохнуло*

А потом и смеяться перестали. Не до смеху им.

Только и слышу:

– Ну что? Скоро ли мельница?

А я им только одно говорю:

– Скоро. Скоро. Успеете.

А сама думаю:

«До коих же пор я им головы морочить буду? Ведь этак, – думаю, – пожалуй, я могу их до самого синего моря довести».

И только подумала – слышу:

«Бах! Трах! Трах!»

Три раза подряд как грохнет.

«Ну, – думаю, – слава тебе, господи, – плотину взорвали...»

А бандиты остановились, перепугались. Кричат:

– Що це таке?

– Что такое?

Лошади у них все в одну кучу сбились. Зафыркали, захрипели. Коляска куда-то в канаву въехала. Такой шум поднялся – хоть уши пальцами затыкай.

Атаман Соколовский наган из кобуры выхватил. Кричит:

– Эй, вы!.. Тихо там! Не наводи панику...

Потом ко мне повернулся и говорит:

– А я думал – ты врешь.

Я думаю:

«Ну что ж. Правильно. Вру. А в чем дело?»

А он уже не мне, а своим есаулам говорит:

– А ведь девчонка-то правду сказала. И верно, оказывается, семидюймовка у них.

Я думаю:

«Какая семидюймовка?»

Посмотрела за реку. А там в эту минуту что-то как вспыхнет, как ухнет.

И почти сразу же где-то совсем рядом, в кустах за моей спиной, взорвался орудийный снаряд.

Меня даже воздухом в сторону откинуло.

### *Под обстрелом*

Я помню, еще успела подумать:

«Что такое? Так, значит, это не плотина была? Значит, это из пушек стреляют? Откуда же, – думаю, – пушки у наших?»

Но тут меня чуть не задавили. Бандиты от страха прямо с ума спятили. Такой у них поднялся галдеж, такая свалка, что и рассказать не могу.

Атаман Соколовский кричит:

– Стой! Стрелять буду!

А они и не слушают его – гонят куда попало. Коляска у них трещит. Лошади спотыкаются, падают...

Ночка моя, бедняжка, мычит, мечется между ними. А они и внимания не обращают, дуют себе напролом.

А тут еще, как нарочно, пулемет затрещал из-за реки. Так уж тут и сам Соколовский не выдержал. Стегнул коня, крикнул: «За мной!» –

и вперед ходу.

И мы с моей Ночкой тоже бежать припустили. Только мы не вперед, а – в кусты.

### *До свидания, Ночка!*

Я думаю:

«Откуда же пушки взялись? Ведь не было! Ни одной не было».

И вдруг мне как будто подсказал кто-то:

«Так это же папа! Папина дивизия подошла!»

У меня даже голова закружилась, как только я подумала об этом.

«Ну, конечно же, – думаю, – папина дивизия в город пришла. Потому и плотину, наверно, не взрывали. Теперь их там много, теперь им бояться нечего... Теперь уж небось бандитам не поздоровится...»

И вдруг я вспомнила, что ведь бандиты уходят, что ведь я сама увела их подальше от города...

Меня будто крапивой стегнули...

«Что же я наделала? Дура! Ведь их потом не найдешь. Ведь они если в лес уйдут, их полгода потом ловить придется!»

А уж из города, вижу, и стрелять перестали. Думают, наверно: ушли бандиты...

«Как же, – думаю, – их задержать? Что бы такое придумать?»

И придумала все-таки.

– А ну, – говорю, – Ноченька, до свидания, беги-ка ты домой одна.

Подхлестнула ее хвостинкой, а сама повернулась и – бегом, догонять бандитов.

### *Бандиты хотят меня зарубить*

Они еще далеко не успели уйти.

Чего у них там случилось – не знаю, только вижу: стоят, окружили атамана своего, кричат, руками размахивают.

Я еще до них добежать не успела, а уж атаман как будто ждал меня:

– Вот, – говорит, – она! Здесь она!

Потом говорит:

– Ну! Где ж плотина-то?

А я задрожала вся, руки перед ним ладошками сложила и говорю:

– Ой, дяденьки, миленькие!.. Вы только не сердитесь, не ругайтесь...

– Ну, что еще, – говорит, – такое?

– А я, – говорю, – ошиблась маленько. Плотина-то ведь в той стороне.

– Как, – говорит, – в той стороне?

– Да так, – говорю. – Вы уж давеча больно громко орали на меня.

Я с перепугу-то все и перепутала.

Он свою серебряную саблю выхватил и говорит:

– Ты что?!

Потом говорит:

– На обман взяла? Издеваешься над нами?

Тут из толпы этот, в шляпе который, выскочил и говорит:

– Рубай ее, атаман! А ну, рубай ее, красную гадину!

Тут и другие, слышу, тоже кричат:

– Обманщица!

– Обдурила нас!

– Застрелить ее надо!

– Стреляй в нее, атаман!

Я думаю: «Ну, что ж! Сейчас застрелят».

Зажмурилась даже. Потом говорю:

– Я ж не нарочно.

И заплакала.

Атаман меня за плечо схватил, в глаза посмотрел и говорит:

– Так, значит, ты говоришь, плотина – там, в той стороне?

– Там, – говорю. – Вот честное слово – там.

Он говорит:

– А ну, становись на колени.

Я не подумала – стала.

– Перекрестись, – говорит.

Я и перекрестилась.

Тогда он саблю обратно вложил, по рукоятке ладошкой похлопал и говорит:

– Если обманешь, сам на месте тебя вот этой саблей зарублю.

Потом на коня вскочил и кричит:

– Эй, вы, черти окаянные, поворачивай!.. Конные вперед, переменным аллюром – за мной!..

Гикнул, свистнул и вдруг коня придержал, нагнулся, схватил меня под мышки и – к себе в седло.

– А ну, – говорит, – показывай нам дорогу.

Потом еще раз свистнул, лошадь рванула, и я чуть из седла не вылетела.

### *Назад в город*

Я даже кричать не могла. Я будто вся деревянная стала. Лошади в холку вцепилась, зажмурилась и глаз не разжимаю.

А меня так и кидает, так и подкидывает.

Соколовский орет:

– Гей! За мной! Вперед! Не отставай!..

Сзади свистят, улюлюкают, плетки щелкают, копыта стучат.

Я глаза приоткрыла – вижу: мы уже лесом несемся.

Над головой только темные ветки мелькают.

Я думаю:

«Куда же мы едем? В город? Ведь там же красные. Ведь папина дивизия пришла. А может быть, – думаю, – и не пришла никакая? Может быть, я дурака сваяляла? Может быть, я в безоружный город бандитов веду?»

Подумала об этом, и даже холодно стало, будто мне снегу за шиворот насыпали.

### *Встреча*

Но до города мы так и не доехали. Не успели. Только, я помню, мы с бандитами из лесу выскочили, – у меня над головой что-то как засвистит.

И не успела я голову наклонить, а уж слышу – Соколовский кричит:



– Стой!..

Лошадь под ним на дыбы взвилась. Удилами зазвенела. Задние на него налетели. Все смешались.

А уж где-то впереди слышу:

– Ура-а! Ура-а! Ура-а-а!

Я лошадь за шею обхватила, высунулась и вижу: бегут нам навстречу люди. И хоть они и далеко еще, а уж вижу, что это не просто люди, а военные: в шинелях, с винтовками со штыками... И столько их там бежит, что и сосчитать нельзя.



А впереди на коне командир скачет и наганом над головой размахивает...

Я его еще и разглядеть не успела, а уж у меня дух захватило и сердце в груди заколотилось.

Я, как угорь какой-нибудь, из седла выскользнула, на землю прыгнула и – бегом навстречу.

– Папа! – кричу. – Папочка! Папка!

А за спиной слышу:

– Стой! Гадина!

Опянулась – несется ко мне атаман Соколовский.

Весь изогнулся, чуть из седла не валится. Лицо у него злое. Глаза горят. Оскалился.

– Стой! – кричит.

И вижу, саблю надо мной поднимает.

Я съехала. Присела. Потом у меня что-то в ушах затрещало. Что-то грохнуло. Ноги у меня подкосились. И я память потеряла.

### *Золотая сабля*

Очнулась – кто-то мне голову гладит.

А голове больно. В голове шумит.

Где-то как будто стреляют. Где-то «ура» кричат.

А я даже и вспомнить не могу, что со мной, где я... Носом поглубжедохнула: папоротником пахнет. Глаза приоткрыла – что такое? Кто это надо мной?

Я даже головой замотала.

– Уйди! – говорю.

Страшно мне стало.

А потом посмотрела получше и узнала: Ноченька это, корова наша... Нагнулась ко мне, сопит и тепленьким своим языком плечо мне вылизывает.

Я у нее, помню, спрашиваю:

– Ноченька! Милая! Где это мы с тобой? А?

А потом голову повыше подняла и вижу: поляна или опушка лесная. Луна светит. Елочка растет. Около елочки конь какой-то гуляет, уздечкой звенит. А рядом со мной вижу: лежит человек. Лежит на спине, руки раскинул. На правой руке кровь. А в руке сабля с золотой рукояткой.

Я тут и вспомнила все. И Соколовского – атамана – узнала.

Думаю:

«Вот оно что. Значит, не убил ты меня? Значит, самого убили!..»

А в голове больно-пребольно. Прямо трещит голова.

Встать хотела – не могу. Все крутится, качается, будто я целый час на одной ножке вертелась.

Легла я и голову уронила.

Вдруг, будто сквозь сон, слышу, кричат:

– Вот она!

Я опять голову через силу подняла, вижу: люди бегут на полянку. Впереди Вася, братишка, бежит. За ним дядя Федор, охотник. А за ними с конем в поводу – папа!

Я только «папа, миленький» и успела сказать. А уж он меня на руки подхватил, обнимает, целует и в лоб, и в нос, и в глаза, и куда попало...

– Живая? – говорит.

– Живая, – говорю.

– Ну и молодец. Нам больше ничего и не надо.

А что дальше было, я уж не помню. Потому что я опять память потеряла. И как меня в город везли – не знаю. Говорят, меня папа сам на своем коне довез. А Вася и дядя Федор будто бы сзади бежали...

## *Выросла*

Ну, а дальше и рассказывать нечего.

Бандитов, конечно, всех переловили. В тюрьму посадили.

Мост новый построили.

А я только три денька всего и повалялась в постели.

У меня ведь ничего страшного не было. Ведь Соколовский меня зарубить не успел. Папа, когда увидел, что он на меня с саблей летит, выстрелил и пробил ему руку. Сабля только тупым концом и ударила меня по затылку. Зато у меня до сих пор лысинка на этом месте осталась на память.

А я лежала – не жаловалась. Чего мне жаловаться? Со мной ведь папа рядом сидел!

Правда, нам с папой даже и поговорить как следует не дали. Уж столько народу, столько людей меня навещать в эти дни приходило, что даже неловко было.

Все они на меня глядели, удивлялись: вот, дескать, храбрая какая девочка – бандитов не испугалась!

А я хоть и молчала, а сама думаю:

«А вы почему знаете, что не испугалась? Еще как испугалась-то».

Папа у нас неделю только и погостил. А потом опять воевать уехал.

А через день или через два меня в комсомол приняли.

Как-то вечером возвращаюсь с Ночкой из стада – вижу, ребята идут. Комсомольцы. И с ними наш Вася.

Увидели меня – честь отдают.

– Здорово, – говорят, – товарищ военный инвалид. Мы к вам.

Я говорю:

– Ну что ж, милости просим.

Привела, усадила, спрашиваю:

– В чем дело?

– Дело, – говорят, – такое. В комсомол хочешь?

А я хоть и обрадовалась до полусмерти, а сама и виду не подаю. Отвернулась даже. Говорю:

– Я же – маленькая...

Тут Вася мой подскочил, кулаком по столу ударил и говорит:

– Ну, ну! Не фасонь! Ты! Матрена Ивановна! Маленькая, да удаленькая...

Ребята смеются...

– Правильно, – говорят. – Об чем разговор? Пиши заявление.

Тогда я подумала и говорю:

– Ну, хорошо, ладно. Вот с коровой управлюсь и сяду писать...

А сама думаю:

«Чего мне писать? У меня уж все написано и переписано».

У меня ведь заявление-то месяца три уж под подушкой лежало. Уж и пожелтело небось... Всё дожидалось, пока я вырасту.

# Рассказы о Кирове\*

## *1. Рассказ артиллериста*

Хоть немножко и совестно мне, ребята, рассказывать, а расскажу все-таки, при каких невеселых для меня обстоятельствах я с товарищем Кировым познакомился.

А познакомились мы с ним так.

Ну, правда, мне и раньше приходилось его встречать, когда я в Астрахань с фронта приезжал. Но только тогда большей частью мы с ним на далеком расстоянии виделись. Он на трибуне выступал, а я где-нибудь на подоконнике или на какой-нибудь бочке селедочной сидел. И, конечно, разговаривать с глазу на глаз не приходилось. Но видел его хорошо.

И вот, когда я на него издали – на митингах да на собраниях – глядел, всегда мне казалось что он какой-то – будто из цельного камня вырубленный. Каким-то он мне всегда казался, вы знаете, суровым. Бывало о врагах революции заговорит – честное слово – страшно делается... Другой раз кулаком по столу ударит – в окна стекла звенят. А слово скажет – так будто снаряд разорвался.

Ну, а потом привелось познакомиться поближе.

Это уж в ноябре месяце было. В девятнадцатом году. К этому времени мы отеснили белых от Астрахани и гнали их, голубчиков, без передышки в Каспийское море. Казалось, еще день-два – и Волга от истоков до устья будет нашей, советской.

Но у самого моря, возле маленького калмыцкого селения Аля, бандиты очухались, перегруппировались и перешли в контратаку. И тут, возле этого Аля, завязался жестокий бой. Бойцы наши голодные были, разутые, многие не спали по пять, по шесть суток, – еле-еле держались. Одним словом, обстановка была трудная.

И вдруг – в самую горячую минуту – по фронту среди красноармейцев слух прошел:

– Киров приехал!

Его еще никто и не видел, не успел он из машины вылезти, а уж по фронту – будто свежий ветер подул.

Один человек прибыл, а будто целая дивизия на помощь пришла.

Весь день и всю ночь пробыл Сергей Миронович на передовых линиях.

Где туго дело идет, где бойцы поутомились, поприуныли – там Киров со своей веселой улыбкой.

Где пули свистят, где снаряды рвутся – он тут как тут.

Перед обедом он к нам на батарею пришел. Мороз трещит, а он будто из бани – красный весь, пальто расстегнул.

– А ну, братцы, крой, крой, – говорит.

А сам на бугорок поднялся и в бинокль неприятеля разглядывает.

Я ему, помню, говорю:

– Вы бы, Сергей Миронович, поберегись маленечко. Пуля-то ведь – она, как говорится, – дура...

Он оглянулся, засмеялся и говорит:

– Э, брат. Мало ли что!.. Пуля-то, она, конечно, дура, а зато ведь – и жизнь, говорят, копейка. Правильно, а?

Я как-то растерялся, не нашел, что сказать, и говорю:

– Вам, – говорю, – товарищ Киров, видней.

Он опять засмеялся – и все-таки отошел в сторону. И оттуда еще раз на меня посмотрел и левым глазом мне подмигнул: дескать, погоди, брат, поговорим еще.

Уже к вечеру, часам к шести, наша армия по всему фронту перешла в наступление.

А наутро меня вызывает командир части и говорит:

– Тебе ответственное поручение. Спешно доставишь в Астрахань товарища Кирова.

Я обрадовался, говорю:

– Есть, товарищ командир.

А он говорит:

– Только при этом – маленькое «но». Ехать автомобилем сейчас опасно. Тут по дорогам банды гуляют. Так что самое лучшее – переправь его туда водным путем.

Я говорю:

– Как водным?

– Ну по Волге. На катере или на пароходе.

– Где ж, – я говорю, – его возьмешь, пароход-то?

– А тут, – говорит, – кстати у пристани какой-то болтается.

А я, надо вам сказать, в то время с пароходами дела не имел. Я даже на лодке в то время и то не очень-то умел ездить. Я сам из Тамбовской области, а там у нас морей и океанов не водится.

Так что я немножко затылок почесал.

Но все-таки пошел на пристань.

Вижу, действительно, стоит у причала какой-то маленький пароходик, под названием «Киргиз». Из трубы дым идет, на палубе матросы чего-то ковыряются.

Спрашиваю:

– Чей пароход?

– Наш, – говорят.

– Как это ваш?

– Ну, советский, значит.

– Кто командир?

– Вот, – говорят, – командир. Капитан товарищ Дулин.

Я посмотрел, вижу – пожилой человек. Борода козлиная. Брови мохнатые, под бровями глаз не видать.

Не знаю – не понравился мне чего-то этот дядя. Борода его, что ли, не понравилась.

– Вы, – говорю, – командир?

– Я командир.

– Корабль ваш в целости?

– Так точно, в полном порядке.

– Вам задание: доставите в Астрахань члена Реввоенсовета Республики товарища Кирова.

Вижу, у него и борода затряслась. Побледнел даже. Потом говорит:

– Есть доставить Кирова.

Через полчаса товарищ Киров прибыл на пароход. Меня он узнал, поздоровался.

– Здорово, – говорит, – сухопутный моряк.

Я говорю:

– Действительно, угадали, товарищ Киров. Воистину – сухопутный.

Но хоть я и сухопутный, а все-таки слышал, как у них на кораблях команду подают. Кричу:

– Отчаливай!

Минута целая прошла, а пароход – ни с места.

Я бегу к капитану.

– Вы что ж, – говорю, – команды не слышали? Кому было сказано отчаливать?

– Не знаю, – говорит, – кому. Здесь командир – я. Когда придет время – отчалим.

Повернулся и на капитанский мостик пошел. И немного погодя оттуда кричит:

– Отдать концы!

Пароход загудел, запыхтел и отвалил от пристани.

Не прошло и десяти минут – вдруг: стоп!

Что такое? На самой середине реки остановка.

Бегу на капитанский мостик.

– Что еще такое? – говорю. – В чем дело?

– Не знаю, – говорит капитан. – По-видимому, что-то с машиной.

Я говорю:

– Как с машиной? Вы же мне говорили, что у вас корабль в полном порядке.

– Да. Говорил. В чем дело – не понимаю.

– Ах, не понимаешь?

Рассердился я. Задрожал весь.

– Если, – говорю, – через две минуты машина не будет исправлена – на месте застрелю...

Он даже не посмотрел на меня.

– Ваше дело – стрелять, мое – командовать пароходом.

Хотел я ему тут еще чего-нибудь покрепче сказать, – вдруг слышу:

– Правильно, капитан!

Вижу – выходит из каюты на палубу товарищ Киров.

– Тихо, – говорит, – братцы, тихо. Не надо шуметь. В чем дело? Почему остановка?

– А потому, – я говорю, – товарищ Киров, остановка, что пароходом командует изменник и предатель. Он что-то нарочно



сделал с машиной. Посмотрите, довез нас до середины реки и застрял. Застрелить его, – говорю, – как собаку, и все тут.



Киров говорит:

– погоди, дорогой. Не будем шуметь. Надо сначала посмотреть машину.

Подумал, скинул свое пальтишко, засучил рукава – и вижу, сам лезет в машинное отделение. Слышу, там возится, кряхтит, ощупывает чего-то, осматривает. Потом вылезает и говорит:

– Нет, машина в полном порядке.

– Вот видите, – я говорю. – Значит, он нарочно не хочет везти нас в Астрахань. Чего, – говорю, – с ним тут разговоры разговаривать. По глазам же видно – предатель.

И я выхватил наган и хотел уж и в самом деле убить этого человека.

Но Киров опять мне говорит:

– Не спеши, товарищ!

Подумал немножко, бровь почесал, подышал зачем-то – будто температуру воздуха смерил, – потом, вижу, идет к водяному ящику, где у них на пароходе запасы воды хранятся, и поднимает крышку.

– Ага, – говорит. – Так и есть. А ну-ка, дайте мне какой-нибудь ломик или топор.

Я подошел, заглянул в ящик. А ящик этот – весь, до самых краев, льдом забит.

– Вот видишь, какое дело, – говорит Киров. – Виноват мороз, а не капитан. Вода застыла, и машинам дышать нечем.

Он взял ломик и стал этим ломиком ковырять лед.

Через минуту пошла вода. Застучали машины. Пароход тронулся.

Мне, конечно, было неудобно и перед Кировым и перед капитаном. Я ушел на корму и долго там стоял и смотрел, как маленький наш пароходик ломает молодой волжский лед.

Вдруг слышу – подходит сзади Киров. Постоял, помолчал, руку мне на плечо положил. И говорит:

– Нельзя, дружок, быть таким горячим. Особенно на морозе.

Потом нагнулся и – в самое ухо мне.

– Ты знаешь, – говорит, – что такое человеческая-то жизнь?

Я вспомнил, как он давеча на батарее у нас сказал, и говорю:

– Жизнь, если не ошибаюсь, товарищ Киров, – копейка?..

Он засмеялся, головой тряхнул и говорит:

– Э, брат, нет! Это еще поторговаться надо. Задешево-то ее никогда отдавать не стоит, а особенно если эта жизнь – чужая!..

## ***2. Рассказ путиловца***

Тогда мы как раз налаживали производство первых советских тракторов. И почти ежедневно к нам на завод приезжал товарищ Киров. Иногда даже ночью приедет. Никому не скажет, не предупредит и – здравствуйте, как поживаете?

Вот один раз так же, в ночную смену, он приехал, собрал мастеров, инженеров, начальников цехов – пошли в тракторную мастерскую.

Остановились, помню, у фрезерного станка. Разговариваем. А разговаривать трудно. В мастерской шум, грохот, машины стучат, рабочие своего Мироныча приветствуют...

Вдруг, я вижу, Киров замолчал, нахмурился, ухо у него как-то насторожилось.

Думаю – что такое? К чему это он там может прислушиваться?

Народ вокруг шумит, ему говорят что-то, а он стоит, брови сдвинул и все время куда-то в сторону, под машину поглядывает.

Я ему кричу:

– Что с вами, Сергей Миронович?! В чем дело?

Он головой помотал, поморщился и говорит:

– Пищит.

– Кто пищит?

– Машина пищит.

Тут, конечно, все замолчали. Стали слушать. И никто, вы представьте, ничего не слышит. Никакого писка. Только один старый рабочий, тот, который на фрезерном станке работал, послушал и говорит:

– Да, действительно... Пожалуй, шарошка маленько поскрипывает.

Киров говорит:

– Зуб сработался.

– Да нет, – говорит рабочий, – не может быть, чтоб сработался.

– А я тебе говорю – сработался. Миллиметров на пять, на шесть.

А ну, посмотри!

Посмотрели и – что ж вы думаете: действительно, зуб у этой шарошки сточился. Кронциркуль принесли, смерили – пять миллиметров точно.

Этот старик фрезеровщик до того удивился, что даже на табуретку сел. Потом говорит:

– Как же это вы, простите, Сергей Миронович, догадались?

– Как догадался? – говорит Киров. – А я, между прочим, не в институте для благородных девиц воспитывался. Я, дорогой папаша,

еще в ремесленном училище с фрезером дело имел. У меня до сих пор на руках смазка не отмывается.

## Первый подвиг\*

Полковник Мережанов, командир гвардейской дивизии, кавалер орденов Отечественной войны, Кутузова и Александра Невского, а с недавних пор еще и Герой Советского Союза, в боях под Сандомиром был тяжело ранен и лежал на излечении в Н-ском тыловом госпитале. Я приехал туда, чтобы писать о нем книгу. Полковник уже выздоравливал, ему разрешено было ходить, и он много и с удовольствием ходил, опираясь на суковатую палку, собирал ягоды и грибы, удил рыбу и даже пробовал играть на бильярде. Со мной он был очень вежлив и предупредителен, но боюсь, что особенной радости мой приезд ему не доставил. Как и все по-настоящему сильные и мужественные люди, Мережанов был скромн и неразговорчив; пуще смерти не любил он рассказывать о себе, а я с утра до ночи заставлял его говорить и говорить именно о себе, о своих подвигах и переживаниях.

Пока он ловил в реке Шар-Йорка окуньков и ершей, я выуживал из него подробности его боевой биографии. Он в лес по грибы – и я за ним. Он сядет отдохнуть в гамаке или в качалке – и я пристраиваюсь рядом.

В конце концов мне удалось собрать очень много материала, и мне казалось, что вся жизнь Мережанова – от детских лет до той минуты, когда он прочел в «Известиях» указ о присвоении ему звания Героя, – уже действительно собрана и лежит у меня в портфеле, в четырех потрепанных и мелко исписанных записных книжках.

Только один факт в его биографии оставался для меня загадочным. У Мережанова было очень хорошее, умное кареглазое русское лицо. Это лицо я бы не побоялся, пожалуй, назвать и красивым, если бы не безобразил его глубокий рубцеватый шрам, след пулевого ранения, тянувшийся через всю левую щеку, от уха до краешка верхней губы. Я знал, что Мережанов был одиннадцать раз ранен, но о том, что он был ранен в лицо, он никогда мне не рассказывал, и в истории его болезни, с которой я познакомился в кабинете начальника госпиталя, я тоже не нашел никакого упоминания о таком ранении.

Однажды вечером, когда мы сидели с Мережановым в саду – он в гамаке, а я возле него на пенечке, – я как бы невзначай, между делом, задал ему вопрос:

– Скажите, полковник, я давно хотел спросить: откуда у вас эта царапина на щеке?

– Где? Какая? – спросил он, потрогав щеку, и вдруг нащупал рубец, понял, о чем я спрашиваю, помрачнел и как-то слишком поспешно и даже сердито, не глядя на меня, пробормотал:

– Пустяки... Никакого отношения к вашей теме не имеет. Дело далекого прошлого...

И, опершись на палку, он выбрался из гамака и сказал:

– Идемте спать. Уже поздно.

Больше я не решался его расспрашивать. Бывает же у всякого такое, о чем неприятно и не хочется говорить. «Ничего не поделаешь», – решил я. Тем более, что через несколько дней я должен был уезжать. И ведь надо же было так случиться, что именно в этот день, буквально за две минуты до отъезда, мне посчастливилось узнать тайну этого мерезжановского шрама.

\* \* \*

Вместе со мной уезжали из госпиталя два молодых офицера, фронтовики Брем и Костомаров. Еще с вечера мы попрощались с товарищами и врачами, а утром чуть свет поднялись, уложили вещи и вышли на шоссе, поджидая машину, которая должна была доставить нас на пароходную пристань. Накинув на плечи серую больничную курточку, вышел нас проводить и полковник Мережанов.

Солнца еще не было видно, еще лежала роса на траве, но вершины деревьев уже розовели и обещали хороший, ясный и спокойный августовский день.

Машина долго не шла. Мы сложили наши вещи у дороги и сами расположились тут же маленьким лагерем. Мережанов, по обыкновению, молчал; он лежал в стороне, покусывая какой-то цветок или травинку; я тоже молчал, зато молодые попутчики мои были возбуждены, много смеялись и говорили громко и наперебой.

За дорогой, в небольшой рощице, позвякивая колокольчиками, бродило колхозное стадо. Мальчик-пастух, которого я и раньше встречал в окрестностях госпиталя, то и дело высовывал из-за кустов свою белобрысую голову и поглядывал в нашу сторону. Видно было, что ему хочется подойти к нам и заговорить, да не хватает храбрости. Но все-таки он подбирался все ближе и ближе, наконец вышел на дорогу, постоял, посмотрел, сделал еще два-три шага, неловко поздоровался и, не дожидаясь приглашения, сел у края дороги, подогнув под себя босые ноги и положив рядом свой длинный пастушеский кнут. Минуту он сидел молча, разглядывая ордена и медали моих спутников и не очень внимательно прислушиваясь к их разговорам, потом вдруг тяжело вздохнул, покраснел и сказал:

– Я извиняюсь, товарищи военные... Можно вопросик задать?

– Какой вопросик? Можно, – ответили ему.

– В общем... я вот чего хотел, – проговорил он, волнуясь, шмыгая носом и еще более краснея. – Я уже давно думал, с кем бы мне посоветоваться... Не скажете ли вы мне, товарищи, как бы мне... ну, одним словом, – подвиг совершить?

Трудно было удержаться от смеха. Все мы громко и от души расхохотались. А мальчик еще больше смутился, до того, что слезы у него на глазах показались, и сказал:

– Да нет, вы не думайте, я ведь это серьезно.

– А тебе что – так уж обязательно хочется совершить подвиг?

– Ага, – кивнул он. – Обязательно.

– Ну, так за чем же дело стало?

– А вот за тем и стало, что никакой возможности нет в моем положении подвиг совершить. Сами подумайте: где ж его тут у нас совершишь? Фронт от нас далеко: километров, я думаю, тыщи две. Полюсов – тоже нет. Хоть бы граница какая-нибудь была – и той нету.

– Глупости, мой дорогой, – сказал лейтенант Брем. – Чтобы совершить подвиг, вовсе не обязательно ездить на фронт или открывать полюсы. В любом деле можно проявить и отвагу и мужество и принести пользу родине.

– Да, это конечно, – рассеянно кивнул мальчик, – это я читал...

Слова лейтенанта его нисколько не утешили. Обо всем этом он уже слышал небось много раз и от учительницы, и от матери и в книжках читал... И все это были для него пустые слова. А ему,

наверно, и в самом деле до смерти хотелось совершить какой-нибудь громкий и небывалый подвиг.

– Ну что ж, – сказал он, подбирая свой кнут и поднимаясь. – Ладно... Пойду... Простите, коли так, что побеспокоил...

Он постоял, помолчал, почесал в затылке и уже другим голосом, более весело и развязно, сказал:

– Может, тогда хоть папиросочкой угостите? А?

Кто-то из нас, засмеявшись, дал ему папиросу. И прикурить тоже дал. И при этом, конечно, как это всегда бывает, не удержался, чтобы не сказать:

– Маленький такой, а куришь! Ай-яй-яй!..

– Эвона! – сказал мальчик басом, выпуская из ноздрей дым и морщась от крепкого табаку. – Я уж, вы знаете, четвертый год курю.

– Ну и дурак! Нашел, чем хвастать. Вредно ведь.

– Ну да! – усмехнулся он. – Это только так говорят, что вредно. А сами небось все курите. Военные вообще все курят.

– Да? Ты думаешь? А вот я, представь себе, не курю.

Это сказал Мережанов. Он действительно не курил и даже табачного дыма не выносил.

Мальчик мельком, небрежно посмотрел на его серую курточку и сказал:

– Ну так что ж. Ведь вы же зато не военный...

Опять мы расхохотались. Пришлось объяснить мальчику, кто такой Мережанов. Но оказалось, что он лучше нас знает, кто такой Мережанов.

– Нет, верно? – воскликнул он, и заблестевшие глаза его так и впились в полковника. – Это вы?!

– Я, – с улыбкой отвечал Мережанов.

– Это вы прошлый год на бочках через Днепр переплыли? Помните?

– Ну как же, помню немножко, – сказал Мережанов.

– А под Житомиром это вы два батальона немецкой пехоты окружили?

– Э, брат, да ты, я вижу, какой-то вроде колдуна. Все-то ты знаешь. Ничего от тебя не скроешь. Ну тебя! – махнул рукой полковник.



Мальчик опять присел на корточки и во все глаза смотрел на знаменитого человека, о котором он небось и в газетах читал и по радио слушал.

– А почему же вы не курите, товарищ Мережанов? – спросил он.

– Почему не курю? Не хочу, потому и не курю.

– И раньше никогда не курили?

Полковник не сразу ответил. Мне показалось, что лицо его помрачнело. Внезапно он сел, как будто собираясь рассказывать что-то, посмотрел на мальчика и спросил:

– Тебе сколько лет?

– Одиннадцать.

– Ну да, правильно, – сказал Мережанов. – И я тоже начал дымить приблизительно в этом же возрасте. И дымил, представь себе, как паровоз, двадцать три года подряд.

– А потом?

– А потом взял и бросил.

– Доктор небось велел?

– Нет, доктора тут вовсе ни при чем. Конечно, курение приносит вред и легким, и печени, и селезенке. Все это истинная правда. Но если бы дело было только в одной какой-нибудь там печенке – может быть, и не стоило бы бросать курить. А я убежден, что военному человеку вообще курить не следует. Особенно летчику, разведчику, пограничнику...

Мережанов помолчал, посмотрел на маленького пастушонка, который неловко пускал из ноздрей дым, и сказал:

– Ладно. Так и быть. Слушай. Расскажу тебе, чего со мной табак наделал. И вам, товарищи офицеры, тоже полезно будет послушать.

\* \* \*

– В тридцать шестом году служил я в пограничных войсках. Был я тогда лейтенант и состоял в должности заместителя начальника погранзаставы. На какой границе и где – это неважно. Только скажу вам, что места эти отчаянно глухие. Лес да болото, и ничего больше. В лесах этих водилось очень много дичи, еще больше комаров, а зато людей там было очень немного. И люди эти были по преимуществу

староверы, или, как их называли когда-то, раскольники. Народ, между нами говоря, весьма положительный, трудолюбивый, непьющий и некурящий. Ну, насчет выпивки не поручусь: может, и выпивают слегка. А вот что касается курения – это нет. Курение у них почитается за высший грех. Табак они даже не табаком, а «зельем» именуют. А «зелье» по-старославянски означает «яд». Жили они, эти староверы, в то время как-то на отшибе, на хуторах, с остальным населением не яшались, молились в своих молельнях, ели и пили из своей посуды. Ну, да ведь это, как говорится, дело их совести. Были, конечно, среди них и кулаки и другие враждебные элементы, но тех давно уже попросили об выходе... А в остальном, я говорю, народ был подходящий, трудовой, и жили мы с ними, в общем, в мире и согласии.

И только один человек на всем нашем участке был у нас на подозрении. Это была одна женщина, по фамилии Бобылева. У нее двоюродный брат, некто Филонов, раскулаченный, в тридцать первом году бежал за границу. Там его очень быстро завербовала немецкая военная разведка, и за три года он несколько раз переходил нашу государственную границу. Это был очень ловкий и очень опасный враг. В тысяча девятьсот тридцать пятом году он среди бела дня застрелил из обрезка учительницу Скворцову. Наверно, вы помните этот случай. Не помните? Ну ладно, я напомним. Учительница эта была коммунистка и депутат Совета. У Филонова с нею были какие-то старые счеты: она его когда-то раскулачивала и писала о нем в областную газету. Так вот, этот Филонов, я говорю, среди бела дня пришел в деревню; в школе в это время шли занятия, и учительница что-то писала ребятам на доске. Он распахнул окно, выпустил в упор всю обойму – и поминай как звали.

Его ловили, устраивали на него целые облавы, – он, как угорь, сквозь пальцы у нас проскальзывал.

И вот однажды мы получаем агентурные сведения, что Филонов опять собирается перейти границу, что идет он с очень важным и ответственным заданием в Москву и что у него явка на одном из хуторов в нашем районе.

Между прочим, в то время я еще не знал, что Бобылева – родственница Филонова. Пограничник я был молодой, на заставе служил первый год. Но у меня уже и тогда были серьезные основания поглядывать на эту женщину с подозрением.

Бобылева жила на хуторе одна. Это была уже очень дряхлая старуха. Она ни с кем не виделась, никуда не ходила. И мы о ней до поры, до времени ничего дурного не думали. Но один раз, возвращаясь из лесу с какого-то задания, я зашел к ней на хутор напиться воды. Поила она меня из особого стакана, из которого сама не пила. Такая посуда, для посторонних, у них называется «поганой». Стакан этот был завернут в старую скомканную газету. Случайно я взглянул на эти бумажные ошметки и увидел, что газета эта... ну, одним словом, не наша, иностранная. Спросил старуху, откуда у нее. Говорит: «Не помню, – кажется, в лесу нашла». В общем, это звучало правдоподобно. В деревне, как вы знаете, бумагой, даже каждым клочком ее, дорожат. А найти иностранную газету в лесу, где ходит всякая сволочь, в наших местах нетрудно. Все-таки я сообщил о своем «открытии» начальнику. Он тоже решил, что пустяки. Однако за этой Бобылевой мы стали с тех пор слеживать. Правда, ничего особенного не выследили, но подозрение как-никак осталось.

А когда мы получили сведения, что у Филонова явка на нашем участке, и когда я узнал, что Бобылева – родственница Филонова, для меня вся картина сразу же стала ясной. Правда, в этом случае мне помогло еще одно маленькое обстоятельство, о котором я не имею права рассказывать. Но факт тот, что я пришел к точному и определенному заключению, что Филонов после перехода границы должен будет остановиться на хуторе у Бобылевой. И тут я, как говорится, угадал с точностью до одной сотой миллиметра...

\* \* \*

Я доложил о своих соображениях начальнику. Тот сообщил в штаб отряда. Меня вызвали в город, и там я получил задание – на свой страх и риск провести эту серьезную и ответственную операцию по поимке Филонова.

Для меня это был экзамен на боевую воинскую зрелость. Не люблю хвастать, но должен сказать, что операция была разработана у нас по всем правилам искусства.

Накануне вечером, то есть накануне того дня, когда ожидалось появление Филонова, мы вызвали Евдокию Бобылеву на заставу и там,

уж не помню, под каким благовидным предлогом, ее задержали. А тем временем на хуторе у нее произвели обыск... Ничего такого умопомрачительного не нашли: ни оружия, ни взрывчатых веществ, ни карт каких-нибудь. Но и того, что было найдено, оказалось достаточным, чтобы нас не мучила совесть, будто бы мы ни за что ни про что потревожили на ночь глядя бедную одинокую старушку. Нашли мы у нее там отрез заграничного, правда очень дешевенького, ситца, баночку – тоже заграничного – лекарства от ревматизма и – самое главное – нашли профсоюзный билет на имя Василия Федоровича Пыжова. А мы знали, что под этой фамилией в позапрошлом году Филонов приходил в Советский Союз.

Попросили объяснений у Бобылевой. Старуха поломалась, поломалась, а потом расплакалась, раскудахталась и вынуждена была признаться, что Филонов, ее двоюродный брательник, действительно бывал у нее не один раз, что последний раз он был у нее о прошлом месяце и что вскорости опять обещал прийти и обещал принести ей вязальных иголок и цветной шерсти.

Этих гостинцев она, разумеется, не получила: в тот же вечер ее взяли под замок.

А нам теперь оставалось только не прозевать Филонова. И вот тут-то мы, как говорится, и...

– Товарищ полковник, машина идет, – перебил Мережанова лейтенант Брем.

– Что? Где? Какая машина? – закричал маленький пастушонок.

Он уже увлекся рассказом Мережанова. Глаза у него блестели, сидел он, как на пружинках, и стоило полковнику задуматься или замедлить рассказ, как он уже начинал ерзать и подпрыгивать, словно его муравьи кусали. Теперь он вскочил и с неподдельным ужасом смотрел туда, где в облаке розовеющей на утреннем солнце пыли и в самом деле шла, приближаясь к нам, высокая грузовая машина.

Но оказалось, что это не наша машина.

С тяжким веселым грохотом она промчалась мимо. На огромной светло-зеленой горе капустных кочанов сидели, обнявшись, две девушки и громко, стараясь перекричать грохот мотора, пели. Проезжая мимо, они запели еще громче, потом закричали что-то, и одна из них долго махала рукой, пока машина не скрылась за поворотом.

Мальчик облегченно вздохнул, засмеялся и поспешно пристроился на своем прежнем месте, у ног Мережанова.

– Ну, ну, а дальше чего? – затеребил он полковника.

Но Мережанов опять задумался. Казалось, он не видел ни нас, ни мальчика, ни веселого, шумного вихря, который промчался мимо.

– Н-да... – проговорил он наконец, тряхнув головой. – Оставалось, я говорю, ловить Филонова. Перед нами стояла, казалось бы, не очень сложная задача: поймать зверя в западне, которую он сам себе устроил. Ну что ж, я сделал все, что требовалось для этого. На всем участке, где нужно и можно было, я расставил усиленные пикеты пограничников. Я связался по телефону с соседними заставами. Там тоже было усилена охрана участков. На себя же я взял самую серьезную и ответственную часть задачи. Я решил сам лично сесть в засаду на бобылевском хуторе.

Пошел я туда без лишнего шума, никому, кроме начальника, об этом не сообщил и взял с собой одного только человека. Это был сержант Алиханов, азербайджанец, чудесный парень, необыкновенный смельчак, у которого на счету было более двадцати задержаний. Это значит, что он сам лично задержал и обезвредил больше двадцати врагов нашей родины.

Мы оба хорошо выспались, встали задолго до рассвета, часа в два ночи, плотно позавтракали и пошли на хутор.

Я хорошо помню эту ночь. Моросил дождь. Для Филонова это было, конечно, очень кстати, потому что дождь, как вы знаете, и следы смывает, и шорохи скрадывает. А пограничникам, наоборот, в такую погоду работать не приведи господи... Ну, да ведь мы собрались ловить его не на улице.

Нам тоже это было на руку, что следов не оставалось.

В избе у Бобылевой еще с вечера был наведен полный порядок. Никаких следов обыска. Наоборот, – все, как полагается. В углу перед иконой лампадка теплится. На полу половички разостланы. У входа ведро с водой, на столе – кринка с молоком, и ситечко лежит, как будто старуха ушла на погреб и вот-вот вернется.

Одним словом, нужно было садиться и ждать гостя. Мы так и сделали.

Я сел за пологом, возле печки, где у старухи стояла постель и висела одежда. Это было очень удобное для маскировки и для наблюдения место. А мой напарник устроился в противоположном углу, около двери. Там стоял такой небольшой черненький шкафчик, или, как у них это называется, «горка», – для посуды и для хозяйственной, утвари. От дверей Алиханов был отгорожен, а я его видел, и он меня тоже мог видеть, потому что полог был с этой стороны слегка раздвинут...

Ну вот. Что ж тут рассказывать? Сели и сидим. Оружие в руках держим. Сидим – как положено. А положено в таких случаях сидеть молча, не шевелиться, не двигаться, не кашлять, не сморкаться, а если можно, так и не дышать. Занятие, конечно, скучное, да только – что ж, нам не привыкать.

Сидим час, другой, третий... На дворе уж последние петухи пропели. Уж светать начинает. Тогда у нас, между прочим, на границе такое правило было, что в пограничных поселках окна, выходящие на западную сторону, должны были с наступлением темноты закрываться ставнями. Так вот уж сквозь эти ставни мы видим, как на дворе божий день занимается.

Еще сколько-то часов проходит. Мы сидим. Не шевелимся. Не дышим. И такая, вы знаете, тишина вокруг, что даже в ушах звенит. Только слышно, как тараканы где-то за печкой путешествуют, как дождь за окном шумит и как лампадка в углу перед Спасом нерукотворным потрескивает.

Сначала я каждые пять минут на часы поглядывал. А потом запретил себе. Дал зарок: если раньше чем через час погляжу, значит, никуда не годится, значит, выходит, что я тряпка и у меня никакой воли нет.

Но и часы бегут, как минуты. Не успеешь поглядеть: час, еще час, еще один.

Закусили мы перед уходом, как я уже говорил, довольно плотно, а все-таки уж опять и есть начинает хотеться. А еще больше – курить хочется. Я по себе чувствую, а особенно мне Алиханова жалко. Погляжу на его толстый армянский нос, как он уныло повис, и прямо, вы не поверите, плакать хочется. «Эх, – думаю, – братец ты мой Алиханов, затянуться бы тебе сейчас один хороший разок

„Беломорчиком“, небось моментально бы твой нос прежний боевой вид принял». А он как будто, вы знаете, мысли мои услышал. Вдруг вижу, зашевелился и рукой мне какие-то знаки делает.

– Что?

Вижу – сует палец в рот. Потом руку к сердцу приложил, глаза, как сумасшедший, выкатил и головой мотает. Дескать, умираю, терпенья нет, до чего курить охота.

А я что ж? Говорю: нет! Головой качаю. Нельзя, дескать.

А сам думаю: а что, в самом деле?.. Разве, и правда, выкурить одну штучку на двоих? Никакой ведь опасности в этом нет. Окна ставнями закрыты, не видно... А то этак и в самом деле можно с ума сойти. Без курева у курящего человека и голова плохо работает.

Одним словом, стал себя всячески убеждать, что покурить необходимо, что вреда от этого нет, что запрещение курить на посту – одна проформа. Это, дескать, на воле, в лесу или на открытой местности, – там, действительно, недопустимо, а здесь...

И все-таки я довольно долго боролся с этим дьявольским искушением. Я терпел сам и Алиханова заставлял терпеть. Но тут произошло одно маленькое происшествие, одна сущая мелочь, которая, собственно, нас и погубила.

\* \* \*

Короче говоря, перед иконой погасла лампадка. Она уже давно не горела, а так, как говорится, на ладан дышала. Масло в ней выгорело, и вот наступила минута, когда она замигала, замигала, вспыхнула напоследок ярким светом, и сразу же в комнате наступила полная тьма. Только сквозь ставни в комнату пробивались жиденькие лучики. Но и они с каждым часом становились все бледнее и бледнее: на улице темнело, шел дождь.

Теперь уж я не мог и во времени ориентироваться. Сначала еще кое-как разбирался, пока не так темно было. А потом и часы мои оказались бесполезными.

В темноте, как вы знаете, еще труднее сидеть в засаде. Только очутившись в полном непроницаемом мраке, ты начинаешь понимать, как, собственно, много у тебя было развлечений, пока не померк свет,

пока хотя бы мигала и освещала избу вот такая убогая лампадка. Можно было смотреть на Алиханова. Можно было следить за тараканом, который безуспешно пытался форсировать какую-то щель в обоях на стене. Можно было, наконец, рассматривать вещи и думать о каждой из них: как она сюда попала, кто ее мастерил, и так далее.

А от этого, оттого, что нет никаких развлечений, время идет в темноте еще медленнее. И голова как-то тяжелеет. И курить еще больше хочется.

Было уже совсем темно, когда я решил посмотреть на часы.

Нужно было зажечь спичку. Конечно, я сделал это с предосторожностями. Мало того, что я находился за пологом, я залез еще под кровать. И там в самом укромном уголке, закрываясь руками и лапами шинели, я зажег спичку. Посмотрел на часы. И вы знаете, даже испугался: было уже восемь часов вечера. Следовательно, выходило, что мы просидели с Алихановым в засаде уже семнадцать с половиной часов!

Спичка моя погасла, и я хотел уже выбираться из-под кровати – вдруг слышу в темноте этакий робкий, жалобный и необыкновенно хриплый от долгого бездействия голос Алиханова:

– Товарищ лейтенант... Оставьте!

Я не сразу сообразил, что это он меня покурить просит оставить. Значит, он все-таки заметил огонек, видел, как я зажигаю спичку, и решил, что я закуриваю.

Может быть, вы мне не поверите, скажете, что я лицемерю и себя оправдываю, но вот честное слово, мне до смерти Алиханова жалко стало. Я думаю: человек ждет, надеется, уж у него все жилки от нетерпения трясутся, а я ему что – фигу покажу? Нет, думаю, это не по-товарищески, не по-солдатски... Э, думаю, в конце концов – чепуха, одну штучку можно...

Вынул «Беломор», зажег с теми же предосторожностями еще одну спичку и – закурил.

Покурил, накачался дымом и стучу Алиханову – на условном языке, каким мы в засадах между собой переговариваемся: дескать, иди ко мне!.. Он ждать себя не заставил, без труда меня разыскал, заполз под кровать и докурил мою папиросу.

Никогда не забуду, с каким наслаждением он крякал и покашливал... Эх, Алиханов, Алиханов... Не думал я тогда, что эта



папироса – последняя в его жизни!

Полковник тяжело вздохнул, подумал немного и покачал головой.

– Н-да... Алиханов, я говорю, покурил, затоптал как следует свой окурочок, ни слова не сказал, только вздохнул с облегчением и вернулся к себе, за свой шкафчик.

И вот опять потекли бесконечные и томительные часы и минуты.

Прошло, вероятно, еще пять или шесть часов. Уж не буду рассказывать, какие меня за это время мысли одолевали.

Одним словом, дело дошло до того, что я решил плюнуть и уходить из засады. Конечно, обидно было, а что же поделаешь? Бывают и не такие неудачи в жизни.

Я дал себе срок: сосчитаю до пяти тысяч и, если ничего не случится, уйду.

Стал я потихоньку считать: раз, два, три... пять... десять... пятнадцать... двадцать...

И вот, представьте, не успел и до одной тысячи сосчитать – слышу во дворе: хлоп! Калитка стукнула.

Я сразу и со счета сбился. И спать мне моментально расхотелось. И голова сразу ясная, как стеклышко, стала.

Слышу, мой Алиханов затвор у своей винтовки легонько потянул, – значит, и он тоже услышал.

Сидим и уж на этот раз и в самом деле дышать боимся. Одними ушами работаем. Слышим, идет кто-то. Остановился. На крыльцо поднимается. Распахнул дверь, вошел, одну только секунду у порога постоял, и вдруг в темноте: бах! бах!.. Пять винтовочных выстрелов. Я как раз в этот момент голову нагнул, к прыжку приготовился, меня по щеке полоснуло... И я даже выстрелить не успел – слышу, дверь уж опять хлопнула.

Все-таки я успел выбежать за ворота и выпустил наугад в темноту несколько пуль. Но это уж так, для очистки совести. Никакого смысла в этом уже не было: Филонова и след простыл.

Ловили его всю ночь. Весь лес прочесали. Все закоулки обыскали. И не нашли. Как говорится, в воду, подлец, канул.

– А что Алиханов? – перебил полковника мальчик.

– Алиханов был убит наповал, – ответил полковник. И не только я, но и остальные заметили, как дрогнул его голос. – Когда мы вернулись на хутор, он уже не дышал. Как видно, этот смелый парень

после первого выстрела Филонова еще успел выскочить из своего укрытия, потому что тело его нашли не за шкафом, а посередине избы. Он и мертвый крепко держал свою винтовку, и палец его лежал на спусковом крючке – по-видимому, он приготовился стрелять в тот момент, когда его настигла шальная филоновская пуля.



– Послушайте, товарищ полковник, так в чем же дело? Чем же вы себя демаскировали? Почему Филонов так уверенно стрелял? Что он – шум или шорох какой-нибудь услышал?

– Какой шум? Я же вам говорю, что мы сидели, как мертвые. И никаких шорохов, кроме тараканьих шагов, он услышать не мог. А в чем было дело – это уж после, месяца через полтора, выяснилось.

Филонов, как и следовало ожидать, в конце концов засыпался. Где-то в глубоком тылу он был арестован и на допросе дал показания, в том числе и по данному случаю.

Я тогда только что из госпиталя вышел. Меня вызвали в город, к начальству, и там я имел не очень большое удовольствие познакомиться с этими филоновскими показаниями. В этих показаниях все выглядело очень просто, даже, я вам скажу, до обидного просто. Оказалось, что нас погубило не что иное, как табачное зелье. Филонов по происхождению был тоже из староверов. Он и сам не курил, и нюх у него на этот счет был очень острый. Когда он вошел со двора в избу, стоило ему только повести ноздрями, и он сразу же понял, что дело неладно. Сразу же, как говорится, оценил обстановку и сделал выводы. Вот и все.

Конечно, за эту историю я получил от начальства очень строгий выговор. Да только – что ж выговор? Я и сам себя распекал не жалеючи. Я был сердит на себя, как никогда в жизни. Ведь мало того, что я Филонова из рук выпустил, – я своего человека погубил. Ведь Алиханов-то мертвый, и его не вернешь!

Подумайте только – дикость какая! Из-за какого-то зелья, из-за какой-то дурацкой сушеной травки погиб человек.

Я шел тогда из штаба отряда на станцию, чтобы ехать обратно на заставу. Переходил через какой-то мост. И тут на мосту я и пришел к этому решению. Я вынул из кармана папиросы и бросил их в воду. И с тех пор, как говорится, – ша! Восемь лет уж прошло, и за эти восемь лет я ни одной штучки не выкурил.

– И не хочется? – с интересом спросил мальчик.

– Ну, братец ты мой, – усмехнулся Мережанов, – хочется или не хочется – это военная тайна. Ничего не скажу, первое время трудно было. Особенно если принять во внимание, что я в таких расстроенных чувствах находился. Но зато я считаю, что это был мой первый и по-настоящему серьезный подвиг.

Полковник улыбнулся и положил руку мальчику на плечо.

– Вот, милый друг Ваня, – сказал он. – Если уж тебе действительно так хочется совершить подвиг – пожалуйста. Бери с меня пример: бросай курить. Для начала будет неплохо.

– Д-да, конечно, – сказал мальчик, и я заметил, как он смущенно спрятал за спину папиросный окуроч, который за минуту до этого

прикуривал у лейтенанта Брема. Внезапно он насторожился и наострил уши.

– Машина идет! – объявил он.

На этот раз это была наша машина: маленький, тесный, как колыбель, «виллис» с открытым верхом.

Мы с трудом разместили наши пожитки в этом игрушечном автомобильчике, попрощались с Мережановым и с мальчиком, сели и поехали.

У поворота я опянулся.

Мережанов, высокий и широкоплечий, стоял, опираясь на суковатую палку. Немного поодаль стоял мальчик-пастух. Я видел, как он за спиной Мережанова затянулся, пустил дым, потом посмотрел на окурочок, поплевал на него и бросил.

Мережанов что-то крикнул нам раскатистым басом и помахал рукой.

Потом машина свернула направо, и оба они скрылись из наших глаз.

Я долго думал о Мережанове, обо всем, что он нам рассказал сегодня, и об этом мальчике тоже.

Я не знаю, навсегда ли он бросил курить или только окурочок бросил. Но если он действительно бросил эту дурную привычку, он сделал очень большое дело. Мережанов, конечно, правду сказал: не в легких и не в печенке дело. А дело в том, что если мальчик сегодня сумел побороть в себе эту маленькую страстишку, – кто знает, какие подвиги, громкие и высокие, он совершит впереди. Он и на полюсе, если нужно, побывает, и на бочке Днепр переплывет, и на горячем коне поскачет впереди полков и дивизий, и – мало ли других славных дел на пути у каждого мальчика!..

Я думал о нем, и мне казалось, что я уже вижу на его груди Золотую Звезду Героя.

А маленькая наша машина, подпрыгивая, катилась по шоссе. И навстречу нам уже тянуло прохладой от большой и широкой реки, по которой нам предстояло плыть.

## Приказ по дивизии\*

– Нет, – говорил генерал, показывая спутнику своему тонкий орлиный профиль, – невоенный человек даже и понять не может, что значит настоящая воинская дисциплина. Вот – и вам небось приходилось слышать, – часто говорят, что дисциплина должна быть сознательная. А вы знаете, почему-то не люблю я этого слова. Что значит – сознательная дисциплина? Сознательным должен быть боец. А дисциплина – всегда одна... Дисциплина, если хотите, это что-то вроде шестого чувства, которое, вместе со вкусом, слухом и зрением, присуще каждому настоящему солдату. И уж как ты ее там ни называй – сознательная или бессознательная, – а если ты ее нарушил, дисциплину, – я тебя в полном сознании и без зазрения совести под арест закатаю, а еще нарушил – так и голову сниму, не пожалею...

«Эге-ге, – подумал собеседник генерала. – Да ты, я вижу, дядя сердитый. Попадись такому в недобрый час – ведь он, пожалуй, и в самом деле без головы оставит».

Генерал инспектировал войска, которыми он командовал. Три дня провел он в частях, на передовых линиях, и все эти три дня ни на шаг не отставал от него молодой, но уже известный писатель, приехавший из Москвы с поручением от большой столичной газеты. Теперь, темным и непогожим осенним вечером, они возвращались в штаб дивизии. Новенький трофейный «оппель», похожий на короткую сигару, а еще больше – на вытянутое гусиное яйцо, на самой бешеной скорости и все-таки почти бесшумно мчался по гудронированному прифронтовому шоссе. Писатель, который с непривычки страшно устал, промерз и проголодался, сидел в углу, откинувшись и прижимаясь затылком к мягкой, приятно-пружинистой обивке кабины. Слушая генерала внимательно и даже почтительно, он все-таки то и дело стискивал зубы, чтобы не зевнуть, и с надеждой поглядывал через голову шофера на дорогу – не мелькнет ли там, наконец, хоть какой-нибудь огонек, не запахнет ли дымом и не покажется ли что-нибудь похожее на человеческое жилье. Но впереди, на дороге, не было ничего, кроме дождя, мрака, блестящих дождевых луж и угольно-черного, мрачно сверкающего под приглушенным и

укороченным лучом автомобильного прожектора сырого гудрона. Изредка выскакивала откуда-то свесившаяся над дорогой облетелая ветка с одиноким кленовым или буковым листом, мелькал на секунду полосатый километровый столб или придорожный каменный крест, – и опять ничего, кроме тьмы, дождя и беспрерывно бегущего впереди, колыхающегося и дрожащего пятна света. Но вот в этом светлом пятне мелькнули какие-то человеческие фигурки. Писателю показалось, что он разглядел даже ружья у них в руках. И почти тотчас же резкая пронзительная трель свистка заставила его пригнуться и зажмурить глаза.

– Стой! – услышал он голос генерала.

Но шофер или не расслышал приказания или просто не мог остановить разбежавшуюся машину, – «оппель» продолжал лететь на прежней скорости.

Над головой писателя что-то звякнуло, треснуло и рассыпалось. В то же мгновение он почувствовал, как чья-то цепкая рука схватила его за шиворот и с силой бросила на пол. Он не сразу сообразил, что сделал это генерал. Над головой опять щелкнуло. Потом он почувствовал сильный толчок. Ему показалось, что машина взлетела в воздух. Она и в самом деле проделала невероятный курбет: резко затормозив, шофер повернул ее на 180 градусов. Поднявшись на дыбы, «оппель» описал в воздухе дугу и грузно шлепнулся передними колесами в дождевую лужу.

Генерал, а за ним и писатель выскочили из машины. Громко стуча каблуками по гудрону, кто-то уже бежал им навстречу. Через минуту из темноты выступили две серых шинели. Два красноармейца с автоматами наперевес, один впереди, а другой несколько отставая, приближались к машине.

Генерал нетерпеливо шагнул им навстречу.

– Кто такие? – рявкнул он таким угрожающим басом, что писатель, который и без того успел натерпеться страху, вздрогнул и отшатнулся.

Бойцы со всего разбега остановились, подровнялись и вытянулись перед генералом во фронт.

– Так что, товарищ генерал-майор, – высоким срывающимся голосом начал один из них, молодой, щеголеватый, с сержантскими

полосками на погонах, – бойцы сторожевого охранения четвертого батальона сто двадцать седьмого...

– Это кто стрелял? – перебил его генерал.

– Это я стрелял, товарищ генерал-майор, – негромко ответил, выступая вперед, второй боец, немолодой, худенький, некрасивый, с заляпанным грязью бледным небритым лицом. Он тяжело дышал, и, когда говорил, губы у него вздрагивали.

– Вы что ж это, черт вас возьми, вздумали тут ночью пальбу открывать?!

– Согласно приказа, товарищ генерал-майор, – еще тише ответил солдат, и губы у него опять задрожали.

– Согласно приказа вы мне все стекла в машине вышибли?

– Я свистел, товарищ генерал-майор, – машина не остановилась. Дал предупреждающий – тоже...

– Вы видели, что это моя машина?

Солдат на секунду запнулся и ответил:

– Так точно. Видел, товарищ генерал-майор. Я вашу машину хорошо знаю.

– И все-таки стреляли мне в спину?

– И все-таки... да, стрелял, товарищ генерал-майор. Согласно приказа.

– А вы знаете, что вы, между прочим, чуть писателя не убили? Вы читали такого-то?

– Никак нет. Не читал, – ответил боец, переступив с ноги на ногу и покосившись в сторону писателя.

– Ваша фамилия? – сказал генерал.

– Первого взвода четвертой роты четвертого батальона сто двадцать седьмого гвардейского Краснознаменного Ворошиловградского стрелкового полка ефрейтор Метёлкин.

– Можете быть свободны, – сказал генерал и, отворив дверцу кабины, пригласил писателя садиться.

– Ведь вот метелка такая, – проворчал он, когда машина, сделав разворот, снова помчалась по шоссе. – Ведь вы посмотрите, – он же мне фуражку насквозь продырил.

И генерал протянул писателю фуражку, чтобы тот пощупал. Писатель нащупал дырку, поежился, глухо кашлянул и сказал, что в конце концов фуражку можно и купить и починить, а вот с головой

это сделать было бы, пожалуй, несколько труднее. Генерал ничего не ответил, надел фуражку и всю остальную дорогу молчал.

Когда они добрались, наконец, до штаба, он, не задерживаясь, поднялся во второй этаж и приказал адъютанту разбудить дежурного писаря. Через минуту явилась заспанная рыженькая девушка в светлой застиранной гимнастерке.

– Будьте любезны отпечатать приказ, – сказал ей генерал.

Девушка села за пишущую машинку, подышала на руки и приготовилась печатать.

– Приказ по дивизии.

Пальцы девушки забегали по клавишам.

– Ефрейтору сто двадцать седьмого гвардейского Краснознаменного Ворошиловградского стрелкового полка Метелкину... оставьте место для имени-отчества... объявляю благодарность за добрую службу и верное понятие о воинском долге. Двадцать девятого сентября сего года, находясь в сторожевом охранении своей части, ефрейтор Метёлкин... имя-отчество...

Машинка неторопливо стрекотала. Генерал ходил по комнате, поглаживая свою седеющую голову, и продолжал не спеша диктовать слова приказа. А московский писатель, стоя в углу, раскуривал трубку и с удивлением поглядывал то на генерала, то на его фуражку, брошенную на подоконник.

«Ну, нет, – думал он, – где уж тут, в самом деле, невоенному человеку понять, что значит настоящая воинская дисциплина!»



## Гвардии рядовой\*

Каждый вечер, когда часы на Кремлевской башне вызванивают первую четверть десятого часа, когда на всех других часах – маленьких и больших, ручных и карманных, домашних, уличных и железнодорожных – черная стрелка показывает 21 час 15 минут, по всей нашей армии, во всех ее частях и подразделениях подается команда:

– Выходи строиться на вечернюю поверку!

Если на дворе лето, в Москве уже темно в этот час, на севере – белая ночь, на юге – ночь черная и небо от края до края усыпано яркими звездами. Но и под светлым и под темным небом, и на севере и на юге, на западе и на востоке одинаково звонко, четко и торжественно звучат слова старинного воинского церемониала. И где бы ни застала бойца эта вечерняя команда – в казарме ли, на привале в лесу или в лагере на учебном сборе, через минуту он уже стоит в строю, подтянутый, подобранный, на своем обычном месте: тот, что повыше, – на правом фланге, тот, что пониже, – на левом. Появляются офицеры, старшина подает команду «смирно», и строй застывает, вытянутый в линейку. «Приступите к поверке», – негромко говорит старший офицер; и, ответив: «Есть приступить к поверке», старшина роты делает шаг вперед, раскрывает ротную послужную книгу и начинает переключку:

– Абдулаев!

– Я-а-а!

– Аверин!

– Я!

– Василевский!

– Я-а-а!

Множество голосов – громких и приглушенных, грубых и нежных, мужественных и по-мальчишески звонких – откликаются в эту минуту по всей нашей огромной стране, от Кавказских гор до Баренцева моря: на исходе дня русская армия подсчитывает и пересчитывает грозные свои ряды.

...Вот и в той роте, где служил Саша Матросов, тоже происходит эта вечерняя поверка.

Оправляя на ходу выцветшую полевую гимнастерку, вышел из палатки командир роты старший лейтенант Хрусталеv. Рота уже построена. Две шеренги ровной покатоv лесенкой вытянулись на опушке леса.

– Смир-рно! – командует старшина, хотя люди и без того стоят не шелохнувшись.

В руках у старшины толстая прошнурованная книга.

– Приступите к поверке, – говорит офицер.

– Есть приступить к поверке.

Старшина раскрывает книгу. Раскрывает медленно и торжественно. И так же торжественно и неторопливо выкликает первую по списку фамилию:

– Герой Советского Союза гвардии красноармеец Матросов!

Но где же Матросов? Нет его ни на правом, ни на левом фланге. Все знают, что его нет, никто не думает, что он откликнется, отзовется, и все-таки старшина вызывает его и ждет ответа.

– Герой Советского Союза гвардии красноармеец Матросов Александр Матвеевич погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками, – отвечает правофланговый Бардабаев.

Изо дня в день, из вечера в вечер откликается он за Матросова, и все-таки каждый раз не может этот высокий, статный и широкоплечий парень превозмочь волнение в голосе своем.

Тишина. Люди молчат. Губы у всех плотно сжаты. И не только у Бардабаева, у многих других влажно поблескивают глаза под сурово насупленными бровями.

Старшина перевернул страницу.

– Андронников!

– Я-а!

– Глузик!

– Я!..

– Демешко!..

– Я!

– Иллиевский!..

– Я!

– Копылов!

– Я!

– Князев!..

Переключка окончена. Старшина закрыл книгу, одернул привычным движением гимнастерку, повернулся на каблуке – и четким, печатающим строевым шагом почти подбегает к командиру роты.

– Товарищ гвардии старший лейтенант! – говорит он, прикладывая руку к пилотке и тотчас опуская ее. – Во вверенной вам роте вечерняя поверка произведена. По списку числится в роте сто два человека. Шесть человек в санчасти, восемь в нарядах, незаконно отсутствующих нет, в строю восемьдесят семь человек. Герой Советского Союза гвардии красноармеец Матросов погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими оккупантами.

И опять тишина. Слышно, как пролетает птица. Или как дождь барабанит по оконному карнизу. Или – зимний ветер шумит в вершинах деревьев.

Офицер подносит руку к козырьку фуражки.

– Вольно! Распустить роту, – говорит он.

Старшина делает шаг назад, поворачивается лицом к строю и звонко повторяет команду:

– Вольно! Разойдись!

Люди расходятся. У каждого свое дело, свои заботы в этот поздний, послеповерочный час. Нужно успеть перед сном почистить винтовку или автомат, написать письмо, пришить пуговицу к шинели, покурить...

Но, занимаясь каждый своим делом, люди думают о Матросове. Его нет, и все-таки он с ними; он мертв, и трава на его могиле успела не один раз вырасти и завянуть, а думают и говорят о нем, как о живом.

Имя Матросова навеки записано в послужной книге гвардейской роты. Это значит, что дух героя и в самом деле бессмертен.

Но какой же подвиг совершил Александр Матросов? За что такая честь имени его и памяти?

Послушайте краткую повесть о доблести молодого русского солдата.

## I

В густом сосновом лесу, который на картах и на планах именуется Большим Ломоватым бором, перед самым рассветом батальон получил приказ стать на привал.

Это был очень удачный и своевременный приказ. Люди не спали два дня. Два дня шли они через этот Ломоватый бор, в обход неприятельских позиций, проваливаясь по колено в снег, шли ночью и днем, с такими коротенькими передышками, что не только поспать, а, случалось, и папироску докурить некогда было.

И вот, наконец, привал.

Никто не подумал о том, чтобы поесть или выпить чаю, многие даже курить не стали: кто где был, тот там и повалился в снег и заснул-захрапел богатырским фронтовым сном.

И Саша Матросов тоже собирался поспать. Этой минуты он просто дожидаться не мог – до того его шатало и клонило ко сну.

Он вытоптал себе под деревом небольшую ямку, положил в изголовье ранец и уже лег, уже пристроился поудобнее, уже втянул руки поглубже в рукава шинели, и уже веки его сладко смыкались, когда он услышал над головой знакомый, слегка приглушенный голос:

– Комсомольцы!..

«Зовут комсомольцев», – сквозь полудрему подумал Саша. И на одно мгновение он крепко, по-настоящему заснул. Но что-то как будто толкнуло его – он тут же проснулся и открыл глаза: «Фу, черт! Ведь это же меня зовут!»

Три месяца на войне – очень много. За это время Саша из мальчика превратился в мужчину: он научился бриться, успел побывать в пехотном училище, стал отличным стрелком-автоматчиком, прошел со своим подразделением десятки и сотни километров, участвовал в нескольких боях и сражениях, потерял немало друзей и еще больше врагов уложил из своего ППП. Он много чего испытал и, казалось, ко всему привык. Но вот уже три месяца прошло с тех пор, как носит он на груди, в секретном карманчике

гимнастерки маленькую светло-серую книжечку с силуэтом Ленина на обложке, а все как-то не может привыкнуть к тому, что он уже не просто Саша, не просто курсант или боец гвардейского подразделения, а комсомолец Саша Матросов.

– Комсомольцы! Эй! – стараясь кричать не слишком громко, чтобы не разбудить спящих, повторил тот же голос.

– Ну что? – с трудом приподняв голову, ответил Саша. – Я – комсомолец.

Было еще очень рано, и в предрассветной полумгле он не сразу узнал ротного комсорга лейтенанта Брякина.

– Это ты, Матросов?

– Я!

– Давай, старик, поднимайся, буди ребят. Собрание созываем.

– Есть, товарищ лейтенант, – пробормотал Саша и, сделав усилие, оторвал голову от ранца и сел. Голова у него кружилась.

– Давай живенько, – повторил лейтенант. – Через три минуты чтобы все были у штаба.

– Есть, – повторил Саша, сделал еще усилие, вскочил и почувствовал, как все у него внутри заныло и захрустело.

Лейтенант скрылся за деревьями. Саша потянулся и громко, на весь лес, зевнул.

– А, черт! – сказал он.

Ему не понравилось, что его разбудили. А кроме того, он не очень-то любил всякие собрания и заседания. Может быть, потому, что он не умел говорить, не умел выступать. Сказать речь – ничего страшнее не было для него на свете. А собрания для того и созывались, чтобы на них говорили. И он, который никогда ни в чем ни от кого не отставал, чувствовал себя на собраниях, как рыба на песке, потому что не мог как следует, как нужно было и как хотелось высказать все, что было у него на душе и на языке. Он всегда со стыдом и с обидой вспоминал о том, как на комсомольском собрании, перед тем как ему выдали светло-серую книжечку, он рассказывал товарищам свою биографию. Собственно, сказал он то, что и нужно было сказать: что он сирота, бывший беспризорный, что воспитывался он в детских домах и в уфимской трудовой колонии, что лет ему восемнадцать, что учился он там-то и там-то... И хотя никто над ним не смеялся и приняли его единогласно, без единого возражения, он

чувствовал, что сказал совсем не то, что он какую-то ерунду рассказал, потому что главное вовсе не в том, что он где-то работал и где-то учился... А в чем это главное, об этом он, пожалуй, даже и близкому другу не мог бы рассказать.

Разбудить ребят было не так-то просто. Однако через две минуты человек тридцать комсомольцев, поеживаясь и поскрипывая подмерзшими валенками, уже подходили к расположению штаба.

## 2

На небольшой прогалинке у наспех раскинутой палатки бледно мигал на голубом утреннем снегу фонарь «летучая мышь». У фонаря сидел на корточках Брякин и, положив на колено полевую сумку, торопливо писал в блокноте огрызком карандаша, который с трудом удерживала его рука в серой грубошерстной перчатке.

Комсомольцы откозыряли.

– Здравствуйте, товарищи, – сказал Брякин; придерживая сумку, он привстал, ответил на приветствие и снова присел на корточки. – Присаживайтесь. Сейчас старший лейтенант выйдет – откроем.

– А в чем дело, товарищ лейтенант?

– По какому такому поводу собрание ни свет ни заря?

Лейтенант не ответил, продолжая писать.

– Мать честная! – хлопнул себя по лбу Миша Бардабаев, Сашин дружок. – Ведь мы же, ребята, сегодня именинники! Я спросонок и забыл совсем... Сегодня же двадцать третье февраля – день Красной Армии!

– Точно, – сказал лейтенант.

Он кончил писать, спрятал карандашный огрызок в сумку, застегнул ее и поднялся.

– Да, дорогие товарищи, – сказал он, – Бардабаев хоть и спросонок, а не ошибся: сегодня действительно день рождения нашей матери – Красной Армии! И по этому случаю нам с вами предстоит, между прочим, сделать ей нынче хороший подарочек.

Из палатки вышел командир роты Артюхов и с ним несколько молодых офицеров. Артюхов курил и держал в руке какую-то бумагу.

– Сидите, сидите, товарищи! – обратился он к тем комсомольцам, которые уже успели присесть.

Брякин подошел к нему и что-то сказал. Артюхов кивнул, несколько раз глубоко затянулся, бросил окурок и мельком взглянул на часы.

– Так вот, товарищи комсомольцы, – сказал он, как будто продолжая прерванный разговор. – Получен боевой приказ: через двадцать минут рота выступает для выполнения важной оперативной задачи...

Он еще раз посмотрел на часы. Комсомольцы молчали. Саша Матросов нагнулся и щепкой счищал с валенка снег. Лейтенант Брякин, широко расставив ноги, стоял за спиной командира, поглядывал на ребят и медленно закручивал в трубочку свой блокнот.

– Предстоит горячее дело, – продолжал Артюхов. – И вот, как всегда, прежде чем дать приказ к выступлению, мы собрали вас, передовых людей роты, чтобы познакомить с характером предстоящей операции.

Артюхов предложил бойцам и офицерам подойти ближе, расстегнул сумку, вытащил оттуда карту и объяснил, в чем состоит боевая задача, поставленная перед ротой. Предстоит пройти Ломоватый бор, выйти на открытую местность и с боем занять деревню Чернушку. Вот она! Вот Ломоватый бор, вот здесь его западная граница, здесь небольшая гривка, за ней овраг, за оврагом деревня. Деревня эта на данном участке является опорным пунктом немецкой обороны. По донесениям разведки, в Чернушке не очень большой гарнизон. Если действовать быстро и решительно, можно обеспечить успех с малым количеством жертв. Все дело в быстроте, в молниеносном развитии боевых действий. Это основное условие задачи и нужно довести до каждого бойца.

– Дело за вами, товарищи комсомольцы! – Артюхов отошел в сторону, присел на пенек и полез в карман за папиросами.

– Разрешите, товарищ старший лейтенант? – обратился к нему Брякин.

Артюхов кивнул.

– Товарищи, – сказал Брякин, немного волнуясь и продолжая крутить свой блокнот, – не в первый раз мы собираемся с вами вот так, как собрались сейчас вокруг нашего командира, чтобы выслушать

его приказ, который по существу является приказом нашей Родины. Нужно ли нам с вами напоминать, что мы, комсомольцы, вместе с нашими старшими братьями коммунистами являемся передовой частью, авангардом нашей армии и что для нас приказ Родины – это священный приказ. Э, да, впрочем, что говорить...

Брякин улыбнулся и сунул свой блокнот за пазуху полушубка.

– Товарищи, времени мало, уже занимается заря. Скоро в бой. Разговаривать долго некогда. Задачу нам товарищ старший лейтенант объяснил: через час, самое большее через полтора мы должны будем овладеть опорным пунктом противника, деревней Чернушка. Что мы овладеем ею, никто из нас не сомневается. Эта маленькая деревня с таким безобидным и даже смешным названием – русская деревня, и в этом все дело. Как бы она ни была мала и ничтожна, она стоит на русской земле, и немцам на этой земле делать нечего. Им здесь нет места! Это наша земля. Была, есть и будет. И через час мы это докажем им. Не правда ли, орлы?

Брякин еще раз широко улыбнулся.

– Правильно! Правда! Докажем по всем правилам! – ответили ему из темноты взволнованные голоса. Кое-кто, по старой гражданской привычке, захлопал в ладоши.

Командир роты поднялся со своего пенька, подождал минуту и спросил:

– Ну, кто еще хочет сказать?

– Матросов! – крикнул кто-то.

Саша сердито опянулся. Ну да, конечно! Матросов! Всегда Матросов. Как будто у него другого дела нет, как выступать на собраниях.

Артюхов поискал глазами Матросова и приветливо кивнул ему:

– А ну, Сашук, давай скажи нам, что ты думаешь.

Что он думает? Как будто это так просто и легко рассказать, о чем он сейчас думает!

Он думает сейчас... Но нет, он даже не думает, потому что думают словами, а у него и слов под рукой подходящих нет.

Он чувствует всем сердцем и всем существом своим, что больше всего на свете, больше собственной жизни он любит свою советскую землю, свою страну, свою Родину.



Всякий раз, когда упоминают при нем название этой деревни – Чернушки, он испытывает нежность, какую испытывал только в детстве, когда засыпал на руках у матери, положив ей голову на плечо. С нежностью думает он об этих людях, о своих братьях по крови, которые томятся там, за густыми зарослями Ломоватого бора, за безыменным оврагом, в маленькой русской деревушке, захваченной и терзаемой уже полтора года фашистским зверьем.

Но разве об этом скажешь? Разве повернется язык сказать все это вслух?

А ребята подталкивают его. Со всех сторон кричат:

– Матросов! Давай, давай! Не стесняйся!..

Саша вздыхает и яростно чешет затылок.

– Есть, – говорит он и делает решительный шаг вперед.

– Гвардии красноармеец Матросов... – обращается он, как положено по уставу, к старшему офицеру. Потом опять вздыхает, и рука его опять сама собой тянется к затылку. – Гм... Товарищи комсомольцы и вообще присутствующие... Заверяю вас... что я... в общем, буду бить немцев, как полагается, пока рука автомат держит. Ну, в общем... понятно, одним словом.

– Понятно! – отвечают товарищи.

Ему кажется, что ребята смеются над ним, хлопая в ладоши. Чтобы не покраснеть и не показать смущения, он усмехается и, ни на кого не глядя, отходит в сторону.

Выступали после него другие комсомольцы, и многие говорили то же самое и тоже не очень складно и не очень красиво, но почему-то никто не краснел и не смущался. А Саша стоял, прислонившись к дереву, смотрел себе под ноги, напряженно думал, шевелил бровями и не замечал, с какой нежностью, с какой отцовской гордостью и любовью поглядывает на него, восседая на своем пеньке, командир роты.

А старшина уже складывал командирскую палатку. Уже слышалась во взводах команда: «Подъем!» В морозных потемках глухо звучали голоса, мелькали огоньки...

Комсомольцы разошлись по взводам. Через несколько минут рота построилась, и усталые, невыспавшиеся люди снова зашагали в ту сторону, куда вели их карта, компас и боевой приказ.

Дороги не было – шли разомкнутым строем. До рассвета оставалось немного, нужно было спешить, и люди, преодолевая усталость, нажимали, ускоряли шаг; отстающие, спотыкаясь и падая, проваливаясь в снег, бегом догоняли колонну.

Матросов и Бардабаев шли в голове колонны, и доставалось им поэтому больше, чем другим: все-таки сзади идут уже по проторенной дорожке, а перед ними нетронутая целина, густой снег, сугробы в человеческий рост. Бардабаев – тот парень высокий, он вообще правофланговый, ему на роду написано ходить впереди строя. А как попал сюда Саша, человек небольшой, среднего роста? Но так уж всегда бывает: как-то само собой выносит его всегда вперед, особенно перед боем.

А в лесу хорошо. Еще зима, еще покусывает носы и щеки ядерный морозец, еще по-зимнему хрустит снег под ногами, но что-то неуловимое уже говорит о приближении весны. Легкий смолистый запах действует опьяняюще. Жалко, что нельзя петь: с песней идти легче.

Как всегда перед боем, говорят о пустяках.

– Валенок, черт полосатый! – говорит Бардабаев.

– Что?

– Прорыв на всем фронте... Обсоюзка сопрела. Снегу, я думаю, килограммов десять набилось!

– Ничего, – говорит Саша, – вот погоди, Чернушку возьмем – пакли достанешь, заткнешь. Это самое верное дело – пакля.

– «Верное дело!» – ворчит Бардабаев. – Еще раньше эту Чернушку надо взять.

Саша молчит. Молчит и Бардабаев. Оба думают об одном и том же.

– Возьмем? – говорит наконец Бардабаев.

– Возьмем, – отвечает Саша.

– А если опоздаем? Если, скажем, ихние танки подойдут?

– А зачем нам опаздывать? – говорит Саша. – Опаздывать – к черту. А если уж опоздаем, если действительно танки подойдут – ну что ж...



Он перебрасывает на ремне автомат и, искоса посмотрев на товарища, негромко творит:

– За себя, Мишка, я отвечаю. С гранатой под танк брошусь, а врага не пропущу.

– Гм... – качает головой Бардабаев. – Это легко сказать – под танк!

– Да нет, – улыбается Саша, – ты знаешь, и сказать тоже не легко.

– Все-таки легче.

– Кому как...

– Э, смотри, какой белячок проскочил!

– Заяц? Где?

– Вон – за елочкой. Нет, уж теперь не видно... Н-да, легко сказать. А ты знаешь, ты сегодня хорошо на собрании выступал.

– Иди ты к черту! – говорит Саша.

– Нет, правда. Может, какой знаменитый оратор и более интересно выступает, а все-таки...

Саша хотел выругаться покрепче, но тут его окликнули из задних рядов:

– Матросов! К старшему лейтенанту!

Артюхов шагал на левом фланге второго взвода, Саша подождал, пока он приблизится, сделал шаг вперед и приложил руку к козырьку ушанки.

– Ну как, Саша? – улыбнулся Артюхов.

– А что? – сказал Саша, тоже улыбаясь. – Хорошо, товарищ старший лейтенант!

Не останавливаясь, командир взял его за локоть. Они пошли рядом.

– Н-да, – сказал Артюхов. – А у меня к вам, товарищ гвардии красноармеец Матросов, между прочим, предложение есть.

Саша насторожился и искоса посмотрел на командира.

– В ординарцы ко мне пойдете?

Саша вспыхнул и сам почувствовал, как загорелись у него уши и щеки.

– Хочешь?

– Точно, товарищ старший лейтенант. Хочу.

– Ну, будешь ординарцем. Не отставай теперь от меня. Настроение, значит, хорошее?

– Очень даже хорошее.

– А ребята как?

– Ребята – орлы!

– Жить будем?

– Будем.

– Курить желаешь?

– От «Казбека» не откажусь.

От хорошей, крепкой папиросы у Матросова закружилась голова. Опять ему захотелось петь. Придерживая рукой автомат, он шел теперь легким широким шагом, стараясь идти так, чтобы и Артюхову оставалось место на тропинке.

– Товарищ старший лейтенант, – сказал он вдруг, не глядя на командира, – можно вам один вопрос задать?

– Давай.

– У вас кто-нибудь из родных есть?

– Ну как же... Слава богу, у меня семья, да и не маленькая.

– А у меня вот никого...

– Да, я знаю, – сказал Артюхов. – Это грустно, конечно.

– Нет, – сказал Саша.

– Нет?

Саша подумал и помотал головой.

– Раньше я, вы знаете, действительно грустил и скучал. И на фронт ехал – тоже паршиво было: никто не провожает, никто не жалеет. А теперь я как-то по-другому чувствую. Как будто я не сирота. Как будто, в общем, у меня семья... да еще побольше вашей.

«Опять я не то говорю», – подумал он с досадой.

– Непонятно небось? – сказал он усмехнувшись.

Неожиданно Артюхов взял его за руку и крепко сжал ее.

– Нет, Сашук, – сказал он. – Очень даже понятно. Только я думаю, что эта большая семья у тебя всегда была, только ты не замечал ее. Это называется – Родина.

– Да, – сказал Саша.

В лесу уже рассвело. Солнце еще не показалось, но уже поблескивал снег на верхушках деревьев, и уже нежно розовела тонкая кожица на молодых соснах. А снег под ногами из голубого превратился в белый, а потом стал розоветь – и чем дальше, тем гуще и нежнее становился этот трепетный розовый оттенок.

«Ах, как хорошо, – думал Саша, – какой славный день впереди! И как это вообще здорово и замечательно – жить на свете!»

Артюхов посмотрел на часы.

– Бросай курить, – сказал он и сам первый бросил и притушил валенком папиросу.

– Приехали? – сказал Саша.

– Да, кажется, приехали, – уже другим, серьезным и озабоченным тоном ответил Артюхов. – Рота, стой! – негромко скомандовал он.

– Стой! Стой! – понеслось по растянувшимся рядам колонны.

Нагнувшись и расстегивая на ходу кобуру, Артюхов побежал к голове колонны, и следом за ним, тоже пригнувшись и на ходу снимая

с плеча автомат, побежал Саша Матросов.

Артюхов стоял за деревом и проглядывал местность. За его плечом, с автоматом, взятым наизготовку, стоял Саша Матросов.

После двухдневных блужданий в тесных потемках леса картина, которая открылась теперь их взору, казалась ослепительно яркой и необъятной.

Золотисто поблескивая, лежала перед ними широкая снежная поляна. Нафталиновый февральский наст был гладко укатан – никаких следов на нем, только черные кустики боярышника и можжевельника выглядывали кое-где из-под снежного покрова. С запада поляну замыкал небольшой островок мелкорослого леса, как бы оторвавшийся от огромного материка Ломоватого бора. Эта зелено-синяя гривка скрывала за собой упомянутый в приказе и указанный на карте овраг. За кромкой леса сразу же открывался вид на западный скат лощины, по которой растрепанной ленточкой вилась зимняя дорога. В каком-то месте дорога пропадала, и там, где она пропадала, из-за снежной гряды выглядывали черные треугольники крыш и клубился легкий розовато-серый дымок. Это была Чернушка.

– Вот она – Чернушка, – показал рукой Саша. Глаза его не могли оторваться от этого уютного, домашнего дымка, который неторопливо плыл над кровлями маленькой русской деревушки.

Артюхов ничего не сказал, отметил что-то на карте и спрятал ее в планшет.

– Пошли, – сказал он.

Саша старался не отставать от Артюхова. Как всегда перед боем, лицо его пылало, на щеках выступил румянец. В голубых глазах играл задорный мальчишеский огонек. Он оглянулся, увидел Бардабаева, Воробьева, Копылова и других ребят. Великан Бардабаев, отдуваясь, тащил на плече тяжелую цинку с патронами.

– Что, Миша? – окликнул его Матросов. – Валенок не подведет?

Бардабаев хмыкнул, перекинул цинку и что-то пробормотал под нос.

– Пожалуй, и без валенок жарко будет, – усмехнулся Копылов.

– Ну что ж, – сказал Саша, – жарко будет – валенки скинем, босиком в атаку пойдем. Воевать так воевать...

Заметив, что отстал от Артюхова, он кивнул товарищам и побежал, прижимая к животу автомат.

Почти вся рота была уже на опушке.

И тут произошло то, чего никто не мог ожидать. Даже Саша, который уже не раз бывал под огнем, не сразу понял, что именно случилось.

Над ухом у него прозвучал знакомый жалобный свист, вокруг защелкало, застучало, и на глазах у него от большой, толстой пихты с треском отлетела лохматая светлая щепка.

– Ложись! – услышал он сдавленный голос Артюхова, увидел, как один за другим попадали в снег его товарищи, и сам повалился набок, вовремя перехватив автомат.

– Назад! – крикнул Артюхов и тоже залег.

Люди ползли назад и прятались за деревьями.

Саша пополз к Артюхову. Командир роты лежал за деревом вместе с лейтенантом Брякиным и командиром первого взвода. У взводного была поцарапана пулей кисть руки; он сосал ее и сплевывал на снег кровь.

– Дзот, чтоб их черти взяли!.. – прохрипел Артюхов и, яростно скомкав, отбросил в сторону коробку с папиросами, за которой машинально полез в карман.

– И не один, а целых три дзота, товарищ старший лейтенант! – крикнул Саша; он показал рукой в сторону маленького леска, замыкавшего поляну.

В эту минуту у них за спиной, над вершинами Ломоватого бора, показалось солнце, и трепетный свет февральской зари залил поляну.

– Вон, вон, видите? – показал Саша.

Теперь, на солнце, лесистый островок казался ближе, чем раньше. Вглядевшись, можно было различить отдельные деревья, а присмотревшись внимательнее, можно было установить и местонахождение вражеских огневых точек. Пулеметы молчали, но солнце выдавало их – белые тесаные рамы деревянных амбразур проступали даже сквозь густую сеть маскировки.

– Ах, шут подери, да ведь это же целая лесная крепость! – сказал лейтенант Брякин.

– Н-да, – сказал Артюхов. – Расход непредвиденный. Однако оставить Чернушку на нашей совести мы не можем. Обойти дзоты – не выйдет: поляна у них тут пристреляна, как видно, до последней пяди. Придется штурмовать с фронта... Саша, – повернулся он к Матросову, – лейтенантов Губина и Донского – ко мне!

Саша разыскал и привел к Артюхову командиров второго и четвертого взводов. Артюхов объяснил им свой план: взводы Донского и Губина решительным штурмом блокируют фланговые дзоты. Остальные берут на себя задачу подавить центральный, по-видимому, самый мощный.

– Работа предстоит нелегкая, – сказал Артюхов. – Но выполнить ее нужно быстро, иначе вся операция пойдет прахом.

Командиры вернулись к своим подразделениям, и через минуту громкое, раскатистое «ура!», залповый огонь и ответная дробь немецких пулеметов возвестили о том, что штурм лесной крепости начался.

Артюхов любил Сашу, ему приятно было видеть возле себя этого скромного голубоглазого, с прозрачным, чистым и открытым взглядом, молодого солдата. Сам того не замечая, он уже давно относился к нему не просто как начальник к подчиненному, а с какой-то скупой и суровой отцовской нежностью, думал о нем, как о старшем сыне своем, гордился его успехами и тревожился, когда малейшая беда грозила Саше. И может быть, назначая Матросова своим ординарцем, он сделал это не только потому, что Саша был ловкий и расторопный боец, но и потому, что ему хотелось, чтобы этот милый, полюбившийся ему парень находился рядом. Но для Саши это было странно и непривычно – находиться на поле боя и не участвовать в бою. До сих пор во всех боевых схватках он всегда был на первом месте, он шел в атаку, не думая об опасности, увлекая своим бесстрашием товарищей, и, может быть, поэтому за все три месяца своей боевой жизни он ни разу не был ни ранен, ни контужен.



Смелого пуля боится,  
Смелого штык не берет, –

любил он часто напевать, хотя порядочного голоса у него не было и в ротных запевалах он никогда не числился.

Правда, и сейчас Саша не сидел без дела: он помогал командиру следить за перипетиями боя, собирал донесения, передавал приказания, ползал, бегал, пробирался в самые опасные, рискованные места. Но это была не та работа, к которой он привык, и руки у него чесались и тянулись к затвору автомата. Через десять минут он уже не выдержал и попросил у Артюхова разрешения пойти драться в рядах своего взвода. Но командир не отпустил его.

– Будь около меня, – сказал он сердито. – И не рыпайся. Здесь ты мне нужнее...

Уже в самом начале боя Артюхову стало ясно, что взять штурмом эту немецкую лесную крепость – дело очень трудное. Правда, боковые, фланговые дзоты были довольно быстро блокированы и выведены из строя бойцами Губина и Донского, оба эти дзота молчали, зато центральный – самый отдаленный и самый мощный – вел такой яростный пулеметный огонь, что не только подойти, но и просто показаться на поляне не было никакой возможности.

Несколько раз гвардейцы бросались в атаку и каждый раз вынуждены были откатываться, оставляя на поле боя убитых и раненых. На глазах у Саши погиб его товарищ по взводу комсомолец Анощенко. Тяжело ранен был лейтенант Брякин. Саша видел, как его оттаскивали в сторону Бардабаев и Воробьев. Саше показалось, что лейтенант уже мертв: такое бледное, неживое лицо было у комсорга.

– Товарищ лейтенант! – дрогнувшим от волнения голосом крикнул Саша.

Брякин открыл глаза, узнал его, кивнул и пошевелил губами.

– По-комсомольски... по-комсомольски... – прохрипел он. И хотя за словами ничего больше не последовало, Саша понял, что комсорг хотел сказать: по-комсомольски нужно драться, а если понадобится и умирать.

Перестрелка продолжалась. И с той и с другой стороны не жалели патронов, но смысла в этой ожесточенной перепалке никакого

не было.

А время шло. Исчислялось оно минутами и секундами, но в этой обстановке даже ничтожная доля секунды могла решить исход дела, минутное промедление грозило катастрофой наступающим. Артюхов это понимал. Он понимал, что немцы не сидят сложа руки в своей засаде, что гарнизон Чернушки уже поднят на ноги и что где-нибудь дежурный немецкий телефонист, усатый «гефрейтер», уже принимает шифрованную телефонограмму с просьбой о помощи и подкреплении.

– Неважнецкие наши дела, Саша! – громко сказал Артюхов. Он старался говорить бодро и весело, но у него плохо получалось это.

«Неужели не успеем? – подумал Саша. – Неужели придется отходить?»

От одной этой мысли у него сердце сжалось.

– Товарищ старший лейтенант, – сказал он, дотронувшись до руки Артюхова, – знаете что? Скомандуйте еще раз в атаку! Ей-богу, скомандуйте! Вот увидите, дружно пойдём. И я пойду... я впереди пойду.

– Я знаю, что ты впереди пойдёшь, – ласково усмехнулся Артюхов.

– Так дайте же приказ!

– погоди, – сказал Артюхов и рукой показал, чтобы Саша сел.

Что же делать? Поднять людей и повести их в атаку? Но это значит наверняка погубить всю роту и не добиться никаких результатов.

– Вот что, – сказал командир роты, – давай попробуем поближе к этой сволочи, посмотрим, что она из себя представляет.

Они поползли. Из дзота их не видели, зато с опушки Ломоватого бора десятки внимательных и настороженных глаз следили за их передвижением.

Ползли они по-пластунски, прячась за кочками и бугорками, ползли медленно, с передышками и забирая все время несколько вправо.

– Стой! – скомандовал наконец Артюхов.

Они притаились за кустом можжевельника.

Саша осторожно высунул голову.

Вражеский дзот был совсем близко: каких-нибудь сто – сто двадцать шагов отделяли их теперь от немцев. Отсюда хорошо было видно, как из амбразуры дзота рвется наружу короткая пепельно-рыжая струя огня.

На одну минуту Саша представил себе фашистских пулеметчиков, которые, съезжившись и полусогнувшись, сидят в полутемной пещере этого лесного дзота. Представить их себе ему не стоило большого труда – он немало перевидал на своем веку этих двуногих зверей в зеленых потрепанных и обмызганных шинелях, красноносых, сопливых, бесконечно омерзительных, по-собачьи лающих и по-собачьи скалящих зубы.

Как это бывало с ним уже много раз, при одной мысли о близости немцев ярость и гнев охватили Сашу. Как смеют они здесь торчать? Кто им дал право? Ведь это наша земля! И лес этот наш, и деревня за ним, над которой по-прежнему вьется легкий неторопливый дымок, – это наша деревня.

Он вспомнил Брякина. Жив ли он? Неужели кровь его не будет отомщена! Неужели немцы заставят их отойти? Нет, черта с два! Гвардейцы не отступают. Комсомольцы не отступают. Русские не отступают. Будем драться!

Руки его сжимали автомат. Сердце стучало. Он ждал, что Артюхов даст приказ: «В атаку!» Но командир, подумав и оценив обстановку, дал ему другое приказание:

– Шесть автоматчиков – ко мне!

– Есть шесть автоматчиков, – ответил Саша и тем же путем, прячась за кочками и бугорками, пополз к Ломоватому бору.

## 6

Желающих было много – он сам выбрал шесть человек. Все это были комсомольцы, его товарищи по взводу.

Эту шестерку он привел к Артюхову. Артюхов отобрал трех.

– Задача такая, – сказал он, – подползти как можно ближе к дзоту и – из автоматов по амбразуре. Понятно?

– Есть, – ответили автоматчики. – Из автоматов по амбразуре. Понятно.

Им не удалось проползти и десятка шагов, как немцы их заметили. Клинок огня резко повернул вправо, короткая очередь – и все три автоматчика остались лежать на снегу.

Артюхов подозвал остальных.

– Задача понятна?

– Есть, – ответили комсомольцы. – По амбразуре из автоматов.

– Ползите немного правее. Живо!

Среди этих трех был Копылов, Сашин товарищ по училищу. Он первый выбрался на открытую поляну. До амбразуры оставалось шагов пятнадцать-двадцать. Копылов вскочил, поднял автомат и упал, сраженный пулеметной очередью. Товарищи его на минуту застыли, потом медленно поползли вперед. Один из них успел подняться, пробежал несколько шагов и выпустил, не глядя, короткую очередь в сторону дзота. Пулемет лениво повернул вправо и как бы нехотя скошил его. Поднялся и товарищ его – и тоже упал, сраженный на месте.

Артюхов снял шапку. Потемневшее лицо его было покрыто испариной.

– Что же делать? – подумал он вслух.

– Товарищ старший лейтенант, – сказал Саша, – теперь – я.

– Что «ты»?

– Я пойду.

Артюхов взглянул на него и понял, что сказать «нет» он не может, что Саша уже все решил. Лицо его было спокойно – никакого румянца, никакой лихорадки в глазах. Так спокоен бывает человек, приступающий к делу, которое он давно обдумал и к которому хорошо подготовился.

– Задачу свою понимаешь? – спросил у него Артюхов.

– Задачу понимаю, да, – сказал Саша.

– Ну, иди, – сказал Артюхов.

Он хотел обнять Сашу, но не обнял, а только положил руку ему на плечо и, слегка оттолкнув его от себя, повторил:

– Иди.

Саша выпянул из-за куста. В лесной крепости продолжал стучать пулемет. Струйка огня неторопливо двигалась справа налево и слева направо. Дождавшись, когда она еще раз повернет влево, Саша вскочил и, сделав несколько легких широких прыжков, повалился

набок и, сунув под мышку автомат, пополз – зажмурившись, разгребая снег, работая, как пловец, локтями, коленями, всем телом... Холодный снег обжигал ему щеку. Он слышал, как за спиной его, на опушке Ломоватого бора, гулко щелкают разрывные пули; это значило, что немцы его не видят. Если бы немцы видели – щелканье пуль было бы громче и ближе и свист их не был бы слышен. А пули на все голоса свистели у него над головой: под перекрестным огнем он мог угадывать, какие свои, какие чужие.

О чем он думал в эти короткие секунды своего последнего пути по родной земле? Никто не скажет нам, о чем он тогда думал. Но автоматчик Копылов, который не был убит насмерть, который еще жил, еще дышал, еще боролся с туманом, застилавшим его глаза, – он видел сквозь этот туман Сашу Матросова, который, проползая мимо, повернул к нему свое не по-мальчишески суровое, сосредоточенное лицо и вдруг улыбнулся ему, Копылову, и вдруг сказал негромким и каким-то уже не своим, свободным, легким, из самого сердца идущим голосом:

– По-комсомольски... по-комсомольски...

Видели Сашу и товарищи его со своих позиций на опушке Ломова того бора. Крепко сжав зубы и до боли сжимая кулаки, следил за каждым его движением командир роты Артюхов.

Саша хитрил. В те минуты, когда клинок огня поворачивал вправо, он переставал двигаться и замирал, распластанный на снегу. И пулеметчик, принимая его за одного из убитых, не замечал его и проходил мимо со своей смертельной очередью. Убитых лежало на снегу много – пересчитывать их немцу не приходило в голову.

Выждав минуту, Саша полз дальше.

Таким образом он подобрался вплотную к дзоту. Направление он взял правильное – амбразура была слева; он уже слышал сладковатый запах пороховой гари и чувствовал горячую близость раскаленного пулемета.

Те, кто с тревогой и затаив дыхание следили за ним с опушки Ломоватого бора, видели, как Саша медленно приподнялся, вскинул автомат и дал резкую короткую очередь по амбразуре. Облако желтого дыма вырвалось из амбразуры, громовой удар потряс землю и закачал вершины деревьев – это Сашины пули угодили в мину или в ящик с боеприпасами.

И сразу же наступила тишина, такая неожиданная, оглушающая тишина, что многие не тотчас поняли, что случилось.

Вражеский пулемет молчал.

Не дожидаясь команды, бойцы дружно поднялись в рост; многие уже рванулись вперед и с криком «ура!», беспорядочно стреляя, пробежали десяток-другой шагов в сторону дзота.

И вдруг пулемет ожил.

Он застучал лихорадочно, торопливо, захлебываясь. И люди, которые были уже совсем близко от цели, опять повалились в снег и, пятась, поползли в сторону леса, а многие остались лежать на снегу, чтобы никогда больше не встать.

И тут все, кто мог видеть, увидели, как Саша Матросов выбежал из своего укрытия и с криком: «А, сволочь!» кинулся к вражескому дзоту. Товарищи видели, как на бегу он повернулся, припал на левую ногу и всей силой тела своего навалился на амбразуру.

Пулемет захлебнулся.

– Вперед! – прозвучал металлический голос Артюхова.

Первым вскочил по команде Миша Бардабаев.

– Товарищи! – крикнул он. И никто не узнал его голоса. И сам он его не узнал. Слезы и гнев, ярость и гордость за друга душили его. Он рванул на себе ворот гимнастерки. – Товарищи! За Родину, за нашего Сашу, за комсомольца Матросова – вперед! Ура-а!..

Через минуту груды земли и деревянных обломков – все, что осталось от немецкой лесной крепости, – лежала за спиной гвардейцев. А через десять минут уже кипел горячий бой на подступах к Чернушке, и солнце стояло еще совсем низко, когда над этой маленькой русской деревушкой был водружен флаг страны, за свободу, славу и честь которой отдал свою жизнь комсомолец Александр Матросов.

\* \* \*

19 июня 1943 года Михаил Иванович Калинин подписал указ «О присвоении звания Героя Советского Союза красноармейцу Матросову».

На Сашиной могиле зацветали в это время скромные полевые цветы. Он лежал здесь, возле деревни Чернушки, а рота его шла на запад и была уже далеко, но Сашино имя не было вычеркнуто из списков роты, и на вечерних поверках его по-прежнему выкликали, как живого, и Миша Бардабаев откликался за него, потому что он был Сашин друг и потому что стоял первый с правого фланга.

Вечером в роту принесли газету. Состоялся летучий митинг. На митинге выступали бойцы и офицеры, Сашины товарищи, начальники и соратники, вспоминали, какой он был, что говорил и чем был замечен. Но мало кто мог припомнить что-нибудь особенное и замечательное, о чем говорил Саша. Только Бардабаев вспомнил и рассказал, как в день боя под Чернушкой в Ломоватом бору заспорили они с Сашей, легко ли живому броситься под вражеский танк, и как Саша сказал: «Не легко, а если надо, брошусь».

\* \* \*

Все лето полк находился на передовых; вместе со всей армией он шел с боями на запад...

За ратные подвиги, за доблесть и мужество, проявленные в этих боях, полк заслужил величайшую честь. 8 сентября 1943 года приказом Верховного Главнокомандующего 254-му гвардейскому полку было присвоено имя Александра Матросова.

Имя простого русского парня, бывшего беспризорного, рядового солдата украсило полковое знамя.

Принимая присягу, молодые гвардейцы опускаются на одно колено и, припадая губами к алому шелку знамени, говорят:

– Будем и мы такими! Будем смелыми и бесстрашными, честными и мужественными – как тот, чье святое имя золотом вышито на полотнище этого боевого стяга.

С этой клятвой матросовцы, вместе со всей нашей армией, освободили советскую землю от фашистских захватчиков. С этой же клятвой они пойдут, если надо будет, в последний, решительный бой за свободу, славу и счастье своего народа и своей Родины.

# Рассказы о детях\*



## Честное слово\*

Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его папа и мама. В потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких ляпочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе.

Как-то летом я зашел в садик, – я не знаю, как он называется, на Васильевском острове, около белой церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер.

Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я за хлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу.

Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа.

Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то плачет.

Я свернул на боковую дорожку – там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах; какая-то будка или сторожка. А около ее стены стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив голову, громко и безутешно плакал.

Я подошел и окликнул его:

– Эй, что с тобой, мальчик?

Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал:

– Ничего.

– Как это ничего? Тебя кто обидел?

– Никто.

– Так чего ж ты плачешь?

Ему еще трудно было говорить, он еще не проглотил всех слез, еще всхлипывал, икал, шмыгал носом.

– Давай пошли, – сказал я ему. – Смотри, уже поздно, уже сад закрывается.

И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдернул руку и сказал:

– Не могу.

– Что не можешь?

– Идти не могу.

– Как? Почему? Что с тобой?

– Ничего, – сказал мальчик.

– Ты что – нездоров?

– Нет, – сказал он, – здоров.

– Так почему ж ты идти не можешь?

– Я – часовой, – сказал он.

– Как часовой? Какой часовой?

– Ну, что вы – не понимаете? Мы играем.

– Да с кем же ты играешь?

Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:

– Не знаю.

Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке.

– Послушай, – сказал я ему. – Что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь – с кем?

– Да, – сказал мальчик. – Не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: «Хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть, мне говорят: «Ты сержант». Один большой мальчик... он маршал был... он привел меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад – в этой будке. А ты будешь часовой... Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдешь».

– Ну?

– Ну, я и сказал: «Честное слово – не уйду».

– Ну и что?

– Ну и вот. Стою-стою, а они не идут.

– Так, – улыбнулся я. – А давно они тебя сюда поставили?

– Еще светло было.

– Так где же они?



Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:

– Я думаю, – они ушли.

– Как ушли?

– Забыли.

– Так чего ж ты тогда стоишь?

– Я честное слово сказал...

Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось – хоть лопни. А игра это или не игра – все равно.

– Вот так история получилась! – сказал я ему. – Что же ты будешь делать?

– Не знаю, – сказал мальчик и опять заплакал.

Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его

на караул взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где ж их сейчас найдешь, этих мальчишек?..

Они уже небось поужинали и спать легли, и десятые сны видят.

А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось...

– Ты, наверно, есть хочешь? – спросил я у него.

– Да, – сказал он, – хочу.

– Ну, вот что, – сказал я, подумав. – Ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.

– Да, – сказал мальчик. – А это можно разве?

– Почему же нельзя?

– Вы же не военный.

Я почесал затылок и сказал:

– Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник...

И тут мне вдруг в голову пришла счастливая мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный, так в чем же дело? Надо, значит, идти искать военного.

Я ничего не сказал мальчику, только сказал: «Подожди минутку», – а сам, не теряя времени, побежал к выходу...

Ворота еще не были закрыты, еще сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там в свой колокольчик.

Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице. Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то черные шинели, я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошел высокий железнодорожник в очень красивой шинели с зелеными нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему.

Я уже хотел несолоно хлебавши возвращаться в сад, как вдруг увидел – за углом, на трамвайной остановке – защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, еще никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Слома голову я побежал к остановке. И вдруг, не успев добежать, вижу – к остановке подходит трамвай, и командир, молодой

кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон.

Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал:

– Товарищ майор! Минуточку! Подождите! Товарищ майор!

Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал:

– В чем дело?

– Видите ли, в чем дело, – сказал я. – Тут, в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик... Он не может уйти, он дал честное слово... Он очень маленький... Он плачет...

Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке.

– При чем же тут я? – сказал он.

Трамвай его ушел, и он смотрел на меня очень сердито.

Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать, а сразу сказал:

– Идемте, идемте. Конечно. Что же вы мне сразу не сказали?

Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада.

В темноте мы с трудом отыскивали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять – но на этот раз очень тихо – плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал:

– Ну, вот, я привел начальника.

Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.

– Товарищ караульный, – сказал командир. – Какое вы носите звание?

– Я – сержант, – сказал мальчик.

– Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост.

Мальчик помолчал, посопел носом и сказал:

– А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек...

– Я – майор, – сказал командир.

И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:

– Есть, товарищ майор. Приказано оставить пост.

И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались.

И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся.

Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами хлопнули ворота и сторож несколько раз повернул в скважине ключ.

Майор протянул мальчику руку.

– Молодец, товарищ сержант, – сказал он. – Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания.

Мальчик что-то пробормотал и сказал: «До свиданья».

А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке.

Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку.

– Может быть, тебя проводить? – спросил я у него.

– Нет, я близко живу. Я не боюсь, – сказал мальчик.

Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, действительно, нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей.

А когда он вырастет... Еще не известно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек.

Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком.

И я еще раз крепко и с удовольствием пожал ему руку.

## Новенькая\*

На улицах еще не совсем рассвело, и синие лампочки еще горели у подъездов и над воротами домов, а Володька Бессонов уже бежал в школу. Бежал он очень быстро, – во-первых, потому, что на улице было холодно: говорят, что таких морозов, как в этом, 1940 году, в Ленинграде не было уже сто лет; а во-вторых, Володьке очень хотелось самым первым явиться сегодня в класс. Вообще-то он не был особенно прилежным и выдающимся мальчиком. В другое время он, пожалуй, и опоздать не постеснялся бы. А тут – в первый день после каникул – было почему-то здорово интересно прийти именно первым и потом на каждом шагу и где только можно говорить:

– А вы знаете, я сегодня первый пришел!..

Он даже не остановился, чтобы посмотреть на огромные, выкрашенные в белую краску танки, которые, покачиваясь и оглушительно громокая, проходили в это время по улице. Да это было и не очень-то интересно, – танков теперь в городе было, пожалуй, побольше, чем трамваев.

На одну минуту только остановился Володька на углу – послушать радио. Передавали оперативную сводку штаба Ленинградского военного округа. Но и тут ничего интересного не было сегодня: поиски разведчиков и на отдельных участках фронта ружейно-пулеметная и артиллерийская перестрелка...

В раздевалке тоже еще горела синяя лампочка. Старая нянюшка дремала, положив голову на деревянный прилавок, около пустых вешалок.

– Здравсти, нянечка! – заорал Володька, кидая свой портфель на прилавок.

Старуха испуганно вскочила и захлопала глазами.

– С добрым утром вас! Хорошего аппетита! – затараторил Володька, снимая пальто и галоши. – Что? Не ждали? А я ведь, вы знаете, первый пришел!!!

– А вот и врешь, балаболка, – сказала старуха, потягиваясь и зевая.

Володька оглянулся и увидел на соседней вешалке маленькое девичье пальто с белым, кошачьим или заячьим, воротником.

«Эх, надо же! – подумал он с досадой. – Какая-то фыфря обскакала на полкилометра...»

Он попытался по виду определить, чье это пальто. Но что-то не мог вспомнить, чтобы у какой-нибудь девочки в их классе было пальто с заячьим воротником.

«Значит, это из другого класса девчонка, – подумал он. – Ну, а из чужого класса не считается. Все равно я первый».

И, пожелав нянюшке «спокойной ночи», он подхватил свой портфель и поскакал наверх.

\* \* \*

...В классе за одной из первых парт сидела девочка. Это была какая-то совсем незнакомая девочка – маленькая, худенькая, с двумя белокурыми косичками и с зелеными бантиками на них. Увидев девочку, Володька подумал, что он ошибся и заскочил не в свой класс. Он даже попятился обратно к двери. Но тут он увидел, что класс этот – никакой не чужой, а его собственный, четвертый класс – вон на стене висит рыжий кенгуру с поднятыми лапами, вон коллекция бабочек в ящике за стеклом, вон его собственная, Володькина, парта.

– С добрым утром! – сказал Володька девочке. – Хорошего аппетита. Как вы сюда попали?

– Я – новенькая, – сказала девочка очень тихо.

– Ну? – удивился Володька. – А почему – зимой! А чего ж ты так рано?

Девочка ничего не сказала и пожала плечами.

– Может быть, ты не в тот класс пришла? – сказал Володька.

– Нет, в этот, – сказала девочка. – В четвертый «Б».

Володька подумал, почесал затылок и сказал:

– Чур, я тебя первый увидел.

Он прошел к своей парте, внимательно осмотрел ее, потрогал для чего-то крышку, – все было в порядке; и крышка открывалась и закрывалась, как полагается.



В это время в класс вошли две девочки. Володька захлопнул парту и закричал:

– Кумачева, Шмулинская! Здравствуйте! С добрым утром! У нас новенькая!.. Я ее первый увидел...

Девочки остановились и тоже с удивлением посмотрели на новенькую.

– Правда? Новенькая?

– Да, – сказала девочка.

– А почему ты зимой? А как тебя зовут?

– Морозова, – сказала девочка.

Тут появилось еще несколько человек. Потом еще. И всем Володька объявлял:

– Ребята! У нас новенькая! Ее зовут Морозова. Я ее первый увидел.

Новенькую обступили. Стали разглядывать, расспрашивать. Сколько ей лет? И как ее зовут? И почему она зимой поступает в школу?

– Я не тутэшня, – потому, – сказала девочка.

– Что значит «не тутэшня»? Ты что – не русская?

– Нет, русская. Только я с Украины приехала.

– С какой? С Западной?

– Нет. С Восточной, – сказала девочка.

Отвечала она очень тихо и коротко и, хотя не смущалась нисколько, была какая-то грустная, рассеянная, и все время казалось, что ей хочется вздохнуть.

– Морозова, хочешь давай будем сидеть со мной? – предложила ей Лиза Кумачева. – У меня место свободное.

– Давай, все равно, – сказала новенькая и пересела на Лизину парту.

В этот день почти весь класс явился раньше, чем обычно. Каникулы в этом году тянулись почему-то необыкновенно долго и томительно.

Ребята не виделись всего две недели, но за это время у каждого накопилось новостей больше, чем в другое время за все лето.

Волька Михайлов ездил с отцом в Териоки, видел взорванные и сожженные дома и слышал – правда, издалека – настоящие артиллерийские выстрелы. У Любы Казанцевой бандиты ограбили

сестру, сняли с нее меховую жакетку, когда она возвращалась вечером домой с фабрики. У Жоржика Семенова ушел добровольцем на войну с белофиннами брат, известный лыжник и футболист. А у Володьки Бессонова хотя своих новостей и не было, зато он «своими ушами» слышал, как в очереди одна старуха говорила другой, будто «своими глазами» видела, как в Парголове около кладбища постовой милиционер сбил из нагана финский бомбардировщик...

Володьке не поверили, знали, что он балаболка, но все-таки дали ему поврать, потому что все-таки это было интересно и потому еще, что он очень смешно об этом рассказывал.

Заговорившись, ребята забыли о новенькой и не заметили, как прошло время. А за окнами уже совсем рассвело, и вот в коридоре зазвенел звонок, зазвенел как-то особенно – громко и торжественно.

Ребята быстрее, чем обычно, расселись по партам.

В это время в класс вбежала запыхавшаяся длинноногая Вера Макарова.

– Ребята! – закричала она. – Вы знаете... Новость!..

– Что? Что такое? Какая? – закричали вокруг.

– Вы знаете... у нас... у нас... новенькая...

– Ха! – захохотали ребята. – Новость! Давно без тебя знаем...

– Новенькая учительница, – сказала Вера.

– Учительница?

– Ага. Вместо Элеоноры Матвеевны будет. Ой, вы бы видели! –

Вера всплеснула своими длинными руками. – Хорошенькая... Молоденькая... Глаза голубые, а волосы...

Ей не пришлось дорисовывать портрет новой учительницы. Открылась дверь, и на пороге появилась она сама – действительно очень молодая, голубоглазая, с двумя золотистыми косами, заплетенными, как венок, вокруг головы.

Ребята поднялись ей навстречу, и в тишине какая-то девочка громко прошептала своей соседке:

– Ой, и правда, какая хорошенькая!..

Учительница чуть заметно улыбнулась, подошла к своему столику, положила портфель и сказала:

– Здравствуйте, ребята. Вот вы какие! А мне говорили, что вы – маленькие. Садитесь, пожалуйста.

Ребята сели. Учительница прошлась по классу, остановилась, опять улыбнулась и сказала:

– Ну, давайте познакомимся. Меня зовут Елизавета Ивановна. А вас?

Ребята засмеялись. Учительница прошла к столу и раскрыла журнал.

– О, да вас тут много. Ну, давайте все-таки знакомиться. Антонова – кто это?

– Я! – сказала Вера Антонова, поднимаясь.

– Ну, расскажи мне немножко о себе, – сказала учительница, присаживаясь к столу. – Как тебя зовут? Кто твои папа и мама? Где ты живешь? Как ты учишься?

– Учусь – ничего, хорошо, – сказала Вера.

Ребята зафыркали.

– Ну, садись, – усмехнулась учительница. – Поживем – увидим. Следующий – Баринова!

– Я!

– А тебя как зовут?

Баринова сказала, что ее зовут Тамара, что живет она в соседнем доме, что мама у нее буфетчица, а папа умер, когда она еще была маленькая.

Пока она это рассказывала, Володька Бессонов нетерпеливо ерзал на своей парте. Он знал, что его фамилия – следующая, и не мог дождаться очереди.

Не успела учительница вызвать его, как он вскочил и затараторил:

– Меня зовут Володя. Мне одиннадцать лет. Мой папа – парикмахер. Я живу угол Обводного канала и Боровой. У меня есть собака Тузик...

– Тихо, тихо, – улыбнулась учительница. – Ладно, садись, хватит, о Тузике ты мне после расскажешь. А то я с твоими товарищами не успею познакомиться.

Так она постепенно, по алфавиту, опросила полкласса. Наконец подошла очередь новенькой.

– Морозова! – выкликнула учительница.

Со всех сторон закричали:

– Это новенькая! Елизавета Ивановна, она новенькая. Она сегодня первый раз.

Учительница внимательно посмотрела на маленькую, худенькую девочку, поднявшуюся из-за своей парты, и сказала:

– Ах, вот как?

– Елизавета Ивановна! – закричал Володька Бессонов, поднимая руку.

– Ну, что?

– Елизавета Ивановна, эта девочка новенькая. Ее зовут Морозова. Я ее сегодня первый увидел...

– Да, да, – сказала Елизавета Ивановна. – Мы уже слышали об этом. Ну, что ж, Морозова, – обратилась она к новенькой, – расскажи и ты нам о себе. Это будет интересно не только мне, но и твоим новым товарищам.

Новенькая тяжело вздохнула и посмотрела куда-то в сторону, в угол.

– Меня зовут Валя, – сказала она. – Мне будет скоро двенадцать лет. Я родилась у Киеви и все время там жила – с папой и мамой. А потом...

Тут она запнулась и совсем тихо, одними губами сказала:

– Потом мой папа...

Что-то мешало ей говорить.

Учительница вышла из-за стола.

– Хорошо, Морозова, – сказала она, – хватит. Ты после расскажешь.

Но было уже поздно. У новенькой задрожали губы, она повалилась на парту и громко, на весь класс заплакала.

Ребята повскакали со своих мест.

– Что с тобой? Морозова! – крикнула учительница.

Новенькая не отвечала. Она уткнулась лицом в сложенные на парте руки и делала все, чтобы сдержать слезы, но, как ни старалась, как ни сжимала зубы, – слезы все текли и текли, и плакала она все громче и все безутешнее.

Учительница подошла к ней и положила руку ей на плечо.

– Ну, Морозова, – сказала она, – милая, ну, успокойся...

– Елизавета Ивановна, может быть, она больная? – сказала ей Лиза Кумачева.

– Нет, – ответила учительница.

Лиза взглянула на нее и увидела, что учительница стоит, закусив губу, и что глаза у нее стали мутные, и что она тяжело и порывисто дышит.

– Морозова... не надо, – сказала она и погладила новенькую по голове.

В это время за стеной зазвенел звонок, и учительница, ни слова не сказав, повернулась, подошла к своему столу, взяла портфель и быстро вышла из класса.

Новенькую со всех сторон окружили. Стали ее теребить, уговаривать, успокаивать. Кто-то побежал в коридор за водой, и когда она, стуча зубами, сделала несколько плотков из жестяной кружки, она успокоилась немножко и даже сказала «спасибо» тому, кто ей принес воду.

– Морозова, ты что? Что с тобой? – спрашивали вокруг.

Новенькая не отвечала, всхлипывала, платала слезы.

– Да что с тобой? – не отставали ребята, наседая со всех сторон на парту.

– Ребята, уйдите! – отталкивала их Лиза Кумачева. – Ну, как вам не стыдно! Мало ли... может быть, у нее кто-нибудь умер.

Эти слова подействовали и на ребят и на новенькую. Новенькая опять повалилась на парту и еще громче заплакала, а ребята смутились, замолчали и стали понемногу расходиться.

Когда, после звонка, Елизавета Ивановна снова появилась в классе, Морозова уже не всхлипывала, только изредка шмыгала носом и сжимала в руке маленький, промокший до последней ниточки платок.

Учительница ей ничего больше не сказала и сразу же приступила к уроку.

Вместе со всем классом новенькая писала диктовку. Собирая тетради, Елизавета Ивановна остановилась около ее парты и негромко спросила.

– Ну, как, Морозова?

– Хорошо, – пробурчала новенькая.

– Может быть, тебе лучше все-таки пойти домой?

– Нет, – сказала Морозова и отвернулась.

Больше за весь день Елизавета Ивановна к ней не обращалась и не вызывала ее ни на русском ни на арифметике. Товарищи тоже оставили ее в покое.

В конце концов, что тут особенно интересного в том, что маленькая девочка заплакала на уроке? О ней просто забыли. Только Лиза Кумачева почти каждую минуту спрашивала у нее, как она себя чувствует, и новенькая или говорила ей «спасибо», или ничего не отвечала, а только кивала головой.

Кое-как досидела она до конца уроков, и не успел отзвенеть последний звонок, как она торопливо собрала свои книжки и тетради, затянула их ремешком и побежала к выходу.

У вешалки, постукивая номерком о прилавок, уже стоял Володька Бессонов.

– Вы знаете, нянечка, – говорил он, – у нас в классе новенькая. Ее зовут Морозова. Она с Украины приехала. С Восточной... Вот она! – сказал он, увидев Морозову. Потом посмотрел на нее, сморщил нос и сказал: – Что, плакса-вакса, не удалось обскакать? Я все-таки первый ухожу. Да-с.

Новенькая взглянула на него с удивлением, а он прищелкнул языком, повернулся на каблуках и стал натягивать пальто, – как-то по-особенному, всовывая руки в оба рукава сразу.

Из-за Володьки новенькой не удалось уйти незамеченной из школы. Пока она одевалась, в раздевалке набился народ.

Застегивая на ходу коротенькое пальтецо с белым заячьим воротником, она вышла на улицу. Почти следом за ней выбежала на улицу Лиза Кумачева.

– Морозова, тебе в какую сторону? – сказала она.

– Мне – сюда, – показала налево новенькая.

– Ой, по пути, значит, – сказала Лиза, хотя идти ей нужно было совсем в другую сторону. Просто ей очень хотелось поговорить с новенькой.

– Ты на какой улице живешь? – спросила она, когда они дошли до угла.

– А что? – спросила новенькая.

– Ничего... Просто так.

– На Кузнечном, – сказала новенькая и зашагала быстрее. Лиза еле-еле поспевала за ней. Ей очень хотелось как следует расспросить

новенькую, но она не знала, с чего начать.

– Правда, Елизавета Ивановна хорошенькая? – сказала она.

Новенькая помолчала и спросила:

– Это какая Елизавета Ивановна? Учительница?

– Да. Правда, она чудная?

– Ничего, – пожала плечами новенькая.

Здесь, на улице, в своем легком пальтишке она казалась еще меньше, чем в классе. Нос и все лицо у нее на морозе страшно покраснели. Лиза решила, что лучше всего заговорить для начала о погоде.

– У вас что – на Украине – теплее или холоднее? – сказала она.

– Трохи теплей, – сказала новенькая. Вдруг она убавила шаг, посмотрела на свою спутницу и сказала:

– Скажи, это очень глупо, що я так ревела сегодня у классе?

– Ну, почему? – пожала плечами Лиза. – У нас тоже девочки плачут... А ты почему плакала, что у тебя случилось, а?

Она думала почему-то, что новенькая ей не ответит. Но та посмотрела на Лизу и сказала:

– У меня папа пропал.

Лиза даже остановилась от удивления.

– Как пропал? – сказала она.

– Он – летчик, – сказала новенькая.

– А где он – в Киеве пропал?

– Нет, здесь – на фронте...

Лиза открыла рот.

– Он что у тебя – на войне?

– Ну, да, конечно, – сказала новенькая, и Лиза, посмотрев на нее, увидела, что у нее в глазах опять блестят слезы.

– А как же он пропал?

– Ну, как вообще на войне пропадают. Улетел, и никто не знает, що с ним. Одиннадцать дней от него писем не было.

– Может быть, некогда ему? – неуверенно сказала Лиза.

– Ему и всегда некогда, – сказала новенькая. – А он все-таки в декабре оттуда восемь листиков прислал.

– Да, – сказала Лиза и покачала головой. – А вы когда, давно из Киева приехали?

– Мы сразу, вместе с ним приехали, как только война началась – на третий день.

– И мама твоя приехала?

– Конечно.

– Ох, наверно, она тоже волнуется! – сказала Лиза. – Плачет, наверно, да?

– Нет, – сказала новенькая. – Моя мама умеет не плакать...

Она посмотрела на Лизу, сквозь слезы усмехнулась и сказала:

– А я вот не умею...

Лиза хотела сказать ей что-нибудь хорошее, теплое, утешительное, но в эту минуту новенькая остановилась, протянула ей руку и сказала:

– Ну, до свиданья, теперь я одну пойду.

– Почему? – удивилась Лиза. – Это ж еще не Кузнечный. Я тебя провожу.

– Нет, нет, – сказала новенькая и, торопливо пожав Лизину руку, побежала дальше одна.

Лиза видела, как она свернула за угол – в Кузнечный переулок. Из любопытства Лиза тоже дошла до угла, но когда она заглянула в переулок – новенькой там уже не было.

\* \* \*

На следующее утро Валя Морозова пришла в школу очень поздно, перед самым звонком. Когда она появилась в классе, там сразу стало очень тихо, хотя за минуту до этого стоял такой гвалт, что в окнах звенели стекла, а мертвые бабочки в классной коллекции шевелили крылышками, как живые. По тому, как участливо и жалостливо все на нее посмотрели, новенькая поняла, что Лиза Кумачева уже успела рассказать о вчерашнем их разговоре на улице. Она покраснела, смутилась, пробормотала «здравствуйте», и весь класс, как один человек, ответил ей:

– Здравствуй, Морозова!

Ребятам, конечно, было очень интересно узнать, что у нее слышно нового и нет ли известий от отца, но никто не спросил у нее



об этом, и только Лиза Кумачева, когда новенькая уселась рядом с ней за парту, негромко сказала:

– Что, нет?

Морозова покачала головой и глубоко вздохнула.

За ночь она еще больше осунулась и похудела, но, как и вчера, жиденькие белокурые косички ее были тщательно заплетены, и в каждой из них болтался зеленый шелковый бантик.

Когда зазвенел звонок, к парте, где сидели Морозова и Кумачева, подошел Володька Бессонов.

– Здравствуй, Морозова. С добрым утром, – сказал он. – Сегодня погода хорошая. Двадцать два градуса только. А вчера двадцать девять было.

– Да, – сказала Морозова.

Володька постоял, помолчал, почесал затылок и сказал:

– А что, интересно, Киев большой город?

– Большой.

– Больше Ленинграда?

– Меньше.

– Интересно, – сказал Володька, помотав головой. Потом он еще помолчал и сказал:

– А как, интересно, будет по-украински собака? А?

– А что? – сказала Морозова. – Так и будет – собака.

– Гм, – сказал Володька. Потом он вдруг тяжело вздохнул, покраснел, посопел носом и сказал:

– Ты... это... как его... не сердись, что я тебя вчера плаксой-ваксой назвал.

Новенькая улыбнулась и ничего не ответила. А Володька еще раз шмыгнул носом и отправился к своей парте. Через минуту Морозова услышала его звонкий, захлебывающийся голос:

– Ребята, вы знаете, как по-украински будет собака? Не знаете? А я знаю...

– Ну, как же, интересно, будет по-украински собака?

Володька оглянулся. В дверях, с портфелем под мышкой, стояла Елизавета Ивановна, новая учительница.

– Собака – собака и будет, Елизавета Ивановна, – сказал Володька, поднимаясь вместе с другими навстречу учительнице.

– Ах, вот как? – улыбнулась учительница. – А я думала, как-нибудь поинтереснее. Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста.

Она положила на столик портфель, поправила на затылке волосы и опять улыбнулась:

– Ну, как поживают наши уроки?

– Ничего, Елизавета Ивановна, спасибо. Живы, здоровы! – закричал Володька.

– А это мы сейчас увидим, – сказала учительница, раскрывая классный журнал.

Взгляд ее пробежал по списку учеников. Все, кто не очень уверенно чувствовали себя в этот день в арифметике, – съежились и насторожились, только Володька Бессонов нетерпеливо подпрыгивал на своей задней парте, мечтая, как видно, что его и тут вызовут первым.

– Морозова – к доске! – сказала учительница.

Почему-то по классу пробежал ропот. Всем показалось, наверно, что это не очень-то хорошо, что вызывают Морозову. Можно было бы сегодня ее и не беспокоить.

– Отвечать можешь? – спросила у новенькой учительница. – Уроки выучила?

– Выучила. Могу, – чуть слышно ответила Морозова и пошла к доске.

Отвечала она урок очень плохо, путалась и сбивалась, и Елизавета Ивановна несколько раз обращалась за помощью к другим. И все-таки не отпускала ее и держала у доски, хотя все видели, что новенькая еле стоит на ногах, и что мел у нее в руке дрожит, и цифры на доске прыгают и не хотят стоять прямо.

Лиза Кумачева готова была расплакаться. Она не могла спокойно смотреть, как бедная Валя Морозова в десятый раз выписывает на доске неправильное решение, стирает его и пишет снова, и опять стирает, и опять пишет. А Елизавета Ивановна смотрит на нее, качает головой и говорит:

– Нет, неправильно. Опять неправильно.

«Ах, – думала Лиза. – Если бы Елизавета Ивановна знала! Если б она знала, как тяжело сейчас Вале! Она бы отпустила ее. Она бы не стала ее мучить».

Ей хотелось вскочить и закричать: «Елизавета Ивановна! Хватит! Довольно!..»

Наконец, новенькой удалось написать правильное решение. Учительница отпустила ее и поставила в журнале отметку.

– Теперь попросим к доске Бессонова, – сказала она.

– Так и знал! – закричал Володька, вылезая из-за своей парты.

– А уроки ты знаешь? – спросила учительница. – Задачи решил? Не трудно было?

– Хе! Легче пуха и пера, – сказал Володька, подходя к доске. Я, вы знаете, за десять минут все восемь штук решил.

Елизавета Ивановна дала ему задачу на что же правило. Володька взял мел и задумался. Так он думал минут пять, по меньшей мере. Он вертел в пальцах огрызок мела, писал в уголке доски какие-то малюсенькие цифры, стирал их, чесал нос, чесал затылок.

– Ну, как же? – не выдержала наконец Елизавета Ивановна.

– Минуточку, – сказал Володька. – Минуточку... я сейчас... Как же это?

– Садись, Бессонов, – сказала учительница.

Володька положил мел и, ни слова не говоря, вернулся на свое место.

– Видали! – обратился он к ребятам. – Каких-нибудь пять минуток у доски постоял и – целую двойку заработал.

– Да, да, – сказала Елизавета Ивановна, оторвавшись от журнала. – Одним словом – легче пуха и пера.

Ребята долго смеялись над Володькой. Смеялась и Елизавета Ивановна, и сам Володька. И даже новенькая улыбалась, но видно было, что ей не смешно, что улыбается она только из вежливости, за компанию, а на самом деле ей не смеяться, а плакать хочется... И, взглянув на нее, Лиза Кумачева поняла это и первая перестала смеяться.

В перемену несколько девочек собрались в коридоре у кипяточного бака.

– Вы знаете, девочки, – сказала Лиза Кумачева, – я хочу поговорить с Елизаветой Ивановной. Надо ей рассказать про новенькую... Чтобы она с ней не так строго. Ведь она не знает, что у Морозовой такое несчастье.

– Пойдемте, поговорим с ней, – предложила Шмулинская.

И девочки гурьбой побежали в учительскую.

В учительской рыжая Марья Васильевна, из четвертого «А», разговаривала по телефону.

– Да, да... хорошо... да! – кричала она в телефонную трубку и, кивая, как утка, головой, без конца повторяла: – Да... да... да... да... да... да...

– Вам что, ребята? – сказала она, оторвавшись на минуту от трубки.

– Елизаветы Ивановны тут нет? – спросили девочки.

Учительница показала головой на соседнюю комнату.

– Елизавета Ивановна! – крикнула она. – Вас ребята спрашивают.

Елизавета Ивановна стояла у окна. Когда Кумачева и другие вошли в комнату, она быстро повернулась, подошла к столу и склонилась над грудой тетрадок.

– Да? – сказала она, и девочки увидели, что она торопливо вытирает платком глаза.

От неожиданности они застряли в дверях.

– Что вы хотели? – сказала она, внимательно перелистывая тетрадку и что-то разглядывая там.

– Елизавета Ивановна, – сказала, выступая вперед, Лиза. – Мы хотели... это... мы хотели поговорить относительно Вали Морозовой.

– Ну? Что? – сказала учительница и, оторвавшись от тетрадки внимательно посмотрела на девочек.

– Вы знаете, – сказала Лиза, – ведь у нее отец...

– Да, да, девочки, – перебила ее Елизавета Ивановна. – Я знаю об этом. Морозова очень страдает. И это хорошо, что вы о ней заботитесь. Не надо только показывать, что вы ее жалеете и что она несчастнее других. Она очень слабая, болезненная... в августе у нее был дифтерит. Надо, чтобы она поменьше думала о своем горе. Сейчас о своем много думать нельзя – не время. Ведь у нас, милые мои, самое ценное, самое дорогое в опасности – наша Родина. А что касается Вали – будем надеяться, что отец ее жив.

Сказав это, она опять склонилась над тетрадкой.

– Елизавета Ивановна, – сказала, засопев, Шмулинская, – а вы почему плачете?

– Да, да, – сказали, окружив учительницу, остальные девочки. – Что с вами, Елизавета Ивановна?

– Я? – повернулась к ним учительница. – Да что с вами, голубушки! Я не плачу. Это вам показалось. Это, наверно, с мороза у меня глаза заслезились. И потом – здесь так накурено...

Она помахала рукой около своего лица.

Шмулинская понюхала воздух. В учительской табаком не пахло. Пахло сургучом, чернилами, чем угодно – только не табаком.

В коридоре затрещал звонок.

– Ну, шагом марш, – весело сказала Елизавета Ивановна и распахнула дверь.

В коридоре девочки остановились и переглянулись.

– Плакала, – сказала Макарова.

– Ну, факт, что плакала, – сказала Шмулинская. – И не накурено ни чуточки. Я даже воздух понюхала...

– Вы знаете, девочки, – сказала, подумав, Лиза. – Я думаю, что у нее тоже какое-нибудь несчастье...

После этого Елизавету Ивановну никогда больше не видели с заплаканными глазами. И в классе, на уроках, она всегда была веселая, много шутила, смеялась, а в большую перемену даже играла с ребятами во дворе в снежки.

К Морозовой она относилась так же, как и к остальным ребятам, задавала ей на дом не меньше, чем другим, и отметки ставила без всякой поправки.

Училась Морозова неровно, то отвечала на «отлично», то вдруг подряд получала несколько «плохо». И все понимали, что это не потому, что она лентяйка или неспособная, а потому, что, наверно, дома она вчера весь вечер проплакала и мама ее, наверно, плакала, и – где ж тут заниматься?

А в классе Морозову тоже никогда больше не видели плачущей. Может быть, это потому, что никто никогда не заговаривал с ней об ее отце, даже самые любопытные девочки, даже Лиза Кумачева. Да и что было спрашивать? Если бы отец ее вдруг нашелся, она бы и сама, наверно, сказала, да и говорить не надо – по глазам было бы видно.

Только один раз Морозова не выдержала. Это было в начале февраля. В школе собирали подарки для посылки бойцам на фронт. После уроков, уже в сумерках, собрались ребята в классе, шили мешочки, набивали их конфетами, яблоками и папиросами. Валя Морозова тоже работала вместе со всеми. И вот тут, когда она

зашивала один из мешочков, она заплакала. И несколько слезинок капнуло на этот парусиновый мешок. И все это увидели и поняли, что, наверно, в эту минуту Валя подумала об отце. Но никто ей ничего не сказал. И скоро она перестала плакать.

А на другой день Морозова не пришла в школу. Всегда она приходила одной из первых, а тут уже прозвенел звонок, и все расселись по своим местам, и уже Елизавета Ивановна оказалась в дверях, а ее все не было.

Учительница, как всегда весело и приветливо, поздоровалась с классом, села за столик и принялась перелистывать журнал.

– Елизавета Ивановна! – крикнула ей с места Лиза Кумачева. – Вы знаете, почему-то Морозовой нет...

Учительница оторвалась от журнала.

– Морозова сегодня не придет, – сказала она.

– Как не придет? Почему не придет? – послышалось со всех сторон.

– Морозова заболела, – сказала Елизавета Ивановна.

– А что? Откуда вы знаете? Что – разве мама ее приходила?

– Да, – сказала Елизавета Ивановна, – приходила мама.

– Елизавета Ивановна! – закричал Володька Бессонов. – Может быть, у нее отец нашелся?!

– Нет, – покачала головой Елизавета Ивановна. И сразу же заглянула в журнал, захлопнула его и сказала:

– Бариннову Тамару – прошу к доске.

\* \* \*

На другой день Морозова тоже не пришла. Лиза Кумачева и еще несколько девочек решили после уроков пойти ее навестить. В большую перемену они подошли в коридоре к учительнице и сказали, что хотели бы навестить больную Морозову, нельзя ли узнать ее адрес.

Елизавета Ивановна подумала минутку и сказала:

– Нет, девочки... У Морозовой, кажется, ангина, а это опасно. Не стоит к ней ходить.

И, ничего больше не сказав, пошла в учительскую.

А следующий день был выходной.

Накануне Лиза Кумачева очень долго провозилась с уроками, легла позже всех и собиралась как следует поспать – часов до десяти или до одиннадцати. Но было еще совсем темно, когда ее разбудил оглушительный звонок на кухне. В полусне она слышала, как мать открывает дверь, потом услышала какой-то знакомый голос и не сразу могла сообразить, чей это голос.

Захлебываясь и проглатывая слова, кто-то громко говорил на кухне:

– У нас в классе есть девочка. Она с Украины приехала. Ее зовут Морозова...

«Что такое? – подумала Лиза. – Что случилось?»

Второпях она натянула задом наперед платье, сунула ноги в валенки и выбежала на кухню.

Размахивая руками, Володька Бессонов что-то объяснял Лизиной маме.

– Бессонов! – окликнула его Лиза.

Володька даже не сказал «с добрым утром».

– Кумачева, – кинулся он к Лизе, – ты не знаешь, как у Морозовой отца зовут?

– Нет, – сказала Лиза. – А что такое?

– Он не капитан?

– Не знаю. А что? В чем дело?

Володька прищелкнул языком, покачал головой.

– Плохо, если не капитан, – сказал он.

– Да что такое? – чуть не закричала Лиза.

– Понимаешь, – сказал Володька. – У меня есть собака. Ее зовут Тузик. Я ее каждый выходной вожу гулять. Утром.

– Какой Тузик? – ничего не понимая, спросила Лиза.

– Тузик. Собака. Ну, не в этом дело. Одним словом, я ее повел гулять. А на улице радио. И передают Указ. Понимаешь? О награждениях бойцов и командиров. Я слушаю и вдруг слышу: за проявленную доблесть и так далее – присвоить звание Героя Советского Союза командиру эскадрильи капитану Морозову Ивану... и какое-то отчество, я только не разобрал, трудное какое-то.

– Командиру эскадрильи? Правда? – сказала Лиза.

– Вот в том-то и дело... Я думаю, может, это он? Ведь он летчик?

– Ну да. Ну конечно, – сказала Лиза. – Ой, как бы узнать, как его зовут?

– Я же тебе говорю – Иван зовут... забыл только отчество... Фиктилис-тович, кажется.

– Филимонович, может быть? – сказала Лизина мама.

– Нет, – сказал Володька, – Фиктилистович.

– А может, это не он? – сказала Лиза.

– А вы к этой – к Морозовой сбегайте, – посоветовала мать. – Чего ж лучше-то. Вот и узнаете.

– Я же ее адреса не знаю, – чуть не плача, сказала Лиза.

– Как? – испугался Володька. – Не ври! Не знаешь, где она живет?

– Нет, – сказала Лиза. – Знаю только, что в Кузнечном переулке, в первом или во втором доме от угла.

– Эх, – сказал Володька. – А я-то, дурак, бежал, даже Тузика на улице бросил. Я думал, ты знаешь. Ведь вы же подруги...

– Знаю только, что на Кузнечном, – растерянно повторила Лиза.

– На Кузнечном? – подумав, переспросил Володька. – Говоришь, второй дом от угла?

– Да. Второй или первый. Или, может быть, третий...

– Может быть, двадцать третий? – рассердился Володька. – А ну, одевайся. Побежали. Может, найдем...

Через десять минут они уже были в Кузнечном переулке.

– Под воротами есть такие доски, – говорил Володька. – Деревянные. Там написано, где какой жилец живет. Будем искать Морозовых.

Они обошли пять или шесть домов, проглядели все доски, и нигде Морозовых не было.

Володька уж стал ругаться и говорить, что, наверно, Лиза путает что-нибудь и что напрасно он оставил на улице Тузика...

Он уже хотел на все плюнуть и бежать разыскивать своего Тузика, как вдруг Лиза схватила его за руку.

– Бессонов, смотри, – сказала она, – Елизавета Ивановна идет.

Володька посмотрел и увидел, что по улице действительно идет Елизавета Ивановна, их классная воспитательница. Они побежали ей навстречу и так разлетелись, что чуть не сбили ее с ног.

– Елизавета Ивановна, здравствуйте, с добрым утром! – заговорили они в один голос.



Учительница испуганно попятилась.

– Здравствуйте, ребята, – сказала она.

– Елизавета Ивановна, – не дав ей опомниться, заговорил Володька, – вы не знаете случайно, где Валя Морозова живет?

– А что такое? – спросила учительница.

– Ой, вы бы знали, – сказала Лиза. – Нам – прямо я сказать не могу – до чего ее нужно видеть!..

– Елизавета Ивановна! Вы же знаете, наверно? – сказал Володька.

– Да, – сказала, подумав, учительница. – Знаю. Морозова здесь, вот в этом кирпичном доме живет.

– И квартиру знаете?

– И квартиру знаю, – сказала учительница. – А в чем дело?

– Вы понимаете, Елизавета Ивановна, – сказала Лиза. – У нее, кажется, отец нашелся.

– У кого? – сказала учительница.

– У Вали!

И тут ребята увидели, что Елизавета Ивановна побледнела, как снег, и губы у нее задержались – не то она хочет смеяться, не то плакать.

– Что? – сказала она. – Что вы говорите?

Ребята, путаясь и перебивая друг друга, рассказали ей о том, что передавали сегодня утром по радио.

Когда дело дошло до отчества капитана Морозова, Володька опять застрял.

– Филикт... – начал он. – Или Феликст...

– Феоктистович, – сказала учительница.

– Правильно! Во-во! – закричал Володька. – Феоктелистович! Елизавета Ивановна, а откуда вы знаете?..

Учительница закрыла рукой глаза.

– Идемте, – сказала она. – Идемте скорей к Морозовой.

И она побежала так быстро, что ребята едва успевали за ней, а прохожие останавливались и смотрели ей вслед.



– Сюда, – сказала она ребятам и свернула в ворота большого кирпичного дома, второго от угла.

– Ну, что? Я тебе говорила, – сказала Володьке Лиза.

– Елизавета Ивановна, – сказал Володька. – Мы уже тут были. Тут никаких Морозовых нет.

– Идемте, идемте, ребята, – сказала Елизавета Ивановна, не останавливаясь.

– Елизавета Ивановна, ведь правда? – сказала Лиза, когда они уже поднимались по черной лестнице. – Ведь, может, это и в самом деле Валин отец?

– Да, милая, – сказала Елизавета Ивановна. – Это он. Иван Феоктистович Морозов, капитан, командир эскадрильи. Это Валин

отец.

На площадке четвертого этажа учительница остановилась, вынула из сумочки ключ и открыла этим ключом французский замок. Ребята не успели удивиться, как она распахнула дверь и сказала:

– Пожалуйста, милости просим.

В коридоре было темно.

– Осторожно, – сказала Елизавета Ивановна. – Здесь сундук.

И хотя она это сказала, Володька все-таки успел наткнуться на этот сундук. От неожиданности он вскрикнул.

– Мама, это ты? – послышался за дверью тоненький голосок, и ребята узнали голос Вали Морозовой.

– Я, – сказала Елизавета Ивановна, распахнув дверь.

– Что ты так скоро? Уже достала?

– Нет, доченька, – сказала Елизавета Ивановна. – Я не достала газету. Но зато посмотри, какую я тебе привела замечательную живую газету...

Валя Морозова лежала в постели. Приподнявшись над подушкой, она испуганно и смущенно смотрела на Володьку и Лизу, которые, не менее смущенные и не менее испуганные, застряли в дверях.

Минуту Валя смотрела на них, потом вдруг вскрикнула и юркнула головой под одеяло.

Елизавета Ивановна подбежала к ее кровати и стала стягивать с нее одеяло.

– Вылезай, вылезай! – сказала она. – Хватит нам прятаться. Горевали мы в одиночку, а радоваться будем вместе...

И она так громко засмеялась, что Валя не выдержала и высунулась из-под одеяла.

– Что? – сказала она.

Елизавета Ивановна опустилась на колени около ее кровати и обняла девочку.

– Валечка! Папа жив, – сказала она.

Несколько секунд Валя внимательно смотрела на нее, потом уронила голову в подушку и тихо заплакала.

А когда она оторвалась от подушки, ребята увидели, что она уже не плачет, а смеется. И тут, когда она засмеялась, и Володька, и Лиза в первый раз заметили, что она очень хорошенькая, и что у нее белые

зубы и очень красивые золотистые волосы, а самое главное, что она, как две капли воды, похожа на Елизавету Ивановну.

Ребята удивились, хотя ничего удивительного, конечно, в этом не было.

## На ялике\*

Большая широкобокая лодка подходила к нашему берегу. Набитая до отказа, сидела она очень низко в воде, шла медленно, одолевая течение, и было видно, как туго и трудно погружаются в воду весла и с каким облегчением выскальзывают они из нее, сверкая на солнце и рассыпая вокруг себя тысячи и тысячи брызг.

Я сидел на большом теплом и шершавом камне у самой воды, и мне было так хорошо, что не хотелось ни двигаться, ни оглядываться, и я даже рад был, что лодка еще далеко и что, значит, можно еще несколько минут посидеть и подумать... О чем? Да ни о чем особенном, а только о том, как хорошо сидеть, какое милое небо над головой, как чудесно пахнет водой, ракушками, смоленным деревом...

Я уже давно не был за городом, и все меня сейчас по-настоящему радовало: и чахлый одуванчик, притаившийся под пыльным зонтиком лопуха, и легкий, чуть слышный плеск невской волны, и белая бабочка, то и дело мелькавшая то тут, то там в ясном и прозрачном воздухе. И разве можно было в эту минуту поверить, что идет война, что фронт совсем рядом, что он тут вот, за этими крышами и трубами, откуда изо дня в день летят в наш осажденный город немецкие бомбардировщики и дальнобойные бризантные снаряды? Нет, я не хотел думать об этом, да и не мог думать, так хорошо мне было в этот солнечный июльский день.

\* \* \*

А на маленькой пристаньке, куда должна была причалить лодка, уже набился народ. Ялик подходил к берегу, и, чтобы не потерять очереди, я тоже прошел на эти животрепещущие дощатые мостки и смешался с толпой ожидающих. Это были все женщины, все больше пожилые работницы.

Некоторые из них уже перекликались и переговаривались с теми, кто сидел в лодке. Там тоже были почти одни женщины, а из нашего брата только несколько командиров, один военный моряк да сам

перевозчик, человек в неуклюжем брезентовом плаще с капюшоном. Я видел пока только его спину и руки в широких рукавах, которые ловко, хотя и не без натуги, работали веслами. Лодку относил течением, но все-таки с каждым взмахом весел она все ближе и ближе подходила к берегу.

– Матвей Капитоныч, поторопись! – закричал кто-то из ожидающих.

Гребец ничего не ответил. Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть повернул голову, и тут я увидел его лицо. Это был мальчик лет одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. Лицо у него было худенькое, серьезное, строгое, темное от загара, только бровки были смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, да из-под широкого козырька огромной боцманской фуражки с якорем на околыше падали на запотевший лоб такие же белобрысые, соломенные, давно не стриженные волосы.

По тому, как тепло и дружно приветствовали его у нас на пристани женщины, было видно, что мальчик не случайно и не в первый раз сидит на веслах.

– Капитану привет! – зашумели женщины.

– Мотенька, давай, давай сюда! Заждались мы тебя.

– Мотенька, поспеши, опаздываем!

– Матвей Капитоныч, здравствуй!

– Отойди, не мешай, бабы! – вместо ответа закричал он каким-то хриплым простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку причала, качнулась и закрипела. Мальчик зацепил веслом за кромку мостков, кто-то из военных спрыгнул на пристань и помог ему причалить лодку.

Началась выгрузка пассажиров и посадка новых.

Маленький перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень спокойно, без всякого раздражения, сурово и повелительно распоряжался посадкой.

– Эй, тетка! – покрикивал он. – Вот ты, с противогазом которая. Садись с левого борта. А ты, с котелком, – туда... Тихо... Осторожно. Без паники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

Он сосчитал, сбился и еще раз пересчитал, сколько людей в лодке.

– Довольно. Хватит! За остальными после приеду.

Оттолкнувшись веслом от пристани, он подобрал свой брезентовый балахон, уселся и стал собирать двугривенные за перевоз.

Я, помню, дал ему рубль и сказал, что сдачи не надо. Он шмыгнул носом, усмехнулся, отсчитал восемь гривен, подал их мне вместе с квитанцией и сказал:

– Если у вас лишние, так положите их лучше в сберкассу.

Потом пересчитал собранные деньги, вытащил из кармана большой старомодный кожаный кошель, ссыпал туда монеты, защелкнул кошель, спрятал его в карман, уселся поудобнее, поплевал на руки и взялся за весла.

Большая, тяжелая лодка, сорвавшись с места, легко и свободно пошла вниз по течению.

\* \* \*

И вот, не успели мы как следует разместиться на своих скамейках, не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось то, чего, казалось бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный, безмятежно спокойный летний день.

Я сидел на корме. Передо мной лежала река, а за нею – Каменный остров, над которым все выше и выше поднималось утреннее солнце. Густая зеленая грива висела над низким отлогим берегом. Сквозь яркую свежую листву виднелись отсюда какие-то домики, какая-то беседка с белыми круглыми колоннами, а за ними... Но нет, там ничего не было и не могло быть. Мирная жизнь спокойно, как река, текла на этой цветущей земле. Легкий дымок клубился над пестрыми дачными домиками. Чешуйчатые рыбачьи сети сушились, растянутые на берегу. Белая чайка летала. И было очень тихо. И в лодке у нас тоже почему-то стало тише, только весла мерно стучали в уключинах да за бортом так же мерно и неторопливо плескалась вода.

И вдруг в эту счастливую, безмятежную тишину ворвался издалека звук, похожий на отдаленный гром. Легким гулом он прошел по реке. И тотчас же в каждом из нас что-то екнуло и привычно насторожилось. А какая-то женщина, правда не очень испуганно и не очень громко, вскрикнула и сказала:

– Ой, что это, бабоньки?

В эту минуту второй, более сильный удар размашистым отзвуком прокатился по реке. Все посмотрели на мальчика, который, кажется, один во всей лодке, не обратил никакого внимания на этот подозрительный грохот и продолжал спокойно грести.

– Мотенька, что это? – спросили у него.

– Ну что! – сказал он, не поворачивая головы. – Ничего особенного. Зенитки.

Голос у него был какой-то скучный и даже грустный, и я невольно посмотрел на него. Сейчас он показался мне почему-то еще моложе, в нем было что-то совсем детское, младенческое: уши под большим картузом смешно оттопыривались в стороны, на загорелых щеках проступал легкий белый пушок, из-под широкого и жесткого, как хомут, капюшона торчала тонкая, цыплячья шейка.

А в чистом, безоблачном небе уже бушевала гроза. Теперь уже и мне было ясно, что где-то на подступах, на фортах, а может быть и ближе, работают наши зенитные установки. Как видно, вражеским самолетам удалось пробиться сквозь первую линию огня, и теперь они уже летели к городу. Канонада усиливалась, приближалась. Все новые и новые батареи вступали в дело, и скоро отдельные залпы стали неразличимы, – обгоняя друг друга, они сливались в один сплошной гул.

– Летит! Летит! Поглядите-ка! – закричали вдруг у нас в лодке.

Я посмотрел и ничего не увидел. Только мягкие, пушистые дымчатые клубочки таяли то тут, то там в ясном и высоком небе. Но сквозь гром зенитного огня я расслышал знакомый прерывистый рокот немецкого мотора. Гребец наш тоже мельком, искоса посмотрел на небо.

– Ага. Разведчик, – сказал он пренебрежительно.

И я даже улыбнулся, как это он быстро, с одного маха нашел самолет и с какой точностью определил, что самолет этот не какой-нибудь, а именно разведчик. Я хотел было попросить его показать мне, где он увидел этого разведчика, но тут будто огромной кувалдой ударило меня по барабанным перепонкам, я невольно зажмурился, услышал, как закричали женщины, и изо всех сил вцепился в холодный влажный борт лодки, чтобы не полететь в воду.



Это открыли огонь зенитные батареи на Каменном острове. Уж думалось, что дальше некуда: и так уж земля и небо дрожали от этого грома и грохота, а тут вдруг оказалось, что все это были пустяки, что до сих пор было даже очень тихо и что только теперь-то и началась настоящая музыка воздушного боя.

Ничего не скажу – было страшно. Особенно, когда в воду – и спереди и сзади, и справа и слева от лодки – начали падать осколки.

Мне приходилось уже не раз бывать под обстрелом, но всегда это случалось со мной на земле, на суше. Там, если рядом и упадет осколок, его не видно. А тут, падая с шипеньем в воду, эти осколки поднимали за собой целые столбы воды. Это было красиво, похоже на то, как играют дельфины в теплых морях, – но если бы это действительно были дельфины!..

Женщины в нашей лодке уже не кричали. Перепуганные, они сбились в кучу, съежились, пригнули как можно ниже головы. А многие из них даже легли на дно лодки и защищали себя руками, как будто можно рукой уберечь себя от тяжелого и раскаленного куска металла. Но ведь известно, что в такие минуты человек не умеет рассуждать. Признаться, мне тоже хотелось нагнуться, зажмуриться, спрятать голову.

Но я не мог сделать этого.

Передо мной сидел мальчик. Ни на один миг он не оставил весел. Так же уверенно и легко вел он свое маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни страха, ни волнения. Он только посматривал изредка то направо, то налево, то на небо, потом переводил взгляд на своих пассажиров – и усмехался. Да, усмехался. Мне даже стыдно стало, я даже покраснел, когда увидел эту улыбку на его губах.

«Неужели он не боится? – подумал я. – Неужели ему не страшно? Неужто не хочется ему бросить весла, зажмуриться, спрятаться под скамейку?.. А впрочем, он еще маленький, – подумалось мне. – Он еще не понимает, что такое смерть, поэтому небось и улыбается так беспечно и снисходительно».

Канонада еще не кончилась, когда мы пристали к берегу. Не нужно было никого подгонять. Через полминуты лодка была уже

пустая. Под дождем осколков, совсем как это бывает под настоящим проливным дождем, женщины бежали на берег и прятались под густыми шапками приземистых дубков и столетних лип.

Я вышел из лодки последним. Мальчик возился у причала, затягивая какой-то сложный морской узел.

– Послушай! – сказал я ему. – Чего ты копаешься тут? Ведь, посмотри, осколки летят...

– Чего? – переспросил он, подняв на секунду голову и посмотрев на меня не очень любезно.

– Я говорю: храбрый ты, как я погляжу. Ведь страшно все-таки. Неужели ты не боишься?

В это время тяжелый осколок с тупым звоном ударился о самую кромку мостков.

– А ну, проходите! – закричал на меня мальчик. – Нечего тут...

– Ишь ты какой! – сказал я с усмешкой и зашагал к берегу. Я был обижен и решил, что не стоит и думать об этом глупом мальчишке.

Но, выйдя на дорогу, я все-таки не выдержал и оглянулся. Мальчика на пристани уже не было. Я поискал его глазами. Он стоял на берегу, под навесом какого-то склада или сарая. Весла свои он тоже притащил сюда и поставил рядом.

«Ага, – подумал я с некоторым злорадством. – Все-таки, значит, немножко побаиваешься, голубчик!..»

Но, по правде сказать, мне все еще было немножко стыдно, что маленький мальчик оказался храбрее меня. Может быть, поэтому я не стал прятаться под деревьями, а сразу свернул на боковую дорожку и отправился разыскивать Н-скую зенитную батарею.

\* \* \*

Дела, которые привели меня на Каменный остров, к зенитчикам, отняли у меня часа полтора-два. Обратном в город меня обещали «подкинуть» на штабной машине, прибытия которой ожидали с минуты на минуту.

В ожидании машины, от нечего делать, я беседовал с командиром батареи о всякой всячине и, между прочим, рассказал о том, как

сложно я к ним добирался, и о том, как наш ялик попал в осколочный дождь.

Командир батареи, пожилой застенчивый лейтенант из запасных, почему-то вдруг очень смутился и даже покраснел.

– Да, да... – сказал он, вытирая платком лицо. – К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. Но что же поделаешь! Это как раз те щепки, которые летят, когда лес рубят. Но все-таки неприятно. Очень неприятно. Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. Вот как раз недели три тому назад тут перевозчика осколком убило.

Я, помню, даже вздрогнул, когда услышал это.

– Как перевозчика? – сказал я. – Где? Какого?

– Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. Хороший человек был. Сорок два года работал на перевозе. И отец у него, говорят, тоже на яликах подвизался. И дед.

– А сейчас там какой-то мальчик, – сказал я.

– Ха! – улыбнулся лейтенант. – Ну как же! Мотя! Матвей Капитоныч! Адмирал Нахимов мы его зовем. Это сынишка того перевозчика, который погиб.

– Как! – сказал я. – Того самого, который от осколка?..

– Ну да. Именно. Того Капитоном звали, а этого Матвей Капитонович. Тоже матрос бывалый. Лет ему – не сосчитать как мало, а работает – сами видели, – со взрослыми потягаться может. И притом, что бы ни было, всегда на посту: и днем и ночью, и в дождь и в бурю...

– И под осколками, – сказал я.

– Да, и под осколками. Этого уж тут не избежишь! Осколочные осадки выпадают у нас, пожалуй, почаще, чем обычные, метеорологические...

Лейтенант мне еще что-то говорил, что-то рассказывал, но я плохо слушал его. Почему-то мне вдруг страшно захотелось еще раз увидеть Мотю.

– Послушайте, товарищ лейтенант, – сказал я поднимаясь. – Знаете, – что-то ваша машина застряла. А у меня времени в обрез. Я, пожалуй, пойду.

– А как же вы? – удивился лейтенант.

– Ну что ж, – сказал я. – Придется опять на ялике.

Когда я пришел к перевозу, ялик еще только-только отваливал от противоположного берега. Опять он был переполнен пассажирами, и опять низкие бортики его еле-еле выплывали из воды, но так же легко, спокойно и уверенно работали весла и вели его наискось по течению, поблескивая на солнце и оставляя в воздухе светлую радужную пыль. А солнце стояло уже высоко, припекало, и было очень тихо, даже как-то особенно тихо, как всегда бывает летом после хорошего проливного дождя.

На пристани еще никого не было, я сидел один на скамеечке, поглядывая на воду и на приближающуюся лодку, и на этот раз мне уже не хотелось, чтобы она шла подольше, – наоборот, я ждал ее с нетерпением. А лодка как будто чувала это мое желание, шла очень быстро, и скоро в толпе пассажиров я уже мог разглядеть белый парусиновый балахон и боцманскую фуражку гребца.

«И днем и ночью, и в дождь и в бурю», – вспомнил я слова лейтенанта.

И вдруг я очень живо и очень ясно представил себе, как здесь вот, на этом самом месте, в такой же, наверно, погожий, солнечный денек, на этой же самой лодке, с этими же веслами в руках погиб на своем рабочем посту отец этого мальчика. Я отчетливо представил во всех подробностях, как это случилось. Как привезли старого перевозчика к берегу, как выбежали навстречу его жена и дети, – и вот этот мальчик тоже, – и какое это было горе, и как страшно стало, как потемнело у мальчика в глазах, когда какая-то чужая старуха всхлипнула, перекрестилась и сказала:

– Царство небесное. Помер...

И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает теми же веслами, которые выпали тогда из рук его отца.

«Как же он может? – подумал я. – Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные весла? Как может он спокойно сидеть на скамейке, на которой еще небось не высохла кровь его отца? Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к веслам, и к черной невской воде. Даже отдаленный орудийный

выстрел должен был пугать его и холодить жестокой тоской его маленькое сердце. А ведь он улыбался. Вы подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от залпов зенитных орудий!..»

Но тут мои размышления были прерваны. Веселый женский голос звонко и раскатисто, на всю реку, прокричал за моей спиной:

– Матвей Капитоныч, поторопи-ись!..

Пока я сидел и раздумывал, на пристани уже скопилась порядочная толпа ожидающих. Опять тут было очень много женщин-работниц, было несколько военных, две или три девушки-дружинницы и молодой военный врач.

Лодка уже подходила к мосткам. Повторилось то же, что было давеча на том берегу. Ялик ударился о стенку причала и заскрипел. Женщины и на берегу и в лодке загалдели, началась посадка, и мальчик, стоя в лодке и придерживаясь веслом за бортик мостков, не повышая голоса, серьезно и деловито командовал своими пассажирами. Мне показалось, что за эти два часа он еще больше осунулся и похудел. Темное от загара и от усталости лицо его блестело, он тяжело дышал. Балахон свой он расстегнул, распахнул ворот рубашки, и оттуда выплядывала полоска незагорелой кожи. Когда я входил в лодку, он посмотрел на меня, улыбнулся, показав на секунду маленькие белые зубы, и сказал:

– Что? Уж обратно?

– Да. Обратно, – ответил я и почему-то очень обрадовался и тому, что он меня узнал, и тому, что заговорил со мной и даже улыбнулся мне.



Усаживаясь, я постарался занять место поближе к нему. Это удалось мне. Правда, пришлось кого-то не очень вежливо оттолкнуть, но когда мальчик сел на свое капитанское место, оказалось, что мы сидим лицом к лицу.

Выполнив обязанности кассира, собрав двугривенные, пересчитав их и спрятав, Мотя взялся за весла.

– Только не шуметь, бабы! – строго прикрикнул он на своих пассажиров. Те слегка притихли, а мальчик уселся поудобнее, поплевал на руки, и весла размеренно зашуршали в уключинах, и вода так же размеренно заплескалась за бортом.

Мне очень хотелось заговорить с мальчиком. Но, сам не знаю почему, я немножко робел и не находил, с чего начать разговор. Улыбаясь, я смотрел на его серьезное сосредоточенное лицо и на смешные детские бровки, на которых поблескивали редкие светлые

волосики. Внезапно он взглянул на меня, поймал мою улыбку и сказал:

– Вы чего смеетесь?

– Я не смеюсь, – сказал я немножко даже испуганно. – С чего ты взял, что я смеюсь? Просто я люблюсь, как ты ловко работаешь.

– Как это ловко? Обыкновенно работаю.

– Ого! – сказал я, покачав головой. – А ты, адмирал Нахимов, я погляжу, дядя сердитый...

Он опять, но на этот раз, как мне показалось, с некоторым любопытством взглянул на меня и сказал:

– А вы откуда знаете, что я – адмирал Нахимов?

– Ну, мало ли? Слухом земля полнится.

– Что, на батареях были?

– Да, на батареях.

– А! Тогда понятно.

– Что тебе понятно?

Он помолчал, как бы раздумывая, стоит ли вообще рассусоливать со мной, и наконец ответил:

– Командиры меня так дразнят: адмиралом. Я ведь их тут всех обслуживаю: и зенитчиков, и летчиков, и моряков, и из госпиталей которые...

– Да, брат, работы у тебя, как видно, хватает, – сказал я. – Устаешь здорово небось? А?

Он ничего не сказал, только пожал плечами. Что работы ему хватает и что устает он зверски, было и без того видно. Лодка опять шла наперекор течению, и весла с трудом, как в густую черную глину, погружались в воду.

– Послушай, Матвей Капитоныч, – сказал я, помолчав. – Скажи, пожалуйста, откровенно, по совести: неужто тебе давеча не страшно было?

– Это когда? Где? – удивился он.

– Ну, давеча, когда зенитки работали.

Он усмехнулся и с каким-то не то что удивлением, а пожалуй, даже с сожалением посмотрел на меня.

– Вы бы ночью сегодня поглядели, что было. Вот это да! – сказал он.

– А разве ты ночью тоже работал?

– Я дежурил. У нас тут на Деревообделочном он зажигалок набросал целый воз. Так мы тушили.

– Кто «мы»?

– Ну, кто? Ребята.

– Так ты что – и не спал сегодня?

– Нет, спал немного.

– А ведь у вас тут частенько это бывает.

– Что? Бомбежки-то? Конечно, часто. У нас тут вокруг батареи.

Осколки так начнут сыпаться, только беги.

– Да, – сказал я, – а ты, я вижу, все-таки не бежишь.

– А мне бежать некуда, – сказал он, усмехнувшись.

– Ну, а ведь честно-то, по совести, – боязно все-таки?

Он опять подумал и как-то очень хорошо, просто и спокойно сказал:

– Бойся не бойся, а уж если попадет, так попадет. Легче ведь не будет, если бояться?

– Это конечно, – улыбнулся я. – Легче не будет.

Мне все хотелось задать ему один вопрос, но как-то язык не поворачивался. Наконец я решился:

– А что, Мотя, это правда, что у тебя тут недавно отец погиб?

Мне показалось, что на одно мгновение весла дрогнули в его руках.

– Ага, – сказал он хрипло и отвернулся в сторону.

– Его что – осколком?

– Да.

– Вот, видишь...

Я не договорил. Но, как видно, он понял, о чем я хотел сказать. Целую минуту он молчал, налегая на весла. Потом, так же не глядя на меня, а куда-то в сторону, хриплым, басовитым и, как мне показалось, даже не своим голосом сказал:

– Воды бояться – в море не бывать.

– Хорошо сказано. Ну, а все-таки – разве ты об этом не думал? Если и тебя этак же?

– Что меня?

– Осколком.

– Тьфу, тьфу, – сказал он, сердито посмотрев на меня, и как-то лихо и замысловато, как старый бывалый матрос, плюнул через левое



плечо.

Потом, заметив, что я улыбаюсь, – не выдержал, сам улыбнулся и сказал:

– Ну что ж! Конечно, могут. Всякое бывает. Могут и убить. Тогда что ж... Тогда, значит, придется Маньке за весла садиться.

– Какой Маньке?

– Ну какой! Сестренке. Она, вы не думайте, она хоть и маленькая, а силы-то у нее побольше, чем у другого пацана. На спинке Неву переплывает туда и обратно.

Беседуя со мной, Мотя ни на минуту не оставлял управления лодкой. Она уже миновала середину реки и теперь, относимая течением в сторону, шла наискось к правому, высокому берегу. А там уже поблескивали кое-где стекла в сереньких дощатых домиках, из-за дранковых, толевых и железных крыш выглядывали чахлые пыльные деревца, а над ними без конца и без края расстилалось бесцветное бледно-голубое, как бы разбавленное молоком, северное небо.

И опять на маленькой пристани уже толпился народ, уже слышен был шум голосов, и уже кто-то кричал что-то и махал нам рукой.

– Мотя-а-а! – расслышал я и, взглядевшись, увидел, что это кричит маленькая девочка в белом платочке и в каком-то бесцветном, длинном, как у цыганки, платье.

– Мотя-а-а! – кричала она, надрываясь и чуть ли не со слезами в голосе. – Живей! Чего ты копаешься там?..

Мотя и головы не повернул. Только подводя лодку к мосткам, он поглядел на девочку и спокойно сказал:

– Чего орешь?

Девочка была действительно совсем маленькая, босая, с таким же, как у Моти, загорелым лицом и с такими же смешными, выцветшими, белесыми бровками.

– Обедать иди! – загорячилась она. – Мама ждет, ждет!.. Уж горох весь выкипел.

И в лодке и на пристани засмеялись. А Мотя неторопливо причалил ялик, дождался, пока сойдут на берег все пассажиры, и только тогда повернулся к девочке и ответил ей:

– Ладно. Иду. Принимай вахту.

– Это что? – спросил я у него. – Это Манька и есть?

– Ага. Манька и есть. Вот она у нас какая! – улыбнулся он, и в голосе его я услышал не только очень теплую нежность, но и настоящую гордость.

– Славная девочка, – сказал я и хотел сказать еще что-то.

Но славная девочка так дерзко и сердито на меня посмотрела и так ужасно сморщила при этом свой маленький загорелый, облупившийся нос, что я проплотил все слова, какие вертелись у меня на языке. А она шмыгнула носом, повернулась на босой ноге и, подобрав подол своего цыганского платья, ловко прыгнула в лодку.

– Эй, бабы, бабы!.. Не шуметь! Без паники! – закричала она хриплым, простуженным баском, совсем как Мотя. «И, наверное, совсем как покойный отец», – подумалось мне.

Я попрощался с Мотей, протянул ему руку.

– Ладно. До свиданьица, – сказал он не очень внимательно и подал мне свою маленькую, крепкую, шершавую и мозолистую руку.

Поднявшись по лесенке наверх, на набережную, я оглянулся.

Мотя в своем длинном и широком балахоне и в огромных рыбацких сапогах, удаляясь от пристани, шел уже по узенькой песчаной отмели, слегка наклонив голову и по-матросски покачиваясь на ходу.

А ялик уже отчалил от берега. Маленькая девочка сидела на веслах, ловко работала ими, и весла в ее руках весело поблескивали на солнце и рассыпали вокруг себя тысячи и тысячи брызг.

## Маринка\*

С Маринкой мы познакомились незадолго до войны на парадной лестнице. Я открывал французским ключом дверь, а она в это время, возвращаясь с прогулки, проходила мимо, вся раскрасневшаяся, утомленная и разгоряченная игрой. Куклу свою она тащила за руку, и кукла ее, безжизненно повиснув, также выражала крайнюю степень усталости и утомления.

Я поклонился и сказал:

– Здравствуйте, красавица.

Девочка посмотрела на меня, ничего не ответила, засопела и стала медленно и неуклюже пятиться по лестнице наверх, одной рукой придерживаясь за перила, а другой волоча за собой несчастную куклу. На площадке она сделала передышку, еще раз испуганно посмотрела на меня сверху вниз, облегченно вздохнула, повернулась и, стуча каблучками, побежала наверх.

После этого я много раз видел ее из окна во дворе или на улице среди других детей. То тут, то там мелькал ее красный сарафанчик и звенел тонкий, иногда даже чересчур звонкий и капризный голосок.

Она была и в самом деле очень красива: черноволосая, курчавая, большеглазая, – еще немножко, и можно было бы сказать про нее: вылитая кукла. Но от полного сходства с фарфоровой куклой ее спасали живые глаза и живой, неподдельный, играющий на щеках румянец: такой румянец не наведешь никакой краской, про такие лица обычно говорят: «кровь с молоком».

Война помогла нам познакомиться ближе. Осенью, когда начались бомбежки, в моей квартире открылось что-то вроде филиала бомбоубежища. В настоящем убежище было недостаточно удобно и просторно, а я жил в первом этаже, и, хотя гарантировать своим гостям полную безопасность я, конечно, не мог, площади у меня было достаточно, и вот по вечерам у меня стало собираться обширное общество – главным образом дети с мамами, бабушками и дедушками.

Тут мы и закрепили наше знакомство с Маринкой. Я узнал, что ей шесть лет, что живет она с мамой и с бабушкой, что папа ее на войне, что читать она не умеет, но зато знает наизусть много стихов, что у

нее шесть кукол и один мишка, что шоколад она предпочитает другим лакомствам, а «булочки за сорок» (то есть сорокакопеечные венские булки) простой французской...

Правда, все это я узнал не сразу и не все от самой Маринки, а больше от ее бабушки, которая, как и все бабушки на свете, души не чаяла в единственной внучке и делала все, чтобы избаловать ее и испортить. Однако девочка была сделана из крепкого материала и порче не поддавалась, хотя в характере ее уже сказывалось и то, что она «единственная», и то, что она проводит очень много времени со взрослыми. Застенчивость и развязность, ребенок и резонер – сочетались в ней очень сложно, а иногда и комично. То она молчит, дичится, жметя к бабушке, а то вдруг наберется храбрости и затараторит так, что не остановишь. При этом даже в тех случаях, когда она обращалась ко мне, она смотрела на бабушку, как бы ища у нее защиты, помощи и одобрения.

Между прочим, от бабушки я узнал, что Маринка ко всему прочему еще и артистка – поет и танцует.

Я попросил ее спеть. Он отвернулась и замотала головой.

– Ну, если не хочешь петь, может быть, спляшешь?

Нет, и плясать не хочет.

– Ну, пожалуйста, – сказал я. – Ну, чего ты боишься?

– Я не боюсь, я стесняюсь, – сказала она, посмотрев на бабушку, и, так же не глядя на меня, храбро добавила:

– Я ничего не боюсь. Я только немцев боюсь.

Я стал выяснять, с чего же это она вдруг боится немцев. Оказалось, что о немцах она имеет очень смутное представление. Немцы для нее в то время были еще чем-то вроде трубочистов или волков, которые рыщут в лесу и обижают маленьких и наивных красных шапочек. То, что происходит вокруг – грохот канонады за стеной, внезапный отъезд отца, исчезновение шоколада и «булочек за сорок», даже самое пребывание ночью в чужой квартире – все это в то время еще очень плохо связывалось в ее сознании с понятием «немец».

И страх был не настоящий, а тот, знакомый каждому из нас, детский страх, который вызывают в ребенке сказочные чудовища – всякие бабы-яги, вурдалаки и бармалеи...

Я, помню, спросил у Маринки, что бы она стала делать, если бы в комнату вдруг вошел немец.

– Я бы его стулом, – сказала она.

– А если стул сломается?

– Тогда я его зонтиком. А если зонтик сломается – я его лампой.

А если лампа разобьется – я его галошей...

Она перечислила, кажется, все вещи, какие попались ей на глаза. Это была увлекательная словесная игра, в которой немцу уделялась очень скромная и пассивная роль – мишени.

Было это в августе или в сентябре 1941 года.

Потом обстоятельства нас разлучили, и следующая наша встреча с Маринкой произошла уже в январе нового, 1942 года.

Много перемен произошло за это время. Давно уже перестали собираться в моей квартире ночные гости. Да и казенные, общественные убежища тоже к этому времени опустели. Город уже давно превратился в передовую линию фронта, смерть стала здесь явлением обычным и привычным, и все меньше находилось охотников прятаться от нее под сводами кочегарок и подвалов.

Полярная ночь и полярная стужа стояли в ленинградских квартирах. Сквозь заколоченные фанерой окна не проникал дневной свет, но ветер и мороз оказались ловчее, они всегда находили для себя лазейки. На подоконниках лежал снег, он не таял даже в те часы, когда в комнате удавалось затопить «буржуйку».

Маринка уже два месяца лежала в постели.

Убогая фитюлька нещадно коптила, я не сразу разглядел, где что. Сгорбленная старушка, в которой я с трудом узнал Маринкину бабушку, трясущимися руками схватила меня за руку, заплакала, потащила в угол, где на огромной кровати, под грудой одеял и одежды теплилась маленькая Маринкина жизнь.

– Мариночка, ты посмотри, кто пришел к нам. Деточка, ты открой глазки, посмотри...

Маринка открыла глаза, узнала меня, хотела улыбнуться, но не вышло: не хватило силенок.

– Дядя... – сказала она.

Я сел у ее изголовья. Говорить я не мог. Я смотрел на ее смертельно бледное личико, на тоненькие, как ветки, ручки, лежавшие поверх одеяла, на заострившийся носик, на огромные

ввалившиеся глаза – и не мог поверить, что это все, что осталось от Маринки, от девочки, про которую говорили: «кровь с молоком», от этой жизнерадостной, пышущей здоровьем резвушка.

Казалось, ничего детского не осталось в чертах ее лица.

Угрюмо смотрела она куда-то в сторону – туда, где на закоптелых, некогда голубых обоях колыхалась витиеватая тень от дымящей коптилки.

Я принес ей подарок – жалкий и убогий гостинец: кусок конопляной дуранды, завернутый, красоты ради, в тонкую папиросную бумагу. Больно было смотреть, как просияла она, с каким жадным хрустом впились ее мышинные зубки в каменную твердь этого лошадиного лакомства.

Воспитанная по всем правилам девочка, она даже забыла сказать мне «спасибо»; только расправившись наполовину с дурандой, она вспомнила о бабушке, предложила и ей кусочек. А подобрав последние крошки и облизав бумагу, она вспомнила и обо мне – молча посмотрела на меня и холодной ручкой дотронулась до моей руки.

– Бабушка, – сказала она. Голос у нее был хриплый, простуженный. – Бабушка, правда, как жалко, что когда мы немножко больше кушали, я не сплясала дяде?

Бабушка не ответила.

– А теперь что, не можешь? – спросил я.

Она покачала головой:

– Нет.

Бабушка опустилась на стул, заплакала.

– Боже мой, – сказала она. – Когда это все кончится только?!



Тут произошло нечто неожиданное. Маринка резко повернулась, подняла голову над подушкой и со слезами в голосе закричала:

– Ах, бабушка, замолчи, ты мне надоела! «Когда это кончится?!» Вот всех немцев перебьют, тогда и кончится...

Силенки изменили ей. Она снова упала на подушку.

Бабушка продолжала плакать. Я помолчал и спросил:

– А ты немцев все еще боишься, Маринка?

– Нет, не боюсь, – сказала она.

Пытаясь возобновить наш старый шуточный разговор, я сказал ей:

– А что ты станешь делать, если, скажем, немец вдруг войдет в твою комнату?

Она задумалась. Глубокие, недетские морщинки сбежались к ее переносице. Казалось, она трезво рассчитывает свои силы, стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться, полена во всем доме днем с огнем не найдешь.

Наконец она ответила мне. Я не расслышал. Я только видел, как блеснули при этом ее маленькие крепкие зубки.

– Что? – переспросил я.

– Я его укушу, – сказала Маринка. И зубы ее еще раз блеснули, и сказано это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому немцу, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату.

Я погладил Маринкину руку и сказал:

– Он не придет, Маринка...

Много могил мы вырубали за эту зиму в промерзшей ленинградской земле. Многих и многих недосчитались мы по весне.

А Маринка выжила.

Я видел ее весной сорок второго года. Во дворе на солнышке играла она с подругами... Это была очень скромная, тихая и благопристойная игра. И это были еще не дети, а детские тени. Но уже чуть-чуть румянились их бледные личики, и некоторые из них уже прыгали на одной ножке, а это очень трудно – держаться на одной ноге: тот, кто пережил ленинградскую зиму, поймет и оценит это.

Увидев меня, Маринка бросилась мне навстречу.

– Дядя, – сказала она, обнимая меня, – какой вы седой, какой вы старый...

Мы поговорили с ней, поделились последними новостями. Оба мы по-настоящему радовались, что видим друг друга – какими ни на есть, худыми и бледными, но живыми. Ведь не всякому выпала эта радость.

Когда мы уже простились, Маринка снова окликнула меня.

– Дядя, – сказала она, смущенно улыбаясь, – знаете что, хотите, я вам спляшу?

– Ого! – сказал я. – Ты уже можешь плясать?

– Да! Немножко могу. Но только не здесь. Пойдемте, знаете куда? На задний двор, около помойки...



– Нет, Мариночка, не надо, – сказал я. – Побереги силенки – они тебе еще пригодятся. А спляшешь ты мне знаешь когда? Когда мы доживем до победы, когда разобьем фашистов.

– А это скоро?

Я сказал:

– Да, скоро.

И, сказав это, я почувствовал, что беру на себя очень большое обязательство. Это была уже не игра, это была присяга.

Я видел эту девочку изо дня в день в течение целого месяца. Дело было в самом начале войны, и этим, наверно, объясняется, почему я не познакомился с ней, хотя познакомиться было очень просто – стоило лишь перейти улицу.

Это была причуда – одна из многих, от которых меня и подобных мне излечила война. Наблюдая за девочкой, я постепенно и незаметно сочинил ее биографию, я придумал ей не только характер, но даже имя и фамилию. Мне казалось, что фамилия у нее должна быть простая, русская – Иванова или Петухова, а имя непременно испанское – Терсита, Марианна или Долорес. Настоящего же имени я ее так и не узнал, и видел я ее только издали – из окна моей комнаты, – иногда по нескольку раз в день, иногда всего один раз, а иногда она и вовсе не появлялась, – это зависело от того, сколько раз объявлялась в городе воздушная тревога.

Прохладный августовский день. За окном улица, одна из больших ленинградских магистралей. В эту улицу, как раз против моего окна, упирается переулок. На углу, где когда-то помещалась пивная, расположился теперь штаб местной ПВО. Вход с угла. Никакой вывески или указателя – несколько каменных ступеней, простая дверь, совсем недавно, перед Первым мая, окрашенная...

Жизнь улицы течет мирно и обыденно. Только некоторые мелочи напоминают о том, что где-то далеко, за сотни километров отсюда, идет война.

Вот у подъезда на скамеечке – благообразная старушка в старомодной кружевной наколке вяжет или вышивает что-то. Левая рука у нее перехвачена красной повязкой, на боку сумка с противогазом.

Вот осторожно, как бы на цыпочках, проехал автобус с красными крестами на кузове.

Красноармейцы в выцветших за лето гимнастерках медленно и торжественно, словно какого-то диковинного слона, провели по улице огромную тушу аэростата.

За углом заливается радио – что-то веселое, бравурное и безмятежное.

И вдруг эта беспечная песня обрывается на полуслове. Что-то хрипнуло в репродукторе, секундная пауза, и дикий, надрывный вой сирены оглашает воздух. Механический голос объявляет:

– Внимание! Внимание!..

И не успел механический человек закончить то, что ему надлежит сказать – из раза в раз одно и то же, – улица преобразается. Останавливаются трамваи, авто. В переулке у дощатого забора прячется под желтеющей кроной старого петербургского тополя маленький, пятнистый, как леопардова шкура, пикап. Откуда-то, словно из-под земли, появляются женщины с красными повязками. Старушка в наколке суетится, торопливо складывает недовязанный чулок – на смену ей приходят более молодые товарки.

Минута – и улица пустеет, вымирает и замирает.

И именно в этот момент, когда последний прохожий скрывается в подъезде или под аркой ворот, на улице появляется эта девочка.

Я никогда не видел, чтобы она бегала. Она идет очень быстро, легким и широким спортивным шагом – слегка подавшись вперед стройным и еще не оформившимся корпусом.

Сколько ей лет? Четырнадцать, тринадцать, может быть, меньше.

Она белокурая и, наверно, голубоглазая, но лицо у нее суровое, серьезное, даже сердитое. Волосы стрижены в кружок и ничем не покрыты. Она в вязаной кофточке, из которой уже выросла. Колени голые, чулки, как у альпинистки, замотаны под резинку ниже колен.

Девочка эта – связистка, она разносит последние донесения районного штаба и службы ВНОС, об этом нетрудно догадаться, когда видишь ее ежедневно за одним и тем же делом.

Ни одной потерянной секунды. Четкость и экономия во всех движениях. Переходя переулок, девочка расстегивает сумку, вроде тех, в которых разносят телеграммы. Взлетая (а не взбегая) по лесенке, она вынимает из сумки пакет. Скрывается в штабе, через десять секунд появляется на лесенке, на ходу застегивая сумку, и тем же ровным спортивным шагом быстро переходит переулок в обратном направлении.

Если тревога серьезная, затягивается – девочка с сумкой появляется перед моим окном несколько раз.

Бухают зенитки, с окраин доносятся громовые разрывы фугасок – девочка будто не замечает этого. Может быть, только некоторую усталость чувствуешь в ее походке, в том, как она на ходу откидывает назад светлую прядь с запотевшего лба.

Двенадцать легких широких шагов через переулок, две или три каменные ступени, дверь захлопнулась, дверь снова раскрылась, и, застегивая на ходу кожаную сумку, снова летит вперед милая моя Долорес Петухова.

Потом наступил сентябрь. На подступах к городу, уже совсем близко, шли бои. На улицах строились баррикады. Враг подошел к воротам города, он забрасывал нас снарядами, бомбами и листовками, в которых со свойственной ему наглостью и самоуверенностью называл наше сопротивление безнадежным и предлагал сдаваться...

Полтора месяца я не был дома. Но девочку, которую я назвал Долорес, я не забывал. Каждая воздушная тревога, где бы она меня ни заставала, напоминала мне о маленькой моей землячке, и первая тревога, разбудившая меня дома, тоже заставила меня вспомнить прежде всего о ней.

Полуодетый, боясь пропустить ее появление, я прошел к окну. Был тусклый осенний день. Улица опустела. Молоденький милиционер с карабином за плечом и с плоским металлическим шлемом у пояса загонял последних пешеходов в подъезд углового дома.

Я с напряжением ждал: сейчас появится Долорес. Сейчас я увижу ее, вот-вот она покажется на фоне дощатого забора, где на большом, уже выцветшем плакате рабочий с винтовкой наперевес говорит своим товарищам и братьям: «Не пропустим врага!!!»



Девочки не было. Прошло еще две минуты. К подъезду штаба, изо всех сил работая педалями, подкатил велосипедист – долговязый мальчик в сиреновой футболке. Он бросил велосипед у входа, и, расстегивая на ходу кожаную сумку, торопливо взбежал по ступенькам в штаб. Через минуту он вернулся, сел на машину и уехал.

В этот день было еще несколько тревог, Долорес не появлялась. Ее место занял мальчик в сиреновой футболке. У него было очень симпатичное, мужественное, открытое лицо, и он очень хорошо, по всем правилам тренинга, ездил на велосипеде, но, помню, я смотрел на него с неприязнью.

На другой день вечером я зашел в штаб. Там было очень много женщин, и все они были с красными повязками. Было очень шумно. Меня не сразу поняли – о какой девочке я спрашиваю. Ведь ее звали не Долорес, и фамилия у нее была другая, а не Петухова. А как ее зовут по-настоящему, я не знал. Впрочем, этого никто не знал и в штабе. Она была одна из многих, которые добровольно, по призыву

ленинградского комсомола, пошли на оборонную работу – в санитарные дружины, в истребительные батальоны, в команды связи. Но судьба девочки была этим женщинам известна: прямое попадание. Здесь, совсем близко, за углом, когда она бежала с очередной телефонограммой. Бомба разорвала ее на куски – так что и хоронить было нечего.

У женщин были сухие глаза, к этому времени они уже разучились плакать. Я не мог сомневаться в достоверности их рассказа, две или три из них видели своими глазами – то, что осталось от Долорес.

И все-таки я не поверил им.

За год я насмотрелся всякого: я шагал по трупам и через трупы, я видел искромсанное, растерзанное и поруганное человеческое тело. Но представить себе убитой, мертвой или даже просто неподвижной эту девочку я не мог и не могу. Пробую представить, и не выходит. Зажмурю глаза и вижу ее перед собой – легкую, светловолосую, стройную, маленькую и мужественную, всегда устремленную вперед и только вперед.

## Главный инженер\*

Лейтенант Фридрих Буш, летчик германской разведывательной авиации, и новодеревенский школьник Леша Михайлов в один и тот же день получили награды: лейтенант Буш – железный крест, а Леша Михайлов – медаль «За оборону Ленинграда».

Как сказано было в приказе германского командования, летчик Буш представлялся к награде «за отличную разведывательную деятельность над позициями противника у Ленинграда, в результате чего были обнаружены и уничтожены 12 зенитных установок русских». А Леша Михайлов получил свою медаль как раз за то, что помог немецким самолетам обнаружить эти двенадцать батарей...

Вы, я вижу, удивлены. У вас глаза на лоб полезли. Вы думаете небось, что это ошибка или опечатка. Что ж, выходит, значит, что Леша Михайлов предатель? Почему же тогда он получил советскую награду, а не какой-нибудь тоже медный или оловянный немецкий крест?

А между тем никакой ошибки тут нет. Леша Михайлов получил свою награду по заслугам. А вот за что получил ее лейтенант Фридрих Буш – это дело темное. Хотя – если разобраться – может быть, он и в самом деле неплохо выполнил свою боевую задачу. Ведь он действительно обнаружил на подступах к Ленинграду двенадцать зенитных батарей. Правда без помощи Леша Михайлова и других ребят он черта бы с два обнаружил. А хотя...

Ну да, впрочем, так вы все равно ничего не поймете. Надо все рассказать по порядку.

\* \* \*

Леша Михайлов жил, как я уже сказал, в Новой Деревне. Около их дома – за огородами – был пруд. На том берегу пруда в небольшой рощице стояла зенитная батарея. Почти каждую ночь, когда с финской стороны летели на Ленинград немецкие бомбардировщики, батарея открывала огонь. Конечно, не одна батарея. Их там вокруг было

много. От этого огня в Михайловском доме, как и в других, соседних домах, давно уже не осталось ни одного стекла – окна были заколочены досками или фанерой, или заткнуты подушками. Зато уж и немцам, конечно, тоже доставалось от этого огня!..

Батарея была хорошо замаскирована. В обычное время, когда она помалкивала, не работала, ее не только с воздуха, но и с земли не разглядеть было. Но, конечно, это только взрослые не могли разглядеть. А от ребят разве что-нибудь скроешь?

Ребята еще давно, еще в самом начале войны, когда только появилась у них эта батарея, все, что им нужно было, разнюхали, разведали и знали теперь батарею, наверно, не хуже самих зенитчиков. Знали и сколько там орудий, и какого они калибра, и сколько у орудий прислуги, и кто командир, и где снаряды лежат, и как заряжают, и как стреляют, и как команду подают.

Работала батарея только по ночам. Наутро после налета бомбардировщиков почти всякий раз прилетал в деревню маленький, легкий, похожий на стрекозу немецкий самолет-разведчик «хеншель-126». Иногда он по полчаса и больше кружил над деревней, выискивая и вынюхивая расположение русских зениток.

Но батареи молчали. И «хеншель-126», повертевшись и покружившись, улетал восвояси.

Сначала ребята удивлялись:

– Что ж они не стреляют? Ведь он же прямо совсем на куриной высоте летит! Его с одного выстрела подбить можно!..

Один раз они даже не выдержали и закричали через колючую проволоку командиру батареи, который в это время как раз разглядывал в бинокль вражеского разведчика:

– Товарищ старший лейтенант! Чего ж вы смотрите! Хлопните его из второго орудия. В самый раз будет.





Командир оторвался от бинокля и с удивлением посмотрел на ребят.

– Это что такое? – крикнул он строго. – Вы как сюда попали?!

Ребята переглянулись, и Леша Михайлов за всех ответил:

– Мы так... потихоньку... Замаскировались.

– Ах, вот как? Замаскировались? Ну, так и я вот тоже – маскируюсь. Понятно?

– Ага. Понятно, – сказал, подумав, Леша. – Чтобы, значит, не обнаружили и не засекали?

– Во-во, – сказал командир. – А вообще пошли вон отсюда! Разве не знаете, что сюда нельзя ходить?

– Знаем, – ответили ребята. – Да мы не ходим, мы ползаем.

– Ну и ползайте обратно.

Дня через три, вечером, на батарее была объявлена боевая тревога. Не успел отзвенеть сигнал, как ребята уже сидели на своем

обычном месте – в кустах на берегу пруда. Кто-то из батарейцев их заметил и сказал командиру.

– Ах, вот как? – закричал командир, узнав Лешу Михайлова. – Опять это ты? Ну, погоди, попадись ты мне!..

Леша и товарищи его убежали, но и после, конечно, подглядывали за батарейцами, только стали немного осторожнее.

А в ноябре месяце, перед самыми праздниками, случилась эта самая история, за которую Леша Михайлов с товарищами чуть не угодил в трибунал.

Ну, да, впрочем, не будем забегать вперед. Будем и дальше рассказывать по порядку.

\* \* \*

Выдался как-то очень хороший зимний денек. Снегу насыпало – ни пройти, ни проехать. После школы выбежали ребята на улицу, гулять. Стали играть в снежки. Поиграли немного – надоело. Кто-то предложил лепить снежную бабу. А Леша Михайлов подумал и говорит:

– Нет, ребята, давайте лучше не бабу, а давайте – знаете что? – построим снежную крепость. Или батарею зенитную? С блиндажом и со всем, что полагается.

Затея ребятам понравилась, и вот на пруду, за Михайловскими огородами, по соседству с настоящей зенитной батареей началось строительство игрушечной, снежной и ледяной огневой точки.

Работали ребята весь день – до вечера. Катали снежные комья, возводили стены, брустверы, оружейные площадки... И получилось у них здорово. Все как настоящее. Даже пушку соорудили, и пушка у них была не какая-нибудь, а самая всамделишная – зенитная, из какого-то старого дышла или оглобли, и даже вертелась, и можно было из нее прицеливаться.

Это было в субботу. На следующий день ребята с утра достраивали свою крепость, когда над их головами в безоблачном зимнем небе появился старый новодеревенский знакомый «хеншель-126». На этот раз он прилетел очень кстати. Играть стало еще интереснее.

– Воздух! – закричал Коська Мухин, маленький, веснушчатый пацан по прозвищу «Муха».

– Тревога! – закричал Леша Михайлов. – Товарищи бойцы, по местам!

Он первый подбежал к игрушечной пушке и стал наводить ее на настоящий вражеский самолет.

– По фашистским стервятникам – огонь! – скомандовал он и сам ответил за свою пушку:

– Бах! Бах!

– Бам-ба-ра-рах! – хором подхватили ребята.

А разведчик, как всегда, повертелся, покрутился и, стрекоча своим стрекозинным моторчиком, улетел в сторону фронта.

Ребята еще немного поиграли, потом разошлись.

Лещу Михайлова позвали домой обедать. Он с удовольствием уплетал мятый вареный картофель с соевым маслом и уже собирался попросить у матери добавочки и даже протянул для этого миску, как вдруг миска вылетела у него из рук. Оглушительный удар, а за ним второй и третий прогремели, как ему показалось, над самой его головой. Стены Михайловского дома заходили ходуном, посыпалась штукатурка, на кухне что-то упало и со звоном покатилося. Лешина сестренка Вера диким голосом закричала и заплакала. За нею заплакала Лешина бабушка.

– Бомбят! Бомбят! – кричал кто-то на улице. Там уже работали зенитки, стучал пулемет, и где-то высоко в небе приглушенно гудели моторы немецких пикировщиков.

– А ну – живо – лезьте в подполье! – скомандовала Лешина мать, отодвигая стол и поднимая тяжелую крышку люка.

Бабушка, а за нею Лешины сестры и младший брат полезли в подвал, а сам Леша, пользуясь суматохой, сорвал со стены шапку и юркнул в сени.

Во дворе он чуть не столкнулся с Коськой Мухиным. Муха едва дышал, лицо у него было бледное, губы дрожали.

– Ой, Лешка! – забормотал он, испуганно оглядываясь и шмыгая носом. – Ты знаешь... беда какая...

– Что? Какая беда?

Муха не мог отдышаться.

– Ты знаешь, ведь это... ведь это ж нашу батарею сейчас бомбили!..

– Ну, да! Не ври! – сказал, побледнев, Леша.

– Ей-богу, своими глазами видел. Две бомбы... прямое попадание... и обе в нашу батарею. Одни щепочки остались.

– Сам видел, говоришь?

– Говорю ж тебе, своими глазами видел. Мы с Валькой Вдовиным за водой ходили, увидели и – сразу туда. Я убежал, а он...

– Что?! – закричал Леша и с силой схватил товарища за плечо.

– Его... его на батарею увели. На настоящую, – сказал Муха и, опустив голову, заплакал.

\* \* \*

Немецкие самолеты разбомбили игрушечную крепость и улетели. На батареях прозвучал отбой воздушной тревоги, понемногу успокоилось все и в самой деревне, а Валька Вдовин все еще не возвращался домой.

Леша Михайлов несколько раз бегал к Валькиной матери. Он успокаивал ее, говорил, что видел Вальку «своими глазами», что он жив, что его пригласили в гости зенитчики и угощают его там чаем или галетами.

Но сам Леша не мог успокоиться.

«Ведь это ж я виноват, – думал он. – Это я все выдумал – с этой дурацкой крепостью. А Валька даже не строил ее. Он только сегодня утром из Ленинграда приехал...»

Он уже собирался пойти на батарею и сказать, что это он виноват, а не Валька, когда в дверь постучали и в комнату ввалился сам Валька Вдовин.

– Ага, ты дома, – сказал он, останавливаясь в дверях.

– Дома, дома, заходи, – обрадовался Леша.

– Да нет... я на минутку... я не буду, – пробормотал Валька. – Кто-нибудь у вас есть?

– Нет, никого нет. Бабушка спит, а мама в очередь ушла. Заходи, не бойся.

– Лешка, – сказал Вдовин, не глядя на Лешу. – Тебя, наверно, в трибунал отправят. Судить будут.

– Меня? – сказал Леша. – А откуда ж узнали, что это я?

– Откуда узнали? А это я на тебя сказал.

– Ты?!

– Да, я, – повторил Валька и посмотрел Леше в глаза. – Я сначала отпирался. Говорю: знать ничего не знаю. А потом командир батареи говорит: «Это, наверно, такой чернявенький, с полосатым шарфом... Михайлов его, кажется, зовут?» Ну, я и сказал. «Да, – говорю, – Михайлов». И адрес твой спросил – я тоже сказал.

Леша стоял, опустив голову.

– Так, – выговорил он наконец. – Значит, и адрес сказал?

– Да. И адрес сказал.

– Ну, и правильно, – сказал Леша. – Я бы все равно сам пошел на батарею. Я уже собирался даже.

– Значит, ты не сердишься?

Леша стоял, не глядя на товарища.

– Нет, – сказал он.

Валька схватил его за руку.

– Знаешь что? – сказал он. – А может быть, тебе убежать лучше?

– И не подумаю, – сказал Леша.

Потом он взглянул на Вальку, не выдержал и тяжело вздохнул.

– Как ты думаешь – расстреляют? – сказал он.

Валька, подумав немного, пожал плечами.

– Может быть, и не расстреляют, – ответил он не очень уверенно.

\* \* \*

До вечера Леша Михайлов ходил сам не свой. Прибегали ребята, звали его гулять – он не пошел. Уроков он не учил, отказался от ужина и раньше, чем обычно, улегся спать. Но как ни старался, как ни ворочался с одного бока на другой, заснуть он не мог. Не то чтобы он очень боялся чего-нибудь. Нет, Леша был, как говорится, не из трусливого десятка. Но все-таки, как вы сами понимаете, положение у него было не веселое. Тем более, что он чувствовал себя действительно виноватым. А мысль о том, что судить его будут в

Военном трибунале, как какого-нибудь шпиона или предателя, совсем убивала его.

«Может быть, и в самом деле лучше убежать? – думал он. – Попроюсь как-нибудь на фронт или к партизанам, навру чего-нибудь, скажу, что мне скоро тринадцать лет будет, – может, меня и возьмут. Пойду куда-нибудь в разведку и погибну... как полагается... а после в газетах напишут или, может быть, объявят Героем Советского Союза...»

Но убежать Леша не успел. Перед самым рассветом он забылся и задремал. А в половине восьмого, раньше чем обычно, его разбудила мать.

– Леша! Лешенька! – говорила она испуганным голосом. – Проснись! Сыночек!

– Чего? – забормотал Леша, дрыгая спросонок ногой.

– Вставай скорее. За тобой приехали, тебя спрашивают.

Леша одним махом сбросил с себя одеяло и сел в постели.

– Приехали? Из трибунала? – сказал он.

– Из какого трибунала? Не знаю, военный какой-то приехал. На мотоциклете.

«Эх, не успел убежать», – подумал Леша.

Застегивая на ходу рубашку и затягивая ремешок на животе, он вышел на кухню.

У печки стоял высокий красноармеец в полушубке и в кожаном шоферском шлеме. Он сушил перед печкой свои меховые рукавицы. От них шел пар.

Увидев Лешу, красноармеец как будто слегка удивился. Наверно, он думал, что Леша немного постарше.

– Михайлов Алексей – это вы будете? – сказал он.

– Я, – сказал Леша.

– Одевайтесь. Я за вами. Вот у меня повестка на вас.

– Ой, батюшки-светы, куда это вы его? – испугалась Лешина мать.

– А это, мамаша, военная тайна, – усмехнулся красноармеец. – Если вызывают, значит, заслужил.

У Леша не попадали в рукава руки, когда он натягивал свое пальтишко. Мать хотела ему помочь. Он отстранил ее.

– Ладно, мама. Оставь. Я сам, – сказал он и почувствовал, что зубы у него все-таки слегка стучат и голос дрожит.

– Взять с собой что-нибудь можно? Или не надо? – спросил он, посмотрев на красноармейца.

Тот опять усмехнулся и ничего не сказал, а только покачал головой.

– Поехали, – сказал он, надевая свои меховые рукавицы.

Леша попрощался с матерью и пошел к выходу.

На улице у ворот стоял ярко-красный трофейный мотоцикл с приставной коляской-лодочкой.

Еще вчера утром с каким удовольствием, с каким фасоном прокатился бы Леша Михайлов на виду у всей деревни в этой шикарной трехколесной машине! А сейчас он с трудом, еле волоча ноги забрался в коляску и сразу же поднял воротник и спрятал лицо: еще, не дай бог, увидит кто-нибудь из соседей...

Красноармеец сел рядом в седло и одним ударом ноги завел мотор. Мотоцикл задрожал, зафукал, застучал и, сорвавшись с места, помчался, взметая снежные хлопья и подпрыгивая на ухабах, по знакомой деревенской улице.

\* \* \*

Ехали они очень недолго. Леша и оглянуться не успел, как машина застопорилась и остановилась у ворот двухэтажного каменного дома. У ворот стоял часовой.

Леша огляделся и узнал этот дом. Когда-то здесь был детский сад.

«Это на Островах, – сообразил он. – Вот он, оказывается, где трибунал-то помещается...»

– Вылезай, Алексей Михайлов. Пошли, – сказал ему красноармеец.

«Ох, только бы не заплакать», – подумал Леша, вылезая из кабинки и направляясь к воротам.

Часовой попросил у них пропуск.

– К полковнику Шмелеву, – сказал Лешин сопровождающий и показал повестку. Часовой открыл калитку и пропустил их.

В большой накуренной комнате, где когда-то помещалась, наверное, столовая детского сада, было сейчас очень много военных. Были тут и летчики, и зенитчики, и моряки с береговой обороны. Были и красноармейцы, и офицеры. Кто сидел, кто стоял, прислонившись к стене, кто расхаживал по комнате.

– погоди минутку, я сейчас, – сказал Леше его спутник и скрылся за большой белой дверью. Через минуту он вернулся.

– Посиди, отдохни, тебя вызовут, – сказал он и ушел.

Леша присел на краешке скамейки и стал ждать.

Вдруг белая дверь открылась и из нее вышел Лешин знакомый – тот самый старший лейтенант, командир новодеревенской батареи. Он увидел Лешу, узнал его, но ничего не сказал, нахмурился и пошел к выходу.

А Леша даже привстал от волнения. Он даже не сразу расслышал, что его зовут.

– Михайлов! Михайлов! Кто Михайлов? – говорили вокруг.

– Я Михайлов! – закричал Леша.

– Что же ты не откликаешься? – сердито сказал ему молоденький лейтенант в блестящих, как зеркало, сапогах. Он стоял в дверях с какими-то папками и списками и уже целую минуту выкликал Лешину фамилию.

– Пройдите к полковнику, – сказал он, открывая белую дверь.

«Только бы не заплакать», – еще раз подумал Леша и, стараясь держаться прямо, по-военному, шагнул через порог.

\* \* \*

Пожилой, стриженный ежиком полковник сидел за большим столом и перелистывал какие-то бумаги.

– Михайлов? – спросил он, не глядя на Лешу.

– Да, – ответил Леша.

Полковник поднял глаза и тоже как будто удивился, что Леша такой маленький и тщедушный.

– Н-да, – сказал он, разглядывая его из-под густых и мохнатых, как у медведя, бровей. – Вот ты какой, оказывается. А ну-ка подойди ближе.



Леша подошел к столу. Полковник смотрел на него строго, и седые медвежьи брови его все ближе и ближе сдвигались к переносице.

– Так, значит, это ты построил снежную крепость, или блиндаж, или что там... которую давеча разбомбили «мессеры»?

– Да... я, – прохрипел Леша и почувствовал, что еще минута – и слезы помешают ему говорить. – Только ведь мы не нарочно, товарищ полковник, – прибавил он, стараясь глядеть полковнику прямо в глаза. – Мы ведь играли...

– Ах, вот как? Играли?

– Ага, – прошептал Леша.

– Кто это «мы»?

– Ну, кто? Ребята, одним словом.

– А кто зачинщик? Кто выдумал все это? Под чьим руководством строили?

– Я выдумал. Под моим, – ответил Леша, опуская голову. И тут он не выдержал – слезы прорвались оттуда, где они до сих пор прятались, и заклокотали у него в горле.

– Товарищ полковник... пожалуйста... простите меня, – пролепетал он. – Я больше не буду...

– Это что – не будешь?

– Играть не буду.

– Вот тебе и на! – усмехнулся полковник. – Как же это можно – не играть?

– Ну... вообще... блиндажей не буду строить.

– Не будешь? Самым серьезным образом не будешь?

– Самым серьезным. Вот ей-богу! Хоть провалиться, – сказал Леша.

– Н-да, – сказал полковник. – Ну, а если мы тебя попросим?

– Что попросите?

– Да вот что-нибудь еще построить – в этом же роде. Крепость, или блиндаж, или дзот какой-нибудь.

Леша поднял глаза. Полковник смотрел на него по-прежнему серьезно, не улыбаясь, только брови его разошлись от переносицы, и под ними открылись ясные, немного усталые и воспаленные от долгой бессонницы глаза.

– Видишь ли, дорогой товарищ, какая история, – сказал он. – Оказывается, что в военное время даже играть надо осторожно. Вот построили вы, например, батарею. Отлично, вероятно, построили, если немец ее за настоящую принял. Но построили вы ее где? Рядом с настоящей боевой действующей зенитной батареей. Это тебе известно?

– Известно, да, – чуть слышно проговорил Леша.

– А ведь рядом не только батарея. Тут и невоенные объекты – жилые дома, живые люди.

– Товарищ полковник! – чуть не плача, перебил его Леша. – Да разве ж я не понимаю?!

– Понимаешь, да поздно, – строго сказал полковник. – Задним умом живешь.

– Правильно. Задним, – вздохнув, согласился Леша.

– А между тем, – продолжал полковник, – такие фальшивые, что ли, сооружения, как ваша крепость, нам, военным людям, очень и очень нужны. Они называются у нас ложными объектами. Чтобы замаскировать настоящий объект, отвести противнику глаза и натянуть ему нос, – где-нибудь в стороне строятся поддельные, декоративные, похожие на настоящие и все-таки не настоящие укрепления и сооружения: блиндажи, окопы, ангары, огневые точки, батареи и – все, чего, одним словом, душа пожелает.

Леша давно уже пролотил слезы и слушал полковника с таким вниманием, что даже рот открыл.

– Понятно тебе? – сказал полковник.

– Ага. Понятно, – кивнул Леша.

– Так вот, товарищ Михайлов, не согласитесь ли вы построить нам штук пять-шесть таких ложных объектов?

– Это кто? Это я? – чуть не закричал Леша.

– Да. В общем, ты и товарищи твои.

Леша смотрел на полковника и не понимал, шутит он или нет.

– А из чего строить? Из снега? – спросил он.

– А это уж как вам хочется. Лучше всего из снега, конечно. Во-первых, материал дешевый. А во-вторых, кто же лучше ребят со снегом умеет работать!

– Точно! – согласился Леша.

– Ну, так как же? – сказал полковник.

– Ну что ж, – ответил Леша, для важности почесав в затылке. – Можно, конечно. Только вот боюсь, что, пожалуй...

– Что еще за «пожалуй»?

– Оглобель, боюсь, не хватит.

– Каких оглобель?

– Ну, которые вместо пушек. У нас ведь понарошку было: зенитки у нас не было, так мы – оглоблю вместо нее...

– Понятно, – сказал полковник. – Ну что ж, товарищ Михайлов, оглобель уж мы вам как-нибудь раздобудем. За оглоблями дело не станет.

– Тогда все в порядке, – сказал Леша. – Приказано строить.

Они еще немножко поговорили, и через десять минут красный штабной мотоцикл уже мчал Лешу Михайлова обратно домой.

\* \* \*

А что было дальше – я вам в подробностях рассказать не могу. Где и как строились ложные объекты – это, как вы сами понимаете, очень большая военная тайна. Могу только сказать, что строили их, вместе с Лешей Михайловым, и Коська Мухин, по прозвищу Муха, и Валька Вдовин, и другие новодеревенские ребята. Но Леша Михайлов был у них главным инженером. И в штабе, куда он теперь частенько заглядывал за указаниями и за инструкциями, его так и называли:

«Инженер 1-го ранга Алексей Михайлов».

Работали ребята, в общем, на славу, – иногда, если нужно было, и по ночам работали, забывали пить и есть, не жалели ни сна, ни времени своего, но в школу все-таки бегали, не пропускали, и Леша Михайлов даже умудрился в эти дни получить «отлично» по русскому письменному.

А «хеншель-126» теперь уже не летал в Новую Деревню, а летал туда, где возникали одна за другой новые зенитные точки. Следом за ним прилетали тяжелые «мессеры» и «фокке-вульф» и, не жалея боеприпасов, бомбили снежные блиндажи и деревянные орудия. А ребята сидели в это время дома или в убежище, прислушивались к далеким разрывам фугасок, переглядывались и посмеивались. И взрослые не понимали, чего они смеются, и сердились. Ведь никто не

знал, что немцы бомбят снег. А ребята хранили военную тайну свято, как полагается.

Иногда, если немцы не замечали батарею и долго ее не бомбили, ребятам приходилось достраивать или даже перестраивать ее. Но таких было немного – две или три, а на остальные немцы «клевали», как рыба клюет на хорошую приманку.

В тот день, когда фашистские самолеты разбомбили двенадцатую по счету снежную батарею, Лешу Михайлова с товарищами вызвали в Ленинград, в штаб фронта. Их принял командующий фронтом. Из его рук Леша Михайлов получил медаль, а товарищи его – почетные грамоты, в которых было сказано, что они отличились на обороне города Ленина, «выполняя специальное задание командования».

В этот же день лейтенант Фридрих Буш, командир разведывательного самолета «хеншель-126», получил железный крест. Об этом писали немецкие фашистские газеты. Видели мы там и фотографию этого отважного летчика. До чего же, вы знаете, глупое, самодовольное и счастливое лицо у этого прославленного героя...

Где-то он теперь, этот Фридрих Буш?

А Леша Михайлов жив, здоров, по-прежнему живет в Новой Деревне и учится уже в девятом классе.

## Платочек\*

Недавно я познакомился в поезде с одним очень милым и хорошим человеком. Ехал я из Красноярска в Москву, и вот ночью на какой-то маленькой, глухой станции в купе, где до тех пор никого, кроме меня, не было, вваливается огромный краснолицый дядя в широченной медвежьей дохе, в белых бурках и в пыжиковой долгоухой шапке.

Я уже засыпал, когда он ввалился. Но тут, как он загромыхал на весь вагон своими чемоданами и корзинами, я сразу очнулся, приоткрыл глаза и, помню, даже испугался.

«Батюшки! – думаю. – Это что же еще за медведь такой на мою голову свалился?!»

А великан этот не спеша разложил по полочкам свои пожитки и стал раздеваться.

Снял шапку, вижу – голова у него совсем белая, седая.

Скинул доху – под дохой военная гимнастерка без погон, и на ней не в один и не в два, а в целых четыре ряда орденские ленточки.

Я думаю:

«Ого! А медведь-то, оказывается, действительно бывалый!»

И уже смотрю на него с уважением. Глаз, правда, не открыл, а так – сделал щелочки и наблюдаю осторожно.

А он сел в уголок у окошка, попыхтел, отдышался, потом расстегивает на гимнастерке кармашек и, вижу, достает маленький-премаленький носовой платочек. Обыкновенный платочек, какие молоденькие девушки в сумочках носят.

Я, помню, уже и тогда удивился. Думаю:

«Зачем же ему этакий платочек? Ведь такому дяде такого платочка небось и на полноса не хватит?!»

Но он с этим платком ничего не стал делать, а только разгладил его на коленке, скатал в трубочку и в другой карман переложил. Потом посидел, подумал и стал стягивать бурки.

Мне это было неинтересно, и скоро я уже по-настоящему, а не притворно заснул.

Ну, а наутро мы с ним познакомились, разговорились: кто, да куда, да по каким делам едем... Через полчаса я уже знал, что попутчик мой – бывший танкист, полковник, всю войну воевал, восемь или девять раз ранен был, два раза контужен, тонул, из горящего танка спасался...

Ехал полковник в тот раз из командировки в Казань, где он тогда работал и где у него семейство находилось. Домой он очень спешил, волновался, то и дело выходил в коридор и справлялся у проводника, не опаздывает ли поезд и много ли еще остановок до пересадки.

Я, помню, поинтересовался, велика ли у него семья.

– Да как вам сказать... Не очень, пожалуй, велика. В общем ты, да я, да мы с тобой.

– Это сколько же выходит?

– Четверо, кажется.

– Нет, – я говорю. – Насколько я понимаю, это не четверо, а всего двое.

– Ну что ж, – смеется. – Если угадали – ничего не поделаешь. Действительно двое.

Сказал это и, вижу, расстегивает на гимнастерке кармашек, сует туда два пальца и опять тянет на свет божий свой маленький, девичий платок.

Мне смешно стало, я не выдержал и говорю:

– Простите, полковник, что это у вас такой платочек – дамский?

Он даже как будто обиделся.

– Позвольте, – говорит. – Это почему же вы решили, что он дамский?

Я говорю:

– Маленький.

– Ах, вот как? Маленький?

Сложил платочек, подержал его на своей богатырской ладошке и говорит:

– А вы знаете, между прочим, какой это платочек?

Я говорю:

– Нет, не знаю.

– В том-то и дело. А ведь платочек этот, если желаете знать, не простой.

– А какой же он? – я говорю. – Заколдованный, что ли?

– Ну, заколдованный не заколдованный, а вроде этого... В общем, если желаете, могу рассказать.

Я говорю:

– Пожалуйста. Очень интересно.

– Насчет интересности поручиться не могу, а только лично для меня эта история имеет значение преогромное. Одним словом, если делать нечего – слушайте. Начинать надо издалека. Дело было в тысяча девятьсот сорок третьем году, в самом конце его, перед новогодними праздниками. Был я тогда майор и командовал танковым полком. Наша часть стояла под Ленинградом. Вы не были в Питере в эти годы? Ах, были, оказывается? Ну, вам тогда не нужно объяснять, что представлял собой Ленинград в это время. Холодно, голодно, на улицах бомбы и снаряды падают. А в городе между тем живут, работают, учатся...

И вот в эти самые дни наша часть взяла шефство над одним из ленинградских детских домов.

В этом доме воспитывались сироты, отцы и матери которых погибли или на фронте, или от голода в самом городе. Как они там жили, рассказывать не надо. Паечек усиленный, конечно, по сравнению с другими, а все-таки, сами понимаете, ребята сытые спать не ложились. Ну, а мы были народ зажиточный, снабжались по-фронтовому, денег не тратили, – мы этим ребятам кое-чего подкинули. Уделили им из пайка своего сахару, жиров, консервов... Купили и подарили детдому двух коров, лошадку с упряжкой, свинью с поросятами, птицы всякой: курей, петухов, ну, и всего прочего – одежды, игрушек, музыкальных инструментов... Между прочим, помню, сто двадцать пять пар детских салазок им преподнесли: пожалуйста, дескать, катайтесь, детки, на страх врагам!..

А под Новый год устроили ребятам елку. Конечно, уж и тут постарались: раздобыли елочку, как говорится, выше потолка. Одних елочных игрушек восемь ящиков доставили.

А первого января, в самый праздник, отправились к своим подшефным в гости. Прихватили подарков и поехали на двух «виллисах» делегацией к ним на Кировские острова.

Встретили нас – чуть с ног не сбили. Всем табором во двор высыпали, смеются, «уру» кричат, обниматься лезут...

Мы им каждому личный подарок привезли. Но и они тоже, вы знаете, в долгу перед нами оставаться не хотят. Тоже приготовили каждому из нас сюрприз. Одному кисет вышитый, другому рисуночек какой-нибудь, записную книжку, блокнот, флажок с серпом и молоточком...

А ко мне подбегает на быстрых ножках маленькая белобрысенькая девчоночка, краснеет как маков цвет, испуганно смотрит на мою грандиозную фигуру и говорит:

«Поздравляю вас, дяденька военный. Вот вам, – говорит, – от меня подарочек».

И протягивает ручку, а в ручонке у нее маленький беленький пакетик, перевязанный зеленой шерстяной ниткой.

Я хотел взять подарок, а она еще больше покраснела и говорит:

«Только вы знаете что? Вы этот пакетик, пожалуйста, сейчас не развязывайте. А вы его, знаете, когда развяжите?»

Я говорю:

«Когда?»

«А тогда, когда вы Берлин возьмете».

Видали?! Время-то, я говорю, сорок четвертый год, самое начало его, немцы еще в Детском Селе и под Пулковом сидят, на улицах шрапнельные снаряды падают, в детдоме у них накануне как раз кухарку осколком ранило... А уж девица эта, видите ли, о Берлине думает. И ведь уверена была, пигалица, ни одной минуты не сомневалась, что рано или поздно наши в Берлине будут. Как же тут было, в самом деле, не расстараться и не взять этот проклятый Берлин?!

Я ее тогда на колени посадил, поцеловал и говорю:

«Хорошо, дочка. Обещаю тебе, что и в Берлине побываю, и фашистов разобью, и что раньше этого часа подарка твоего не открою».

И что вы думаете – ведь сдержал свое слово.

– Неужели и в Берлине побывали?

– И в Берлине, представьте, привелось побывать. А главное ведь, что я действительно до самого Берлина не открыл этого пакетика. Полтора года с собой его носил. Тонул вместе с ним. В танке два раза горел. В госпиталях лежал. Три или четыре гимнастерки сменил за это время. А пакетик все со мной – неприкосновенный. Конечно,



иногда любопытно было посмотреть, что там лежит. Но ничего не поделаешь, слово дал, а солдатское слово – крепкое.

Ну, долго ли, коротко ли, а вот наконец мы и в Берлине. Отвоевали. Сломали последний вражеский рубеж. Ворвались в город. Идем по улицам.

Я – впереди, на головном танке иду.

И вот, помню, стоит у ворот, у разбитого дома, немка. Молоденькая еще. Худенькая. Бледная. Держит за руку девочку.

Обстановка в Берлине, прямо скажу, не для детского возраста. Вокруг пожары, кое-где еще снаряды ложатся, пулеметы стучат. А девочка, представьте, стоит, смотрит во все глаза, улыбается... Как же! Ей небось интересно: чужие дяди на машинах едут, новые, незнакомые песни поют...

И вот уж не знаю чем, а напомнила мне вдруг эта маленькая белобрысая немочка мою ленинградскую детдомовскую приятельницу.

И я о пакетике вспомнил.

«Ну, думаю, теперь можно. Задание выполнил. Фашистов разбил. Берлин взял. Имею полное право посмотреть, что там...»

Лезу в карман, в гимнастерку, вытаскиваю пакет. Конечно, уж от его былого величия и следов не осталось. Весь он смялся, изодрался, прокоптел, порохом пропах...

Развертываю пакетик, а там... Да там, откровенно говоря, ничего особенного и нет. Лежит там просто платочек. Обыкновенный носовой платочек с красной и зеленой каемочкой. Гарусом, что ли, обвязан. Или еще чем-нибудь. Я не знаю, не специалист в этих делах. Одним словом, вот этот самый дамский, как вы его обозвали, платочек.

И полковник еще раз вытащил из кармана и разгладил на колене свой маленький, подрубленный в красную и зеленую елочку платок.

На этот раз я совсем другими глазами смотрел на него.

Ведь и в самом деле, это был платочек непростой.

Я даже пальцем его осторожно потрогал.

– Да, – продолжал, улыбаясь, полковник. – Вот эта самая тряпочка лежала, завернутая в тетрадную клетчатую бумагу. И к ней булавкой пришпилена записка. А на записке огромными корявыми буквами с невероятными ошибками нацарапано:

«С Новым годом, дорогой дяденька боец! С новым счастьем! Дарю тебе на память платочек. Когда будешь в Берлине, помаши мне им, пожалуйста. А я, когда узнаю, что наши Берлин взяли, тоже выпляжу в окошечко и вам ручкой помашу. Этот платочек мне мама подарила, когда живая была. Я в него только один раз сморкалась, но вы не стесняйтесь, я его выстирала. Желаю тебе здоровья! Ура!!! Вперед! На Берлин! Лида Гаврилова».

Ну вот... Скрывать не буду – заплакал я. С детства не плакал, понятия не имел, что за штука такая слезы, жену и дочку за годы войны потерял, и то слез не было, а тут – на тебе, пожалуйста! – победитель, в поверженную столицу врага въезжаю, а слезы окающие так по щекам и бегут. Нервы это, конечно... Все-таки ведь победа сама в руки не далась. Пришлось поработать, прежде чем наши танки по берлинским улочкам и переулочкам прогромыхали...

Через два часа я у рейхстага был. Наши люди уже водрузили к этому времени над его развалинами красное советское знамя.

Конечно, и я поднялся на крышу.

Вид оттуда, надо сказать, страшноватый. Повсюду огонь, дым, еще стрельба кое-где идет. А у людей лица счастливые, праздничные, люди обнимаются, целуются...

И тут, на крыше рейхстага, я вспомнил Лидочкин наказ.

«Нет, думаю, как хочешь, а обязательно надо это сделать, если она просила».



Спрашиваю у какого-то молоденького офицера:

– Послушай, – говорю, – лейтенант, где тут у нас восток будет?

– А кто его, – говорит, – знает. Тут правую руку от левой не отличишь, а не то что...

На счастье, у кого-то из наших часы оказались с компасом. Он мне показал, где восток. И я повернулся в эту сторону и несколько раз помахал туда белым платочком. И представилось мне, вы знаете, что далеко-далеко от Берлина, на берегу Невы, стоит сейчас маленькая девочка Лида и тоже машет мне своей худенькой ручкой и тоже радуется нашей великой победе и отвоеванному нами миру...

Полковник расправил на колене платок, улыбнулся и сказал:

– Вот. А вы говорите – дамский. Нет, это вы напрасно. Платочек этот очень дорог моему солдатскому сердцу. Вот поэтому я его с собою и таскаю, как талисман...

Я чистосердечно извинился перед своим спутником и спросил, не знает ли он, где теперь эта девочка Лида и что с нею.

– Лида-то, вы говорите, где сейчас? Да. Знаю немножко. Живет в городе Казани. На Кировской улице. Учится в восьмом классе. Отличница. Комсомолка. В настоящее время, надо надеяться, ждет своего отца.

– Как! Разве у нее отец нашелся?

– Да. Нашелся какой-то...

– Что значит «какой-то»? Позвольте, где же он сейчас?

– Да вот – сидит перед вами. Удивляетесь? Ничего удивительного нет. Летом сорок пятого года я удочерил Лиду. И несколько, вы знаете, не раскаиваюсь. Дочка у меня славная...

## Индиан Чубатый\*

Когда у Володьки Минаева умерла мать и отец его, вернувшийся с фронта, ушел плотничать за четыре километра, в Мичуринский питомник, учительница Елизавета Степановна уговорила мальчика остаться в школе. Чем он ей так понравился – трудно сказать. Прилежанием Володька не отличался, учился то вверх, то под гору, любил и пошалить и подраться, а главное – был такой врун, выдумщик и балаболка, каких не только в Федосьине, но, пожалуй, и во всем Старолломском районе от века не бывало.

Что-что, а уж насчет вранья он действительно был первый мастер. То вдруг придет и скажет, что к ним в гости приехал из Москвы дядя-генерал. То выдумает, будто отец его нашел в лесу золотой топор, за который в музее давали десять тысяч рублей. То сам принесет в класс какой-нибудь камешек или кусок глины и объявит, что это не простой камень и не простая глина, а фосфорические; они, будто бы, по ночам светятся, надо только умеючи на них глядеть – через копченное стекло.

Ребята посмеивались над Володькой, считали его чудачком. С усмешкой поглядывали на него и взрослые. И в колхозе и в школе все почему-то звали его Индиан Чубатый. Откуда это пошло, кто и когда первый его так назвал, – неизвестно, только прозвище это быстро к Володьке прилепилось: было в нем действительно что-то и петушиное и голубиное вместе...

И только учительница никогда не смеялась над Володькой, терпеливо тащила мальчика из класса в класс и не отпустила его из школы даже тогда, когда они с отцом оставили колхоз и переселились в Мичуринский питомник. Из этого питомника Володька и бегал день за днем на своих быстрых петушиных ножках в федосьинскую начальную школу. Год бегал, а осенью второго года, когда учился он уже в последнем, четвертом классе, случилась с ним эта история, которая переломала ему все косточки и из которой вышел он, как Еруслан Лазаревич в сказке, совсем другим человеком.

Один раз осенью, в начале октября, Володька не сделал домашнего задания по арифметике. Учительница на уроке вызвала его и спросила, почему он не сделал этого задания. Володька спокойно мог сказать правду: накануне они с отцом дотемна пилили дрова. Но он почему-то правды не сказал, а тяжело вздохнул, посмотрел под ноги и слабым жалобным голосом выдавил из себя:

– У меня, Елизавета Степановна, жар. Я, вы знаете, даже бредил сегодня ночью.

– Вот как? У тебя, что ж, – температура?

– Ага, – прохрипел Володька.

– Сколько же у тебя?

И Володька, не покраснев и ни одной секундочки не подумав, ляпнул:

– Сорок два с лишним.

Учительница посмотрела на него, нахмурилась и ничего не сказала. А после урока вызвала мальчика в учительскую, посадила на стул и велела дать руку. Володька испугался, но все-таки руку протянул. Учительница нащупала у него на руке жилку, помолчала, пошевелила губами, потом, отпустив Володькину руку, печально посмотрела на мальчика и сказала:

– Зачем ты, Минаев, так часто врешь?

– Не знаю, Елизавета Степановна, – ответил Володька, опуская голову. – У меня как-то само это получается. Скучно, если говорить правду...

– Глупости! – рассердилась учительница. – Скучно! Просто у тебя язык не тем местом привешен. Ты почему скажи мне, пожалуйста, вчера задачек не сделал? В волейбол небось играл?

– Нет. Не играл, – сказал Володька.

– А почему?

Володька посмотрел в сторону, вздохнул и ответил:

– Скучно было. Неохота.

– Ах, вот как? Неохота? Скучно?!

Володьке показалось, что учительница сейчас закричит на него или штопает ногами. Но она не закричала и не затопала, а сказала совсем спокойно, даже спокойнее прежнего:

– Не всегда, Володя, мы делаем то, что нам хочется. У всякого человека есть обязанности. И если мы честно, по мере наших сил

выполняем эти обязанности – нам не может быть скучно.

Учительница посмотрела на мальчика, усмехнулась и покачала головой.

– Ах, Минаев, Минаев, – сказала она. – И верно, ты у нас чубатый какой-то. Ну, иди в класс. Пока не сделаешь всех задачек, домой не пойдешь. Понял?

– Есть, Елизавета Степановна. Понял. Спасибо, – сказал Володька и побежал в класс.

Ребята уже разошлись. Он сел за парту и, посвистывая, стал раскладывать свои тетрадки и листочки с заданием.

«Ничего, это мы быстро, – думал он, перечитывая условия задач. – Восемь штук только. Это мы в полчаса оттяпаем».

Он уже сделал две задачи из восьми заданных, когда услышал за окном на улице густой хриплый голос:

– Бутылки, банки, кости, тряпки покупаю! Мослы покупаю!..

Володьке, конечно, захотелось посмотреть, кто это кричит. Он открыл окно и высунулся наружу.

Высокий дядя с черной, как у цыгана, бородой катил по улице дребезжащую, похожую на сундук тачку и, задирая по-бычьей голову, на всю деревню орал:

– Бутылки, банки покупаю! Кости покупаю! Старые сапоги, войлок покупаю!..

– Дяденька! – окликнул его из окна Володька. – А вы почему кости покупаете?

– А у тебя что, есть разве? – сказал, останавливаясь, утильщик.

– У меня есть, только дома. Вы после в Мичуринский поселок не пойдете?

– Буду, – сказал бородач.

– Зайдите тогда, пожалуйста, к нам, в тринадцатый дом, около пожарного сарая.

– А у тебя что, много их?

– Это чего? Костей-то? Много. Пуда три, наверно.

– Ладно, зайду, посмотрим...

– Нет, вы сначала скажите, – почему вы платить будете?

– Не бойся, не обману. Если товар хороший, по двугривенному за кило посчитаю...

Утильщик поплевался на руки и покатил свой сундук дальше, а Володька – Володька не мог уже больше заниматься. Он забыл и о сукнах, и о бассейнах, и о встречных поездах, которые идут из пункта А в пункт Б... Теперь он мог думать только о костях.

Он выдрал из тетради листок, окунул в чернильницу перо и стал торопливо подсчитывать:

– В пуде шестнадцать кило. Шестнадцать на три – сорок восемь. И еще на двадцать... Видали?! Это ж почти десять рублей! Целый капитал! За эти деньги можно, пожалуй, голубя купить, а если умеючи, так и не одного, а парочку...

И он так ясно представил себе двух маленьких сизых турманчиков, которые, ласкаясь и расправляя перышки, сидят у него на гребне крыши, что даже губами зачмокал и забормотал что-то вроде «гуль-гуль-гуль»...

Но тут его взял страх: а что если утильщик приедет, а его дома не будет? Это что же, – значит, прощай, голуби? Нет, нужно скорей кончать.

Он снова разложил тетради. Но теперь никакая арифметика уже не лезла в голову. В голове были только голуби.

Он прошел в соседний класс, выпянул из окна во двор. На дверях кирпичного домика, где жила Елизавета Степановна, висел замок, – наверно, учительница ушла на огород копать картошку.

«Э, ладно, – подумал Володька, возвращаясь в класс и кое-как запихивая в сумку свои книги и тетради. – Что же я, в самом деле, ждать ее буду, что ли? Сделаю задачки дома, а завтра скажу, будто сидел, сидел и не дождался».

И чтобы не терять времени, он перемахнул через подоконник на улицу и через десять минут уже бежал по федосьинским задворкам, размахивая своей холщовой сумкой и не думая о том, какие новые беды и напасти ждут его впереди.

\* \* \*

Отца не было. Володька воспользовался этим и облазил весь дом. На чердаке, в кладовке, на помойной яме, в холодной подклети он



набирал килограмма два старых, сухих и легких, как прошлогодний тростник, мослов.

С голубями ничего как будто не получалось. Два килограмма – это всего сорок копеек, а за сорок копеек и воробья небось не купишь.

«Ничего... постепенно поднакопим», – утешая себя, думал Володька.

До вечера он ждал бородатого утильщика, побаиваясь немножко, что тот заругается, когда увидит, что костей так мало. Он уже придумал, как будет врать: будто костей у него оказалось четыре с лишним пуда, будто он честно ждал, но тут вдруг приехал другой утильщик и купил, выпросил у него эти кости, заплатив по сто рублей за пуд.

Врать ему, однако, не понадобилось, – утильщик не приехал.

За всеми этими делами Володька совсем забыл про сукна и бассейны. И только вечером, за ужином, когда отец по обыкновению спросил у него, выучил ли он уроки, Володька вспомнил, что ему еще нужно решить шесть задачек.

Не допив чая, он вытащил из сумки задачник и тетрадки и сел заниматься.

С грехом пополам одолел он первую задачу – про яблоки, которые делили между собой четыре брата и неизвестно сколько сестер. Оказалось, что сестер было еще больше – целых шесть.

Володьке надо бы сразу переходить к следующей задаче – про самолет и поезд, которые в один и тот же час отбыли из пункта А в пункт Б, но он почему-то все продолжал думать про этих братьев и сестер: вот небось весело жить в таком большом семействе! Ведь это подумать только – целых десять ребят в доме!..

«В один и тот же час из пункта А в пункт Б отбывают самолет и поезд. Самолет летит со средней скоростью 365 километров в час, поезд за это же время проходит...»

Глаза у Володьки слипались. Перо само собой выписывало вместо цифр какие-то закорючки с хвостиками.

«Значит, постойте, что же выходит? Поезд летит со средней скоростью... Тьфу. Самолет летит, а не поезд... Куда же он летит? И какой самолет – большой или маленький? Вот насажать бы туда всех десять братьев и сестер! Вот небось весело было бы... А потом все на парашютах – прыг, прыг – вниз».

На полях задачника Володька нарисовал самолет и десять маленьких парашютиков. Потом изобразил другой самолет – фашистский. Потом подрисовал внизу пушку, из которой палят по фашистскому самолету. Потом голова его упала на задачник...

Когда он очнулся, за окном было так тихо и так темно, как бывает только ночью в деревне.

«Наверно, часа два уже», – подумал Володька и зевнул при этом так сладко и так широко, что даже под ложечкой у него закололо.

«Э, ладно, – подумал он, поднимаясь и сгребая в кучу свои учебники и тетради. – Все равно ничего не выйдет у меня, – только даром мучить себя буду. Утречком пораньше встану и сделаю».

Конечно, ничего другого ему и не оставалось делать. Но все-таки это был еще один маленький шаг на том гибельном пути, по которому несла Володьку весь день его непутевая голова.

Разбудил Володьку отец.

– Эй, спящая красавица, вставай, зиму проспичь!..

Володька открыл глаза, повернулся, посмотрел и ахнул. За окном, в синеватых утренних потемках, неслышно и неторопливо падал легкий, белый, пушистый, первый в этом году снежок. И такой чистой свежестью повеяло от этого раннего снегопада, так живо представилась Володьке вся прелесть наступающей зимы и все предстоящие зимние радости – и лыжи, и коньки, и катание с гор, и елка, и снежки, и снежные бабы с чугунами на головах и с метелками под мышкой, – что он даже взвизгнул от восторга, скинул с себя одеяло и через минуту уже стоял в сенях у рукомоиника, шумно плескался и напевал что-то такое, чего и сам не мог бы пересказать словами.

Но когда, растирая полотенцем лицо, он вернулся в комнату и увидел на столе, у окна свою холщовую сумку и сбитые в кучу учебники и тетрадки, от хорошего настроения его сразу ничего не осталось. Он вспомнил, что до школы ему нужно решить еще целых пять задач.

– Батя, сколько время? – крикнул он.

– Восемь без четверти, – с набитым ртом ответил из кухни отец.

«Ничего, еще успею, – с облегчением подумал Володька. – Минут двадцать еще в запасе есть. А там бегом по снежку как припущу – в самый раз успею».

Голова у него была ясная. Он вспомнил задачу про самолет и поезд и, не заглядывая в учебник, понял, как она решается: 365 разделить на пять – получится, сколько проходит за час поезд. А там помножить на пятнадцать – вот и выйдет расстояние.

Отец уже сидел за столом, завтракал. На столе дымился котелок с вареным картофелем и шипел, поблескивая, большой медный чайник.

Володька поздоровался, присел у краешка стола и тоже потянулся за картошками.

– Ты что же это, Соня Ивановна? – нахмурился отец.

– Уроков очень много, – вздохнул Володька. – Я вчера до трех часов ночи занимался.

Отец посмотрел на него и вдруг, подавившись картофелиной, откинулся на спинку стула.

– Э! погоди! Постой! – воскликнул он. – Что это у тебя?

– Где? Что? – не понял Володька.

– Да на лбу.

Отец хлопнул себя по коленке и громко захохотал.

– Братцы мои! Да это кто же тебе штемпелей-то на лбу понаставил?

– Каких штемпелей?

Володька пощупал лоб, ничего не нащупал, вскочил и подбежал к зеркалу. Действительно, весь лоб у него был густо изгвожден какими-то синими и лиловыми крестиками, палочками и кружками.

– Что это? – повторил отец.

– Не знаю, – с испугом ответил Володька.

– Как это не знаешь? Что же это тебя, черти, что ли, во сне разрисовали? А ну, иди умойся, живо!

Минут пять тер Володька серым хозяйственным мылом лоб. Наконец, когда лоб у него запылал, как будто его горчицей смазали, он выплянул в комнату:

– Отмылось?

– Да, да, отмылось, дожидайся, – рассердился отец. – Ты что в самом деле – клоун какой-нибудь, людей смешить собрался?

– Я же не виноват, что не отмывается, – захныкал Володька. – Что же мне – кожу сдирать?

– Если мыло не берет, – возьми кирпичом потри, которым посуду чистим.

И еще пять минут надраивал Володька лоб красным толченым кирпичом.

Отец ушел на работу. Проходя мимо Володьки со своим плотничьим ящиком под мышкой, он сказал:

– Как следует, как следует. С песочком...

– Я же в школу опаздываю! – чуть не плача, прокричал Володька.

– Ничего, не бойся, если рысцой побежишь, – успеешь.

И, конечно, успел бы Володька, если бы не эти проклятые задачи.

«Ничего, – думал он, вытирая полотенцем лицо. – Опоздаю немножко... Скажу, что дрова с отцом пилили или, еще лучше, будто снег перед домом разгребали. Будто нас ночью под самую крышу снегом занесло. А задачки мы эти в два счета оттяпаем».

Но и на этот раз не удалось Володьке оттяпать задачек.

С мокрой еще головой, с полотенцем на шее он присел к столу, отыскал листочек с заданием, торопливо перелистал учебник и – чуть не полетел со стула.

Обе страницы учебника, – именно те, где были напечатаны заданные на сегодня задачи, во многих местах были заляпаны жирными темно-лиловыми чернилами.

Только тут Володька сообразил, какие «черти» наставили ему на лбу крестиков и кружков. Это были те самые парашютики и самолеттики, которые нынче ночью он рисовал на полях задачника и которые так неудачно промакнул своим чубатым лбом.

«Что же мне делать?» – подумал Володька, схватившись руками за голову.

Разобрать что-нибудь в условиях задач было совершенно невозможно, – лиловые пятна, как нарочно, стояли в самых нужных местах.

А за окном тем временем совсем рассвело. Снег уже перестал падать. Показалось солнышко.

Володька посидел, подумал, оделся, уложил в сумку учебники и тетрадки, запер на ключ квартиру и побежал в школу.

\* \* \*

Да, на это у него хватило ума.

«Ну что ж, – думал он, – не убьет ведь меня Елизавета Степановна?!»

И, конечно, она бы его не убила, если бы пришел он к звонку или с маленьким опозданием в класс, снял бы в дверях свою серую, в клеточку кепку, поклонился бы как полагается и сказал: «Простите меня, пожалуйста, уважаемая Елизавета Степановна, я не послушался вас вчера, не сделал задачек, убежал из школы и дома проканителелся, – вместо задачек костями занимался... Накажите меня, если я заслужил того, а я вам к завтраму вместо восьми – двадцать восемь задач решу!..»

Ну, что бы, в самом деле, учительница сделала с ним? Ну, обругала бы его, распекла бы его на все корки, в крайнем случае двойку по поведению вlepила бы. А скорее всего простила бы ему – за то, что он правду сказал.

Но в том и беда, что Володька не любил и не умел говорить правду. Выходя на улицу, он уже обдумывал, как бы ему получше и поинтереснее соврать учительнице.

«Скажу, что болен был... будто у меня грипп или, скажем, скарлатина. Хотя – нет, с этим не выйдет... Опять небось пульс будет мерять. Лучше, пожалуй, сказать, что не я, а отец болен. Будто меня вчера экстренно вызвали из школы в совхоз, когда я задачки решал...»

А впрочем, Володька не очень-то задумывался о том, что с ним будет. Такой славный выдался денек, так весело, празднично белел и похрустывал под ногами молодой чистый снежок, так аппетитно, вкусно, по-зимнему пахло на улице дымом, что и думать не хотелось о школе, о занятиях, о скучном, по-осеннему темном классе, где пахнет чернилами и мелом, где жужжат под потолком последние мухи и где ждут Володьку одни неприятности.

И все-таки он бежал, торопился, хотя вокруг было очень много соблазнов: хотелось и снег попробовать, – вкусный ли он и лепятся ли из него снежки, и прокатиться по замерзшей за ночь лужице или хотя бы пробить каблуком молодой тонкий ледок, и поинтересоваться, чем торгуют нынче в ларьке, с окна которого толстая продавщица в коротеньком белом халате в это время как раз снимала ставень.

Только на одну минутку остановился Володька на мосту у запруды – посмотреть, хорошо ли застыла вода в речке.

И вот эта-то одна минута и погубила его.

Не успел он кинуть с моста камень и убедиться, что вода застыла неважно, так как камень насквозь пробил лед, как откуда-то, как черт из бутылки, вынырнул маленький Митюха Кунин, сын директорского шофера.

– Эй, Индиан! – закричал он. – Ты почему не в школе?

Володьке бы надо сказать, что он опаздывает, и бежать дальше, а он оглянувшись, прищурившись посмотрел на Митюху и, совсем не думая о том, что говорит, сказал:

– Я уже был.

– Как был?

– А так, очень просто.

– Вы что – не занимаетесь?

– Ага, не занимаемся. У нас скарлатина.

Митюха с испугом посмотрел на Володьку и даже попятился от него.

– Ой, ты тогда не подходи ко мне!

– Ничего, не бойся, – важно сказал Володька. – Я могу подходить. Мне укол сделали.

Он подошел ближе к Митюхе, нагнул голову и приподнял козырек своей клетчатой кепки.

– Видал?

– Ой, господи! – ужаснулся Митюха. – Так прямо в лоб и кололи?

– Ага.

– Больно было?

– Тебя бы так.

Митюха со страхом и уважением посмотрел на Володьку и сказал:

– Знаешь чего? Пойдем тогда смотреть, как саперы мины взрывают.

– Это где?

– Ну, где? Что ты – не знаешь? На Коневьем поле! Там же каждый день саперы работают.

Митюхе, конечно, – тому было хорошо: он учился в поселковой семилетке, да еще во вторую смену. Ему в самый раз было ходить смотреть, как саперы мины взрывают. А Володьке... Впрочем, Володька ни о чем больше не думал.

– А что ж, – сказал он, напяливая на лоб кепку. – Давай пошли...

Вообще-то, конечно, это очень интересно – посмотреть, как настоящие мины взрываются.

\* \* \*

Все утро они таскались с Митюхой за саперами, переползая попластунски из канавы в канаву и стараясь, чтобы их не заметили, потому что ходить по Коневьеву полю было строго запрещено.

Самое обидное, что ни одной мины в этот день саперы не нашли и никаких взрывов не было.

К двум часам Митюха побежал в школу, а Володька, побродив по лесу, постоял еще на мосту у мельницы, кинул в воду еще два или три камня, замерз и поплелся домой.

Часа полтора он оттирал кирпичом и отмывал мылом лоб, но так и не отмыл, – маленькие пятнышки все-таки на лбу остались. Потом попробовал стереть чернильные пятна в учебнике: извел весь ластик – и тоже ничего не вышло, только протер в двух местах бумагу. Расстроившись, он лег с ногами на кровать и минут двадцать лежал, разглядывая потолок и думая о том, какой он несчастный и незадачливый человек.

«Почему это у меня так получается?» – думал он.

«Язык не тем местом привешен», – вспомнил он слова учительницы.

Не поленившись, он встал, прошел к зеркалу и долго стоял с разинутым ртом и вертел во все стороны голову, стараясь рассмотреть, как это у него не так привешен язык. Оказалось, что язык висит правильно, как и у других людей.

Проголодавшись, он съел кусок хлеба, несколько картошек и помидорину. Потом вспомнил, что скоро придет отец, схватил ведро и побежал за водой.

На улице, против их дома, работали монтеры, вешали на столбах электрические провода. Не добежав до колодца, Володька остановился и стал смотреть, как ловко лазают по столбам рабочие, у которых к ногам были привязаны особые железные когти.

«Эх, мне бы такие!» – подумал Володька и уже хотел подойти и спросить, где и почему продаются такие когти, как вдруг увидел отца.

Отец, как всегда с работы, шел веселый, посвистывая и размахивая своим брэнчащим ящичком.

«Ничего, ругаться, наверное, не будет», – подумал Володька и, подхватив ведра, со всех ног кинулся навстречу отцу.

– За водой бегу, – еще издали крикнул он, хотя и без того было видно, что бежит он не за пряниками и не за колесной мазью.

– А поздно ты, брат, – сказал, останавливаясь, отец.

– Да, «поздно»! – обиделся Володька. – Только что пришел. Дна урока лишних сегодня было.

Когда, расплескав половину воды, он вернулся домой, отец возился на кухне, разжигал примус.

– Ну, как дела, четвероклассник? – спросил он.

Володька поставил ведра, вздохнул, потупился и скромно ответил:

– Да так. Ничего. Пятерочку по письменному русскому получил.

\* \* \*

На другой день Володька опять не пошел в школу.

Все утро проторчали они с Митюхой Куниным на Коневьем поле, вымазались, проголодались, промочили ноги. Кончилось тем, что солдаты заметили их и прогнали, да еще пригрозили отправить куда следует.

День опять выдался непогожий, за ночь наволокло туч, снег растаял, от вчерашней зимы ничего не осталось.

Месить на улице грязь было неинтересно. До обеда ребята сидели у Куниных, играли в шашки, причем Володька все время проигрывал, сердился и кричал на Митюху, что тот портач и не умеет играть.

Потом Митюха пообедал, оделся и ушел в школу. Надо было уходить и Володьке, но идти ему не хотелось, – на дворе хлестал дождь, а ботинки у него и без того были насквозь мокрые.

Болтая зазябшими ногами, он сидел на табуретке у плиты в тесной кунинской кухне, смотрел, как Митюхина мать стирает в железном корыте белье, и рассказывал ей, что у них в школе – скарлатина, что две девочки уже померли, а один мальчик по фамилии



Спичкин вот-вот умрет, если за ним не успеют прислать санитарный самолет, который уже вызвали по радио из Рязани.

Митюхина мать ни одному Володькиному слову не верила, но все-таки из вежливости прислушивалась, вздыхала и, тиская в корыте белье, жалостливо приговаривала:

– О господи, страсти какие!..

Володька видел, конечно, что мешает и надоел ей, помнил, что скоро вернется отец и что нужно еще успеть сходить за водой и за хлебом, и все-таки не уходил, сидел, пересаживался с табурета на табурет и продолжал городить всякую небывальщину.

Наконец Митюхина мать не выдержала и спросила, не пора ли ему идти обедать. От голода у Володьки давно уже сводило челюсти, но он храбро помотал головой и ответил:

– Да нет, не хочется что-то... Я ведь, вы знаете, тетя Нюша, только что перед вами целых пол-арбуза съел!..

И он завел было длинный рассказ про необыкновенный двухпудовый арбуз, который отец его получил в премию от самого директора, но посмотрел на Митюхину мать, вздохнул и взялся за шапку.

Минут пять он стоял на кунинском крыльце, слушал, как стучит дождь о железную крышу, и думал о том, какой он несчастный человек: даже погреться как следует не дадут, гонят, как собаку бездомную...

И как раз, когда он подумал об этом, в кунинский сад забежала с улицы маленькая, похожая на лисенка собака. Володька даже испугался, когда увидел перед собой это жалкое рыжее существо.

– А ну, пошла! – закричал он, нагибаясь и делая вид, что берет с земли камень или палку.

Собака не испугалась, отбежала в сторону, присела и стала ждать, что будет дальше.

– Пш-шла! Кому говорят?! – еще громче закричал Володька, сбежал с крыльца и, схватив с земли кусок кирпича, кинулся за собакой.

Собака заметалась по саду, нашла выход и юркнула в калитку.

Володька помчался за ней, в калитке споткнулся о какую-то доску или корень, еще больше обозлился, размахнулся кирпичом – и вдруг увидел учительницу Елизавету Степановну.

Учительница шла по другой стороне улицы. Когда Володька закричал на собаку, она оглянулась. Но Володька успел вовремя отскочить и спрятаться за деревом. Учительница постояла, посмотрела и пошла дальше.

«К нам идет, – подумал Володька и почувствовал, как холодная струйка пробежала у него по спине – от затылка к пояснице. – Ох, так и есть... За угол свернула!»

Он добежал до конца улицы и осторожно, как вор, выпянул из-за угла забора. Елизавета Степановна уже стояла у крыльца их дома и, поставив ногу на ступеньку, счищала палочкой грязь с ботинка.

Володька смотрел на нее и чувствовал, как от страха, от жалости к себе и от ненависти к учительнице у него пересыхает горло и начинают дергаться губы.

«Тоже! – подумал он. – Еще учительница называется!.. За четыре километра по грязи притащилась – ябедничать! Делать ей больше нечего...»

И все-таки маленькая надежда на чудо еще теплилась в его душе. А вдруг учительница почистит ботинки, постоит, отдохнет и пойдет дальше?..

Но нет, чуда не получилось. Учительница дочистила ботинки, вытерла платком руки и стала подниматься на крыльцо.

На одну секундочку мелькнула где-то в закоулках Володькиной головы мысль: а что если побежать, опередить учительницу, не дать ей слова сказать, а самому первому встать и повиниться во всем: дескать, да, виноват, обманул и вас, Елизавета Степановна, и тебя, батя... Поругайте меня, накажите как полагается, а я прятаться не хочу, я не трус, я не какой-нибудь, а – пионер, советский школьник.

Конечно, так ему и следовало поступить. Но он только подумал об этом, а сделать не сделал.

«Нет, – сказал он себе. – Уж теперь поздно».

В это время откуда-то из-за пожарного сарая опять выскочила рыжая собачонка. Заметив, что в руке у него все еще зажат грязный кирпичный огрызок, Володька размахнулся и изо всей силы пустил этим кирпичом, – да не по собаке, а себе под ноги, по дождевой луже.

– Во! Так и надо, – сказал он, морщась и вытирая забрызганное и заляпанное грязью лицо. Потом постоял, подумал, повернулся и зашагал к мельнице.

\* \* \*

Спешить ему было как будто и некуда теперь, а все-таки шел он почему-то очень быстро. Только у продуктового ларька он слегка замедлил шаги и даже приостановился на минутку, – очень уж вкусно пахнуло оттуда печеным хлебом, колбасой, селедками, обсыпными сахарными подушечками...

«Эх, жалко, кости не продал еще!» – со вздохом подумал Володька.

Под мостом, на деревянном тычке прилежно висела повешенная там еще утром холщовая Володькина сумка. Он деловито пощупал ее – не подмочил ли ее дождь, – потом сунул в сумку руку и пошарил – не завалилась ли, на счастье, где-нибудь между книгами корочка или кусок сахара?

В это время над головой у него послышался какой-то жалобный визг. Он испуганно посмотрел наверх, ничего не увидел и поспешил выбраться наружу.

На берегу, у обочины дороги, сидела и ждала его, сиротливо поскуливая, рыжая собака.

– Ведь вот подлая тварь! – рассердился Володька. – И чего ты, скажи пожалуйста, ко мне прилепилась?! А ну, убирайся!..

Он опять замахнулся на собаку сумкой.

Собака отбежала в сторону и опять присела.

Володька пошел по дороге, отошел шагов двадцать и оглянулся. Собака бежала за ним, помахивая как ни в чем не бывало пушистым хвостиком.

Володька хотел еще раз закричать на нее, но в эту минуту опять одуряюще-сладко дохнуло на него колбасой, хлебом, копчеными селедками... Голова у него закружилась, в животе забурчало. Не думая о том, что он делает, он подошел к ларьку, привстал на цыпочки и тоненьким, не своим голосом сказал:

– Тетенька, у вас огрызок какого-нибудь не найдется – собаке?

– Какой собаке?

– А вот... песик у меня.

Толстуха-ларечница с усилиями высунулась из окошка.

Маленькая тощая собачонка сидела у Володькиных ног и, закинув остренькую морду, уныло, без всякой надежды смотрела на колбасу, баранки и прочую снедь, висевшую над головой продавщицы.

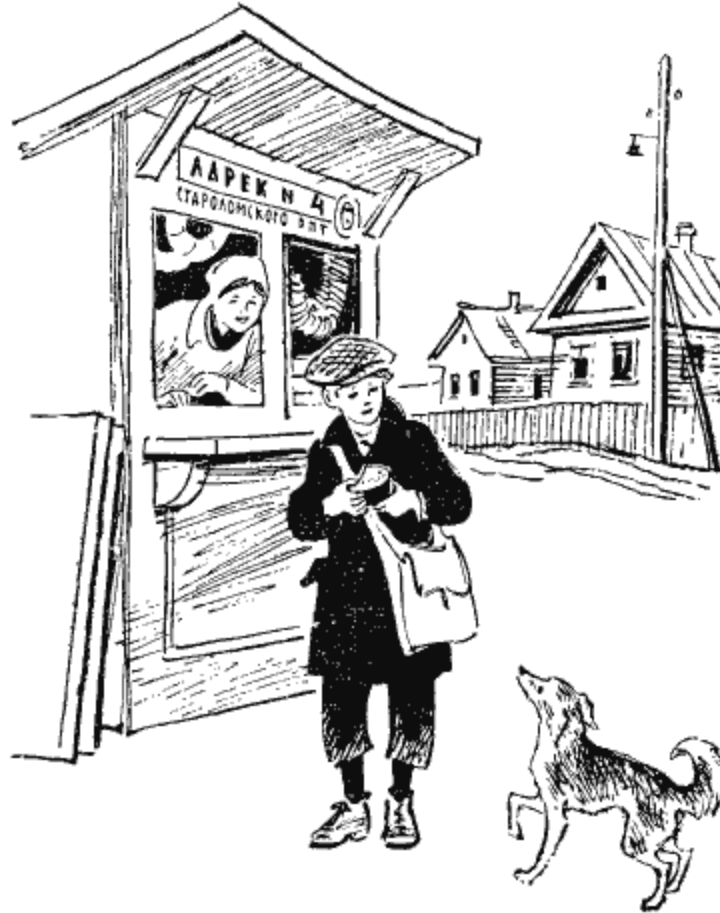
– Да как же тебе не стыдно, мальчик! Ты, наверно, совсем не кормишь своего песика? – воскликнула продавщица.

– Да! Кормишь! – мрачно усмехнулся Володька. – Разве ее накормишь, обжору!

– Ну, на, на, возьми, пожалуйста, – заторопилась ларечница, поискала в хлебных обрезках и протянула Володьке порядочную горбушку черного хлеба.

Он отошел от ларька, воровато оглянулся и, отщипывая на ходу кусочки, стал торопливо есть. Собака молча бежала рядом, так же безнадежно заглядывая ему в лицо. Володька почувствовал что-то вроде стыда.

– На, ешь, брюхо ненасытное, – сказал он и, отломив, кинул собаке половину хлеба.



На дворе уже сгущались сумерки. Опять заморосил скучный осенний дождик.

«Куда ж мне идти?» – подумал Володька.

За спиной его, на мосту, затарахтела телега. Володька сошел с дороги, пропустил ее. На телеге стояли большие бидоны с конопляным маслом. Знакомый федосьинский мужик, накинув на голову рогожный мешок, боком сидел на передке, раскуривая папиросу.

– Со школы? – крикнул он, узнав Володьку.

– А то откуда же еще? – мрачно ответил Володька.

Телега прогремела, оставив в воздухе сладковатый запах конопляного масла.

«На мельницу пойти, что ли?» – подумал Володька и вспомнил, как в прошлом году они ходили сюда с учительницей на экскурсию. Ох, как давно это было! И как хорошо, шумно, светло, весело было тогда... Они все обсмотрели: и где хлеб мелют, и где масло из

конопляных семечек давят... Но приятнее всего было вспомнить сейчас, как принесли им тогда каравай хлеба, нарезали его, роздали ребятам и позволили им «макать» – окунать свежий хлеб в только что выдавленное, еще теплое, душистое, горьковато-сладкое масло.

От этих воспоминаний у Володьки даже слюнки побежали.

«Пойду... схожу, – решил он. – Может, и мне помакать позволят».

На всякий случай он даже не стал доедать, а сунул в карман маленькую, величиной с мизинец, корочку хлеба.

Но на мельницу его не пустили.

Оглушенный шумом, который стоял на мельничном дворе, с трудом протиснувшись между людей, машин, подвод, бочек, мешков и бидонов, он сунулся к проходной конторе, и здесь его остановил старик сторож:

– Ты куда, герой?

– На мельницу, – сказал Володька.

– По какому делу? К кому?

Володьке неудобно было сказать, что он идет макать хлеб в масло.

– Ни к кому. Так просто, – сказал он.

– А ну, поворачивай оглобли...

Володька хотел поспорить, хотел попросить как следует, хотел даже соврать что-нибудь, но в это время над головой его раздался хриплый окрик:

– Эй, мелюзга, с дороги!

Володька отскочил в сторону. Высокий дядя, согнувшись в три погибели, тащил на спине огромный, пятипудовый куль с мукой.

Пропустив его, Володька опять было сунулся к сторожке, но тут снова кто-то заорал на него:

– Эй, пистолет, не вертись под ногами!..

И громадная бочка, выкатившись из проходной, чуть не столкнулась с Володькиным лбом.

Володька обиделся, постоял, посмотрел, плюнул и отошел от конторки.

С полчаса он толкался без всякого дела по двору. Дождь загнал его под навес, где сидели, дожидаясь очереди, человек двадцать подводчиков. Володька присел на корточки и стал слушать, о чем говорят мужики. Но оказалось, что говорят они о вещах не

интересных ему, – о том, что лето в этом году было отличное, что урожай собрали повсюду неплохой... Хвалились, у кого какие недостатки, много ли получают на трудодень, где чего строят или думают строить.

Володьке опять захотелось есть. Он вспомнил, что в кармане у него лежит корочка, достал ее, положил в рот и, чтобы продлить удовольствие, стал потихоньку сосать. Какой-то усатый старик долго, внимательно смотрел на него, потом улыбнулся Володьке, подмигнул и спросил:

– Скусно?

Володька смутился, покраснел и промычал:

– Ага. Вкусно.

– Конфетка небось?

– Ну да... Буду я конфетки есть.

– А что? Неужто не любишь?

Володька пососал корочку, прищурился, причмокнул языком и сказал:

– Шоколад-то небось вкуснее...

Разговоры под навесом смолкли, все взгляды обратились к Володьке.

– Это с каких же ты, суслик, доходов шоколадом питаешься? – строго спросил у него одноглазый парень с серебряным орденом Славы на замасленной солдатской стеганке.

– А вот с таких, – ответил Володька, неопределенно улыбаясь. – У меня, может, доходов-то побольше, чем у вас...

– Ой ли?

– Неужели побольше?

– Ишь ты, посмотрите, миллионер какой! – раздались насмешливые голоса.

– Позволь, позволь, – опять сказал одноглазый. – Какие же у тебя, суслик, могут быть доходы? Ты что – работаешь? Учишься?

– Да. Учусь.

– Стипендию получаешь?

– Нет.

– Так откуда же у тебя деньги?

– У отца небось украл, – сказал кто-то за Володькиной спиной.

Володька резко повернулся, и от возмущения даже голос у него охрип.

– Да? Украл? Ох, вы!.. Подите спросите... Если хотите знать, он мне сам намеднись полсотни подарил.

– Да ну? Это с какой же это стати он полсотнями-то бросается?

– Бывает, братцы, бывает, – сказал, улыбаясь, усатый старик. – Бывает, что отцы ребят балуют. Ну, мало ли... Пятерку парень со школы принес – вот и получай награду. Верно ведь? – обратился он к Володьке.

– «Пятерку»! – презрительно поморщился Володька. – Если отцу за каждую пятерку платить, так у него небось и денег не хватит.

– А ты что же, значит, – прямо шестерками получаешь?

– Не получал, а может, еще и получу.

И чувствуя, что нелегкая уже понесла его и что остановиться нет уже никакой возможности, он стал врать, – какой он замечательный ученик и как его все любят и уважают – и в колхозе, и в школе, и в пионерском отряде. Вот задали им, например, на днях восемь задачек. Другие ребята и восьми не могут сделать, а он, Володька, посидел, подумал и вместо восьми двадцать восемь решил! Учительница даже специально ходила в РОНО, чтобы позволили ему вместо пятерки шестерку поставить, да там не позволили: говорят, что надо в Москву писать, самому министру.

– Ох-хо-хо! – загремело под толевым навесом. – Это кто же такой? Ты чей будешь, парень?

– Да это ж Чубатый, – раздался из темноты молодой насмешливый голос. – Наш, федосьинский бывший... А ну, Чубатый, давай поври там еще чего-нибудь.

– А ну его, болтуна, – перебил одноглазый парень и опять заговорил: о том, что у них в артели строится гидростанция, что к Новому году в домах будет свет, а на будущий год, может, и своя мельница и маслобойня заработают... Володька попробовал слушать, но язык у него чесался, ему хотелось не слушать, а говорить самому. И он стал вполголоса рассказывать усатому старику, который один еще продолжал слушать его, какое он, Володька, нашел выгодное и полезное дело: собирает старые кости и сдает их в утильсырье...

– Да, это дело доброе, – согласился старик. – Это ведь и государству польза. И много уже собрал?



Володька сказал, что пока еще не так много, десять пудов только. Но и то ведь неплохо: девяносто восемь рублей заплатили.

– Ну? – удивился старик. – Чего же так дорого?

– А у меня потому что кость особенная.

– Какая же она может быть особенная?

– Хэ! – усмехнулся Володька. – А вот вы приходите ко мне – сами увидите...

Во дворе уже темнело. Дождь не переставая стучал по толевой крыше, но людей под навесом становилось все меньше и меньше: то одного, то другого подводчика вызывали на мельницу. Наконец Володька остался вдвоем с усатым стариком. Старик разложил на коленях ситцевый в черную крапинку платок, достал из-за пазухи большой рыжий огурец, краюху домашнего деревенского хлеба и головку чеснока, перекрестился и стал ужинать. Отворачиваясь, чтобы не слышать раздражающего запаха чеснока и не глядеть на соблазнительную краюху, Володька продолжал болтать всякий вздор, а сам против воли косился на хлеб и на огурец и с сожалением думал, что напрасно он сказал давеча про шоколад. Теперь неудобно огурца попросить. А старик бы дал, он добрый...

– В воскресенье батька мой в Рязань ездил, – лениво хвалился Володька, плотая слюну и чувствуя во рту противный, кислый вкус горелой ржаной корки. – В Рязань, я говорю, батька мой ездил. Я ему денег дал... Он себе шляпу купил, а мне – фотоаппарат и когти железные...

Старик слушал Володьку молча, похрупывая огурцом и глядя куда-то в сторону. Но тут он перестал жевать, нахмурился и посмотрел на мальчика.

– Какие когти? – сказал он.

– Ну, какие... Обыкновенные. Железные. Знаете, на которых монтеры на столбы лазают?

– Ну, знаю. Монтеры лазают. А тебе они зачем?

– Как зачем? Ну, мало ли... Белок можно ловить.

И, перебивая самого себя, Володька стал рассказывать, какой он замечательный охотник, какую великолепную лисицу он подстрелил нынче осенью и какое удивительное, трехствольное ружье видел он у своего дяди-генерала в Москве.

Старик доел огурец, остатки хлеба и сала завернул в платок, спрятал узелок за пазуху и поднялся.

– Н-да, – сказал он. – Ружье, говоришь? Трехствольное? У генерала? Ну, ты меня извиняй. Я пойду. Лошадь надо пойти посмотреть.

И, не дослушав Володьку, он вышел из-под навеса. Володька посмотрел ему вслед, прилег на оставленный кем-то мучной мешок и только хотел обидеться и подумать, какой он несчастный и одинокий человек, как вдруг старик снова заглянул под навес.

– Эх, парень, парень, – сказал он, покачав головой. – Пустой ты человек, вот что я тебе скажу...

Володька привстал на коленки и с испугом смотрел на старика: чего это с ним?

– Пустая ты, я говорю, личность, – повторил старик. – Балаболка ты. В голове у тебя... знаешь...

И старый колхозник вздохнул и посмотрел на мальчика с таким видом, словно хотел сказать: и черт не разберет, братец, что у тебя в голове.

– А ну, дай мешок, – сказал он. – Пойду лошадь кормить.

И, выдернув из-под Володьки мешок, старик ушел.

На улице уже совсем стемнело, когда Володька вышел с мельничного двора.

Поеживаясь, дошел он до запруды и посвистел. Никто не откликнулся. Даже собака убежала.

«Пойду домой, – решил Володька. – Шут с ним, пускай убивают».

И, решившись на такой подвиг, он храбро зашагал по направлению к дому.

Еще издали он увидел вещи, которые заставили его разинуть рот.

Во-первых, на улице, перед их домом, горел электрический фонарь! Еще вчера никакого фонаря здесь не было. Ведь вчера еще монтеры только провода вешали. А сегодня на улице было так светло, что хоть книжки читай. Конечно, в другое время Володька порадовался бы такому великому событию. А сейчас... Нет, уж сейчас лучше бы и не было этого фонаря, потому что при ярком, ослепительном свете его Володька увидел, что перед крыльцом их

дома стоит двухколесная, черная, похожая на сундук тачка. Он сразу угадал, что это значит.

«Только этого и недоставало!» – подумал он, чувствуя, как опять по спине его побежала электрическая струйка.

С бородатым утильщиком он столкнулся в дверях. Отец провожал его, выпуская на крыльцо, и, почесывая затылок, глуховатым смущенным голосом говорил:

– Уж ты извини, хозяин. Я сам понимаю. Да ведь что ж поделаешь. Такой уж он у меня индюк уродился.

– Да ладно. Чего там. Бывает, – басом ответил утильщик.

– А вот он, кажись, и сам, – сказал он, увидев Володьку. – Здорово, купец!..

Володька попятился, хотел сделать вид, что не узнаёт утильщика, поднял брови и открыл рот, чтобы спросить что-то, но отец не дал ему слова сказать.

– Ты что же это, а? – сказал он, надвигаясь на Володьку. – Ты что ж это, я говорю, заставляешь рабочего человека попусту ноги трепать?!

– Какие ноги? Какого человека? – удивился Володька.

– Ладно, – перебил его отец. – Комедию ломать после будешь. Ты какие это, скажи, пожалуйста, кости выдумал продавать?

– Ничего не понимаю. То ноги, то кости... Какие кости? – сказал Володька, но посмотрел на отца и понял, что даром время терять незачем, – все равно не отвертишься.

– Ах, кости, – забормотал он. – А кости... кости я...

– А ну, – сказал отец и мотнул головой в сторону двери.

Володька почему-то на цыпочках прошел в комнату и, не раздеваясь, присел к столу. На столе лежали хлеб, нарезанная кусками селедка и луковица. Отколупнув кусок хлеба, Володька обмакнул его в селедочный рассол и стал есть. Голова его тем временем лихорадочно работала. Наспех, торопливо придумывал он план спасения. «Скажу, например, что меня бандиты связали... или что я клятву дал... или что я болен и не хочу идти товарищей заражать».

Придумать, однако, он ничего не успел. В комнату вошел отец.

– Закусываешь? – сказал он негромко.

Володька подавился, вскочил, сдернул с головы кепку.

Отец подошел ближе и, сдерживаясь, стискивая зубы, сказал:

– Так, значит, пятерочку по письменному русскому получил?

Володька захлопал глазами, открыл рот да так с открытым ртом и опустился на табуретку.

– А ну, встань, когда с тобой разговаривают! – закричал отец. – Хорош, нечего сказать!.. Все люди работают, у всех на уме дело, а он... Ну, что ты теперь, скажи, пожалуйста, делать будешь? По нынешним временам, тебя такого, и в пастухи не возьмут... И верно – чубатый какой-то... Его учат, на него деньги государство тратит... Учительница вон давеча навещать его приходила – думала, болен. А он, оказывается, сам себе выходной устроил! Ты где это, я спрашиваю, таскался два дня?

Володька опустил голову и забормотал что-то насчет больного товарища, у постели которого он должен был неотступно сидеть, но отец не стал слушать его.

– Молчи! Не ври лучше, – закричал он. – Бездельник! Пустомеля! А ну, снимай штаны сию же минуту!..

И, сдернув с гвоздя свой старый солдатский ремень, отец, не задумываясь, выпорол Володьку.

А выпоров его, он слегка успокоился и сказал:

– Завтра с утра пойдешь в школу и извинишься перед учительницей. Да не как-нибудь, не бал-бал-бал, а честно, откровенно, как пионеру полагается. Слышишь, что я говорю?

Володька слышал, конечно, но ничего не ответил. Он лежал на своей постели, уткнувшись лицом в мокрую от слез подушку, и, отчаянно шмыгая носом, думал:

«Утоплюсь лучше, а не пойду...»

\* \* \*

Спал Володька плохо, всю ночь видел во сне мельницу, на которой его почему-то должны были смолоть в муку, то и дело ворочался, всхлипывал, даже кричал несколько раз, а утром проснулся с тяжелой, как чурбан, головой и опять первым делом подумал, что лучше утопится или даст руку себе отрубить, чем пойдет извиняться к учительнице.

А за окном, как нарочно, как в насмешку над Володькиным несчастьем, празднично, по-летнему светило солнце.

Бывают – в октябре и даже в начале ноября – такие денечки, когда лето, которое по календарю уже давно кончилось, вдруг неожиданно и ненадолго возвращается на землю, как будто проверить: все ли здесь, на земле, в порядке, не забыло ли, не оставило ли оно здесь что-нибудь?.. На земле, конечно, все в полном порядке: и снег уже кое-где лежал, и заморозки были, и урожай весь собран и лежит в колхозных закромах, а солнце все-таки целый день сторожем ходит по голубому чистому небу, неярко светит, нежарко печет и золотит, красит все, что не успело увянуть и догореть – в лесах, в садах, на пажитях и в огородах.

Вот именно такой славный денек, Володьке на смех, и выдался сегодня.

Встал Володька мрачный, по привычке, не думая ни о чем, проделал все, что положено ему было делать: кое-как напялил на себя невычищенную, грязную одежду, кое-как, нехотя поплескался под рукомойником, с отвращением расчесал перед зеркалом свой кудлатый петушиный вихор, собрал учебники, запихал в сумку кусок хлеба и несколько картошек, потом подумал и сунул туда же тупой обеденный нож.

«Ладно, пригодится», – сказал он себе, хотя и сам не знал, зачем ему может пригодиться тупой ножик.

Отец уже давно встал, отзавтракал и теперь работал во дворе.

Володька хотел уйти незамеченным, не попрощавшись, но услышал, как тюкает за окном отцовский топорик, подумал, что, может, видятся они с отцом в последний раз, пожалел и себя и отца и нарочно пошел напрямик через двор, а не через крылечко.

– Ну, что? Собрался? – встретил его отец.

– Собрался, – угрюмо ответил Володька.

Отец оглядел его с головы до ног и, рассердившись, всадил свой топор в бревно, которое подтесывал.

– Ты что, в школу идешь? – сказал он. – Или ворон пугать собрался?

Володька стоял, опустив голову, и грязным носком ботинка ковырял золотистую сосновую щепку.

– Я говорю: ты что, в мусорщики записался? А ну, иди почистись, в порядок себя приведи... Кажется, еще в школьниках пока числишься...

Володька покорно вернулся домой, почистил щеткой штаны, поплевал на ботинки и той же щеткой почистил и ботинки.

Отец вошел в комнату, бросил в угол топор, посмотрел на мальчика и повеселевшим голосом сказал:

– Ну, вот... Хоть на человека более или менее стал похож. Так не забудь, что я говорю... Как следует, по-солдатски, по-большевистски: виноват, дескать, признаю свою ошибку, извините меня... Слышишь?

– Слышу, – буркнул Володька, а сам про себя подумал: «Ладно, дожидайся, пойду я тебе извиняться».

Подтягивая на ходу длинную лямку своей холщовой сумки, он вышел на улицу.

Солнце ослепило его. Он зажмурился и, сдерживая вздох, невольно подумал:

«Ох, ну и денечек же!»

Хорошо, ничего не скажешь, идти в такой славный денек в школу или из школы, с работы или на работу, – если на душе у тебя легко, если совесть твоя чиста и вообще все у тебя в порядке. А если на душе у тебя скребут кошки, а на совести лежит камень в полтора центнера весом, – нет, лучше бы не было ни солнца, ни ясного неба, ни воробьиного щебета. Лучше уж пусть ночь будет и луна не светит.

«Куда ж мне идти? – задумался Володька. И, подумав, решил, как в сказке: – Пойду куда глаза глядят».

А так как глаза его глядели в это время налево, то он и пошел налево.

И вот, не успел он сделать и двадцати шагов, как навстречу ему откуда-то из-под ворот выскочила вчерашняя рыжая собака.

Узнав мальчика, с радостным дружелюбным лаем кинулась она ему на грудь, и, не успей Володька оттолкнуть ее, она непременно лизнула бы его в щеку.

– Уйди! – закричал Володька, замахиваясь на собаку сумкой. – Еще чего выдумала! А ну – кому говорят! Пошла домой!

И изо всей силы он ударил собаку своей плотно набитой сумкой.

Собака жалобно взвизгнула и юркнула в подворотню.

И тут Володька вдруг вспомнил, что у собаки никакого дома нет, что это бродячая, безродная собака.

«Такая же, значит, как и я, безнадзорная», – подумал он и вдруг почувствовал что-то вроде нежности к этой маленькой бездомной дворняжке. Ему стало жаль ее.

– Эй... как тебя... Шарик! – позвал он.

Собака не отзывалась. Он посвистел ей. Собака высунула из-под ворот лисью мордочку и выжидающе смотрела: дескать, зачем зовешь? По-хорошему или опять драться будешь?

– За мной!.. Шарик! – крикнул Володька и пошел не оглядываясь.

«Побежит или не побежит?» – думал он, и теперь ему страшно хотелось, чтобы собака побежала.

Свернув за угол, он сделал несколько шагов и, не останавливаясь, оглянулся.

Собака мелкой рысцей трусила за ним, помахивая пушистым хвостиком.

– За мной! – крикнул он и хлопнул себя по ляжке.

В несколько прыжков собака догнала его, подскочила и лизнула в руку.

– Вот дура, – сказал он, усмехаясь и вытирая руки о штанину. И, наверно, собака поняла, что сказал он это в шутку, без злобы. Так же беззлобно она несколько раз твякнула на него, перебежала на другую сторону и лизнула Володьку в другую руку.

– Ладно, идем. Нечего тебе, – сказал он и опять тяжело вздохнул, потому что шел он куда глаза глядят, а очень плохо идти куда глаза глядят, если перед глазами этими нет никакой цели.

\* \* \*

Ларечница уже открыла свой универмаг и развешивала над прилавком колбасы и баранки. Проходя мимо, Володька нарочно ускорил шаги и отвернулся. Собака же, наоборот, оживилась, хвостик ее заюлил, и, догнав мальчика, она несколько раз заглянула ему в глаза, как бы спрашивая: «Ты что, разве забыл? Здесь же очень вкусный хлеб дают».

– А ну ее, – сердито сказал Володька. У нас свой хлеб есть. Даже лучше еще.

Так же, не останавливаясь, проскочил он мимо ворот мельницы, откуда в это время выезжали груженные мешками подводы.

Не задерживаясь, прошел он мимо плетня яблоневого питомника, за которым дымились костры, перекликались молодые голоса и мелькали цветастые платочки работниц...

За питомником поселок кончался, начинались поля. Здесь было еще просторнее, еще синее было небо над головой, еще ярче блестело солнце в неподсохших с вечера лужах, звонче и голосистее гомонили птицы в придорожных кустах.

Шарик был счастлив. Еще бы! Может быть, первый раз в жизни сегодня этот бездомный пес гулял, а не просто бегал. Первый раз в жизни он чувствовал рядом с собой хозяина, а не просто человека, готового в любую минуту ударить его, прогнать или обругать. По всему видно было, что Шарик наслаждается. Он занимался своими собачьими делами – носился за птицами, обнюхивал чьи-то следы на дороге, останавливался у столбиков и пеньков, а сам то и дело оглядывался, не выпускал из виду Володьку и смотрел на него счастливыми, умильными и преданными глазами.

Дорога поднималась в гору. Слева от шоссе, на склоне пригорка раскинулось старое, заброшенное кладбище. Сквозь голые ветви деревьев синела колокольня деревянной кладбищенской церкви, ярко алел рядом с нею, пылая на солнце, высокий красавец клен, кружились вороны над ним.

Свернув с дороги, Володька прошел на кладбище. Минут двадцать таскался он по колена в крапиве между могильных холмов, читал полустертые надписи на крестах, постоял у деревянной церкви и даже попробовал отодрать доску, которой была заколочена церковная дверь, но доски не отодрал, а только занозил палец.

Присев в стороне, у какой-то могилки, он долго и неторопливо выкусывал из пальца занозу. Шарик побегал, пошумел в кустах и тоже примостился рядом. Внимательно наблюдая за тем, что делает Володька, он в то же время смущенно косил глаза, вздыхал и приглядывался к Володькиной сумке.

– Ну что? Опять есть захотел? – сказал Володька, заметив этот многозначительный взгляд. Он расстегнул сумку и кинул собаке хлеба



и картошек. Попробовал он и сам поесть, но аппетита у него не было, хлеб казался сухим, картошка – чересчур сладкой.

Когда он застегивал сумку, над головой его что-то застучало. Вздрогнув, он поднял голову. На тоненькой стройной сосне, прилепившись к стволу ее, сидела небольшая темно-серая птичка с красным животиком и с остреньким черным хвостом. Крепким долотом-клювом она деловито долбила золотисто-красную кору дерева.

Шарик вскочил, ощерился, забегал вокруг дерева, громко залаял. Не обращая внимания на этот шум, дятел продолжал работать.

«Как плотник все равно», – подумал Володька, невольно любуясь птицей. И вспомнил отца, который вот так же деловито стучит своим топором, обтесывая бревно или доску.

Ему стало скучно.

Шарик все еще лаял, бегая вокруг дерева.

– Да хватит тебе! – закричал на него Володька. Шарик на мгновение умолк, посмотрел на мальчика и решив, вероятно, что тот приказывает ему лаять еще громче, начал уже не лаять, а выть.

– А ну, пошли... – сказал Володька и, поднявшись, зашагал в сторону от дерева. Шарик сразу же замолчал, напоследок тьякнул разок – уже не на птицу, а так, для прочистки голоса, – и побежал за Володькой.

– Ну и дурак же ты, пес! – скучным голосом говорил ему Володька, блуждая вместе с собакой по узеньким тропинкам кладбища. – Ну, чего ты, скажи, пожалуйста, несознательное животное, бренчишь? Птица, можно сказать, делом занимается, пользу человеку приносит, червяков и микробов из дерева достает, а ты – бал-бал-бал... Индюк ты, балаболка, вот что я тебе скажу.

Собака хоть и не понимала Володьку, а все-таки бежала за ним с пристыженным, виноватым видом. У самого выхода с кладбища, где не было уже ни крестов, ни деревьев и где лишь неровность почвы напоминала о том, что когда-то и здесь были могилы, под каблуком у Володьки что-то стукнуло. Сначала ему показалось, что это просто камень, но, наклонившись и посмотрев, он увидел, что это не простой камень, а полуразвалившаяся, треснувшая пополам надгробная плита. Присев на корточки и счистив щепкой землю и мелкий лишайчатый

мох, которым заросли выбитые на плите буквы, Володька с усилиями прочел:

Подъ симъ камнемъ  
погребено тьло  
крестьянина дер. Федосьино  
Евсевія Ивановича  
КУЗНЕЦОВА  
Скончался 1877 года марта 1-аго дня  
Житія его было 100 лтъ

– Во, пляди! – сказал Володька Шарик у с таким видом, словно это не Евсевий Кузнецов, а он сам, Володька Минаев, дожил до ста лет и лежит под этим камнем.

«А что ж, – подумал он, – ведь и я могу дожить до такого возраста».

И подсчитав, что сто лет ему исполнится в 2037 году, почувствовал, как закружилась у него голова. Как будто он по воздуху пролетел эти бесконечно долгие будущие годы.

Он попробовал представить, какой будет в это время жизнь на земле.

«Небось уж полный коммунизм к этому времени построят... Все будут счастливые... образованные... Лодырей не будет... Всюду электричество... кино... троллейбусы...»

Будущее представлялось ему довольно смутно и неопределенно, но он знал, что это будет хорошая, счастливая жизнь, и дожить до нее ему очень хотелось.

«Ну и что ж, – думал он. – И доживу. Ничего особенного. А вот Шарик – этот, пожалуй, не доживет. Нет, Шарик, ты, брат, и не надейся. Не доживешь! Да и что тебе, дармоеду, делать сто лет?! Ты ж у меня – индюк, балаболка. Ты от одной скуки раньше времени околеешь».

Шарик сидел с понурым видом и пристально смотрел на каменное надгробие, как будто тоже задумался о будущем, о судьбе, о жизни и смерти своей.

Вдруг он вскочил, насторожился, наострил уши. Из-под каменной плиты выбежала маленькая золотистая ящерица. Сверкнув

на солнце плянцевитой своей чешуйкой, она скользнула в траву. Шарик зарычал, подскочил, кинулся ворошить траву, рыть лапами землю.

– Во! Нашел себе дело, урод, – усмехнулся Володька. – А ну, за мной! – крикнул он и, подхватив сумку, быстро зашагал, а потом и побежал с пригорка вниз.

Шарик оставил ящерицу и с громким радостным лаем кинулся за ним следом.

\* \* \*

Ветер свистел у Володьки в ушах, тяжелая сумка колотила его под колени, земля комьями вылетала из-под его ног.

– За мной, дармоед... проживем мы сотню лет! – крикнул он, пробежал еще несколько шагов и остановился.

– Ой, что это? – сказал он, испуганно захлопав глазами. – Никак я стихотворение сочинил? А ведь и верно – стихотворение получилось!..

И, сам удивляясь таланту, который он в себе открыл, он стал на ходу быстро бормотать:

– Жил на свете... жил на свете дармоед... Прожил он уже... Прожил ровно он сто лет... Жил на свете дармоед, прожил ровно он сто лет...

Дальше не получалось, как ни старался Володька.

«Ничего, и так сойдет, – решил он. – Прочту ребятам, так небось не поверят. Скажут – у Пушкина списал...»

Но тут он вспомнил, что ребят он уже не увидит больше, и опять ему стало скучно.

А дорога снова бежала в гору. Высоко поднялось и солнце, было почти жарко. По-летнему кричали птицы в кустах. По-летнему стрекотали кузнечики. Знойно и тоже совсем по-летнему жужжал высоко в небе самолет.

На склоне пригорка дорога развилкой разбегалась на стороны. Внизу без конца и без края лежали федосьинские поля. Сухо блестела на солнце вспаханная земля, ярко, зеркально сверкала голубая лента речки Тумахи, а за ней – на том берегу – виднелись постройки

Федосьина: приземистый куличик бывшей федосьинской церкви, серебристые толстые столбы силосных башен, голубое здание школы и кирпичный домик учительницы рядом с нею.

На школьном дворе было пусто.

«Небось еще на большую переменку не звонила», – подумал Володька, посмотрев на солнце. И, прищурившись, он невольно представил себе свой (теперь уже не свой, а «бывший свой») четвертый класс. Вон там, за этими тремя окнами, в одном из которых поблескивает на солнце открытая форточка, сидят сейчас его товарищи. Кто-нибудь стоит у доски, пишет мелом... Или учительница диктовку делает, а ребята склонились над партами, сопят, скрипят перьями...

Уютно, по-домашнему жужжит под потолком осенняя муха. Ласково смотрит со стены широколицый дедушка Крылов. Пахнет чернилами, мелом. Свежий осенний ветерок шелестит белыми бумажными занавесками на окнах. Представил Володька и свое, первое от окошка, место, пустое, никем не занятое сейчас. Представил свою парту с вырезанными на крышке буквами «В.М.» и с полустертой, старой, неизвестно кем и когда сделанной надписью: «Смерть фашизму!» Вспомнилось ему все это, и тяжелый вздох чуть не вырвался из его груди. Но тут же он устыдился своей слабости и вслух громко сказал:

– Действительно!.. Очень интересно в такой день за книжками сидеть!..

И, кликнув собаку, он повернулся и пошел налево, – по той дороге, которая вела из Федосьина в лес.

Навстречу ему из леса ехали подводы с дровами. Баба на последнем возу улыбнулась Володьке и спросила.

– Что так рано из школы?

Володька нахмурился, сжал зубы и ничего не ответил.

– Глухой, что ли? – оглянувшись, крикнула баба.

«Пусть, – подумал Володька. – Пусть и она издевается. Пусть глухим называет».

В лесу было холодно, пасмурно, пахло сыростью, прелым листом. Кое-где лежал снег, а из-под снега выплывали зеленые листики земляники с жухлыми, посиневшими от холода ягодами, ярко алели на

снегу крупные гроздья брусники, никли побитые морозом синие сыроежки, тесно жались в кучи розовые лисички.

Под кустом гонобобеля Володька нашел огромный белый гриб, мягкотелый, расплывшийся, но почти не червивый. Минут десять он таскал его в руке, потом вспомнил, что показать гриб некому, и, рассердившись, кинул его, разбив о толстое дерево.

По заброшенной лесной дороге вышел он в какое-то не знакомое ему место. На опушке он долго смотрел, как учат вороны летать своих птенцов. Малыши летали неловко, не вовремя и неуклюже взмахивали крыльями, а большие терпеливо показывали им, и с каждым разом воронята слетали с дерева все лучше, увереннее, красивее. Кажется, даже Шарик понравилось, как они летают, потому что он перестал лаять, сидел и с интересом смотрел.

Свернув с дороги, Володька прошел обобраным картофельным полем, вышел к какому-то ручью, напился вместе с Шариком холодной ключевой воды и, перейдя по камушкам ручей, задумался, куда идти дальше...

Где-то в стороне, за кустами, пыхтел трактор. Володька пошел на этот звук, но, чем дальше он шел, тем дальше уходил и трактор. Володька останавливался, прислушивался. Ему казалось, что трактор совсем рядом – вот здесь, за этим кустом или за этим холмиком. Он продирался сквозь кусты, поднимался на холмик, – трактора и тут не было. А мощный двигатель его продолжал хлопотливо постукивать где-то совсем близко.

«Что он, – заколдованный, что ли?» – думал Володька.

Кончилось тем, что он забрел куда-то в низину, промочил ноги и должен был свернуть в сторону.

В небольшой березовой роще паслось колхозное стадо. В стороне, под деревом, лежал и читал книжку незнакомый Володьке мальчик-пастух в брезентовом балахоне и в летчицкой, с голубым околышем, фуражке.

Шарик погнался за коровой, залаял. Пастух оторвался от книги, поднял голову и, защищаясь рукой от солнца, внимательно смотрел на Шарика и на Володьку.

– Эй, пионер, сколько время сейчас, не знаешь? – крикнул он.

– Не знаю, – буркнул Володька.

Потом подумал и, неизвестно зачем, сказал:

– Пять без четверти.

– Ты что – сбрендил? – засмеялся пастух.

– Это кто сбрендил? – сказал Володька, сжимая кулаки.

«Дать ему, что ли?» – подумал он. Но посмотрел, увидел в руке у пастуха длинный веревочный кнут и решил не связываться.

– А ну, пошли, Шарик! – крикнул он, и, оглянувшись, подарил пастушонка на прощанье уничтожающим взглядом.

«Тоже! – думал он, еще не остыв от негодования. – Лежит, почитывает... Юрисконсулт какой! А общественное стадо, между прочим, без присмотра гуляет. В болото корова залезет – вот тебе и сбрендил!»

Не удержавшись, он еще раз оглянулся. Пастух уже лежал под деревом и, уткнувшись носом в книгу, читал.

И вдруг Володька почувствовал острую зависть к этому веселому парню. Лежит. Читает. Все у него в порядке. Полезным делом занимается – общественных коров надзирает.

«А меня, по нынешним временам, и в пастухи не возьмут», – подумал Володька, вспомнив вчерашние слова отца.

Подбежал к нему Шарик, присел, завилял хвостом и, словно сочувствуя мальчику, жалобно заскулил.

– А ну тебя! – рассердился Володька.

Шарик вздохнул и побежал дальше.

Опять перед ними журчал ручей. Опять они пили студеную воду. Опять – Володька по камешкам, а Шарик прямо по воде – перешли ручей.

В лесу Володька поел брусники и гонобобеля. На солнечной полянке начал было собирать цветы – бледные, поникшие ромашки с ярко-желтыми сердцевинками, сморщенные колокольчики, выцветшие лиловатые васильки... Потом вспомнил, что цветы девать некуда, и бросил их.

Опять они вышли на проезжую дорогу.

Навстречу шли две женщины. Одна из них вела за руку маленькую девочку, бледненькую, больную, наверно, с забинтованной головой.

Шарик побежал, залаял. Девочка испугалась, заплакала, ухватилась за материну юбку.

– Не бойся, не укусит! – крикнул Володька. И басом, по-хозяйски закричал на собаку: – Шар, на место!

Догнав Шарика, он схватил его за шкуру, пригнул к земле.

– Проходи, не бойся, – покровительственно сказал он девочке.

Семеня маленькими быстрыми ножками, девочка испуганно выглядывала из-за юбки матери.

– Смотри, какой мальчик умный, – успокаивала ее женщина. – Вон он какой храбрый, ничего не боится!

«Да, храбрый, – подумал Володька. – Трус я, а не храбрый».

И сам удивился, – как это ему пришла в голову такая мысль.

Стараясь не думать об этом, он пошел дальше, сделал еще несколько шагов, поднял голову и еще больше удивился, снова увидев перед собой колокольню, трубы и крыши Федосьина.

«Что за шут?! – подумал он, останавливаясь. – Шел в другую сторону, а пришел опять к Федосьину! Черти меня, что ли, за нос водят?»

Узнал он и дорогу, по которой сейчас шел. Именно по этой дороге бежал он каждый день из совхоза в школу. Вот мостик, сразу же за мостиком будет столбик и березка, а у столбика и у березки выходит на дорогу тропинка, которая на целых четыре минуты сокращает путь в школу.

Выгнув кренделем хвост, Шарик бежал далеко впереди, поминутно останавливаясь и оглядываясь, как будто звал мальчика за собой. Вот он перебежал мостик, остановился у столбика, понюхал что-то и, не задерживаясь, свернул на тропинку.

«Что это? – удивился Володька. – Никак он меня в школу зовет!»

И вдруг понял:

– Так ведь он же, дурак, по моим следам бежит!.. Ну, ясно! Ведь все-таки, как-никак, я полтора года по этой дорожке бежал. Наверно, раз тыщу отмахал туда и обратно...

– Шар! Назад! – закричал Володька.

Шарик на бегу повернул голову, что-то протявкнул и побежал дальше – к Федосьину.

– Назад! Кому говорят? – разозлился Володька и, подхватив сумку, кинулся за собакой. С радостным визгом Шарик пустился бежать еще шибче.

– Ну и беги, дурак, – сказал, запыхавшись и останавливаясь, Володька. – Кланяйся там... Скажи, Индиан Чубатый велел привет передавать...

Но тут что-то кольнуло его. Как, подумалось ему, неужто и в самом деле он никогда больше не увидит ни Федосьина, ни школы, ни товарищей своих? Никогда не сядет за парту, не станет у доски, не возьмет мел в руку?.. Не выбежит в переменку во двор, не погоняет с товарищами в футбол, не подерется даже ни с кем?

«А что? – подумал он. – Сходить, разве, что ли, для смеха в последний разок? Приду, скажу: до свиданья, так и так, попрощаться пришел, в Москву уезжаю, в Нахимовское... Вот небось Елизавета-то Степановна нос вытянет!»

Шарик сидел и ждал Володьку на мостике через Тумаху. Володька хотел разбранить его за непослушание, но у Шарика был такой усталый и такой довольный вид, что Володька не стал его ругать, а только сказал:

– погоди, бродяга, в другой раз я тебя на веревке буду водить. Избаловался, крокодил!..

В Федосьино Володька пришел как раз в полдень, когда в школе была большая перемена.

Во дворе и на улице бегали и возились ребята. Увидев Шарика, девочки завизжали и кинулись врассыпную.

Кто-то закричал:

– Ребята! Ура! Индиан пришел!

Ни с кем не здороваясь, Володька прошел через толпу ребят и остановился у школьного крыльца.

Все смотрели на него.

– Минаев, ты почему это столько долго в школу не ходил? – спросил у него третьеклассник Спичкин.

Володька посмотрел через голову Спичкина, прищурился и лениво ответил:

– Значит, уж не твоего, братец, ума дело, почему не ходил. Учительница здесь?

– Елизавета Степановна? Здесь. А тебе зачем?

– Так просто. Насчет погоды зашел поговорить.

И, сунув руки в карманы, заложив ногу за ногу, Володька прислонился к столбику крыльца и засвистел что-то сквозь зубы.



«Эх, жалко – папиросочки нет, закурить бы», – подумал он, представляя себя со стороны и любуясь собственным геройством.

В это время со двора на улицу вышла Елизавета Степановна. Увидев Володьку, она удивилась, подняла брови и сказала:

– А это кто такой? Ах, это Минаев пришел? Тебе что здесь надо?

Не вынимая рук из карманов, Володька попробовал сделать презрительное и независимое лицо, хотел сказать, что ему ничего не нужно, просто пришел с ребятами попрощаться, но, пока он изображал на лице презрительное выражение, прошла, наверно, целая минута.

– Я тебя спрашиваю, – зачем ты сюда пришел? – громче и строже повторила учительница.

И Володька, неожиданно для самого себя, жиденьким, жалобным, дребезжащим голосом ответил:

– Ни зачем. Так просто... Посмотреть.

– Что посмотреть? Тебе смотреть здесь абсолютно нечего. Можешь идти домой.

– Как?! Почему домой? Зачем домой?

И тут Володька с ужасом понял, что все, о чем он только что думал и чего опасался, – все это не шутки, не пустые слова, что он действительно никогда, никогда больше не войдет в свой четвертый класс, не увидит своей парты, не посмеет даже назвать себя школьником. Он опустил голову, и глаза его, заволакиваясь слезами, забегали по земле, уставились на камешек, похожий на собачью голову, перескочили на елочку тракторного следа, задержались на секунду на собственных, Володькиных, грязных башмаках и, наконец, остановились на ботинках учительницы. Это были простенькие, старые, стоптанные, много раз латанные и тщательно начищенные гуталином баретки. И тут Володька вдруг вспомнил, как шла третьего дня учительница под дождем по поселковой улице, когда он с камнем в руке стоял за деревом у калитки кунинского сада.

«Вот в этих бареточках... четыре километра по грязи тащилась... из-за моей дурасти», – подумал он, и голос его задрожал, когда он воскликнул:

– Елизавета Степановна!..

– Постой, – остановила его учительница. – Ты с кем разговариваешь?

– Я? Я с вами разговариваю.

– А почему же ты, скажи, пожалуйста, стоишь в шапке, когда обращаешься к своей учительнице?

Володька сдернул с головы кепку и, захлебываясь, не стыдясь своих слез, не стыдясь товарищей и тех слов, которые сами собой слетали сейчас с его языка, заговорил:

– Елизавета Степановна... Уважаемая... Пожалуйста! Простите меня... Я – лодырь. Я виноватый во всем. Я – честно, по-большевистски... Я никогда... вот увидите... никогда больше, никогда не буду.

Ребята толпились вокруг и смотрели. Учительница тоже внимательно смотрела на Володьку, слушала и молчала.

– Ты правду говоришь, Минаев? – спросила она наконец.

Володька хотел сказать: «Да, правду», но покраснел, опустил еще ниже голову и, грустно усмехнувшись, сказал:

– Ведь все равно вы мне не поверите.

– Не знаю, – улыбнулась учительница, – может быть, и поверю.

На школьном дворе зазвенел звонок.

– А ну, ребята, по классам! – крикнула Елизавета Степановна. И, повернувшись к Володьке, сказала: – Можешь и ты идти, Минаев.

– Куда? – испугался Володька.

– Ну, как же ты думаешь: куда? В свой класс, на свое место, к своим делам и обязанностям. Ты понял меня?

От радости у Володьки перехватило дыхание. Он быстро надел кепку, так же быстро сорвал ее с головы и, неизвестно зачем, опять нахлобучил ее на свою чубатую голову.

– Есть, Елизавета Степановна! – воскликнул он. – Понял, Елизавета Степановна!.. Спасибо, Елизавета Степановна!..

И, подхватив свою сумку, он вместе с остальными ребятами побежал к воротам. Шарик, который до тех пор не подавал никаких признаков жизни, вдруг отчаянно залаял и тоже ринулся в кучу малу. Поднялся визг. За спиной у себя Володька услышал сердитый окрик Елизаветы Степановны:

– Ребята! Пойдите! Что за безобразие! Это чья собака?

«Ну, попадет сейчас, – подумал Володька. – Скажу, что не моя, что просто привязалась неизвестно откуда...»

– Я спрашиваю: это чья собака? – повторила учительница.

– Это... это моя, Елизавета Степановна, – сказал Володька.

– Твоя? – удивилась учительница. – Что-то я не помню, чтобы у вас в доме была собака. Давно она у тебя?

Володька хотел уже по привычке соврать, хотел сказать, что собаку ему привез из Германии, еще щенком, дядя его, генерал-лейтенант, и что он, Володька, сам вырастил и воспитал ее, но вместо этого, к удивлению своему, и, может быть, первый раз в жизни он сказал правду.

– Нет, – сказал он. – Не очень давно. В общем, сегодня только... – И, заметив, что учительница все еще сердится, он торопливо добавил: – Ничего, Елизавета Степановна! Вы не бойтесь. Я в школу ее не пушу. Она посидит, подождет. Она у меня, вы знаете, умная!

Через пять минут Володька уже сидел в классе, на своем старом месте, за четвертой от учительского стола партой, на черной полированной доске которой по-прежнему желтели знакомые буквы «В.М.» и отливала всеми цветами радуги чернильная лиловая надпись: «Смерть фашизму!».

В классе было тихо. В открытую форточку над Володькиной головой дул осенний ветерок. Шевелилась фестончатая бумажная занавеска. И в тишине тонким басом гудела под потолком последняя осенняя муха.

Учительница делала диктовку. Володька писал, торопился, от хорошего настроения ставил где надо и не надо запятые, а сам то и дело косил глаза и поглядывал за окно, где в палисаднике, под облетевшим тополем, сидел и ждал его Шарик.

На морде собаки было написано счастье.

«Уж очень ты, брат, щуплая, – по-хозяйски озабоченно думал Володьки. Ничего... ладно... откормим постепенно».

А учительница ходила по классу, останавливалась, смотрела на потолок, как будто читая там что-то, и, постукивая карандашом по тетрадке, негромко и с удовольствием выговаривала:

– Роняет лес багряный свой убор... Роняет лес...

## Камилл и учитель\*

Очень давно, когда еще и тебя и меня на свете не было, и наших дедушек и бабушек еще не было, жил на свете человек, полководец Марк Фурий Камилл.

Человек этот был римлянин. И больше всего на свете он любил свою родину – Рим. За родину он готов был отдать и свободу, и счастье, и богатство, и даже собственную жизнь. Только одного он, пожалуй, не мог бы отдать даже любимой родине – это своей совести. Человек он был честный, прямой, неподкупный. Сам был такой и от других тоже требовал честности и прямодушия.

А то, что он был удивительно храбрый и бесстрашный и не щадил своей жизни, – это не выдумка.

Вот послушай, что рассказывается о нем в одной старой книге.

Когда Камилл был еще совсем молоденьким человеком, случилось ему принимать участие в одной стычке с врагами, в одной конной атаке. В бою он потерял и меч, и копье, и дротик. И ему ничего не оставалось делать: или беги, или сдавайся в плен. А тут еще, когда он остался без оружия, его ранили: тяжелый вражеский дротик вонзился ему в левое бедро. Наверно, это было очень больно. Но Камилл даже не покачнулся, даже коня не придержал. Он выдернул из раны дротик и с этим чужим, окровавленным оружием в руке поскакал впереди своих войск добивать неприятеля.

За такую отвагу и храбрость римские граждане выбрали Фурия Камилла своим военным трибуном, то есть самым главным начальником или полководцем. И он до конца своей жизни командовал римскими войсками и водил их в походы. И всегда эти походы заканчивались поражением врагов и победой римлян.

Только один город долго и упорно не сдавался Камиллу.

Это был город Фалерия – главный город страны фалесков.

Город этот был хорошо укреплен. Его окружали высокие каменные стены. Да и сами фалески были народ боевой, храбрый, и сдаваться без боя, продавать задешево свою жизнь и свободу они не хотели. И римляне, как ни бились, ничего не могли с ними поделать.

А в городе Фалерия проживал в это время один школьный учитель. И хотя была война, жители Фалерии, желая показать, что они не только не боятся, но и презирают врагов, нарочно не прекращали своих обычных занятий: работали, торговали, ходили в гости... И школьный учитель тоже, как всегда, занимался со своими ребятами – учил их читать и писать, обучал арифметике, фехтованию, пению и гимнастике.

Человек этот был изменник, предатель. Он очень любил деньги. И за деньги был готов продать и свою родину и своих земляков.

И вот послушай, что он придумал, этот учитель.

Он стал устраивать со своими учениками ежедневные загородные прогулки. Каждое утро он стал выводить ребят за городскую стену. Сначала он прогуливал их недалеко, у самой стены, а потом стал водить все дальше и дальше от города, все ближе и ближе к римскому лагерю.

Дети сначала побаивались немножко, ведь они знали, что где-то тут поблизости стоят страшные римские войска. Но потом постепенно они привыкли и даже полюбили эти таинственные утренние прогулки. Время было весеннее, в городе пыльно, жарко, а тут и цветы, и бабочки, и ручейки журчат... Тут и побегать можно, и пошуметь, и поиграть, и подраться.

Учитель, конечно, покрикивал на них. Он говорил, чтобы они не шумели и не отставали. Иногда он нагибался и срывал цветы и объяснял им, какой цветок как называется: вот это фиалка, это роза, а это вот простенький полевой цветок лютик.

Он говорил о цветах, о бабочках, о природе, а сам в это время обдумывал свой хитрый предательский план.

И вот однажды он вывел детей за городскую стену и повел их к римскому лагерю.

Дети не знали, куда их ведут, и шли, как всегда, спокойно, ни о чем плохом не думая и ничего не подозревая.

И вдруг из кустов им навстречу выбежали римские воины:

– Стой! Кто такие? Куда?

Дети перепугались, стали кричать и плакать. И тогда солдаты, увидев, что это хотя и фалески, но маленькие, и подумав, что они заблудились, решили их отпустить. Но учитель сказал:

– Нет, не надо нас отпускать. Ведите нас к Фурию Камиллу.

И солдаты повели их в лагерь.

А Камилл в это время сидел у себя в палатке на военном совете. И когда ему доложили, что привели фалесков, он очень обрадовался. Он подумал, что это пришли послы и что фалески решили сдаваться.

Но когда он вышел из палатки и увидел перед собой не почтенных и седовласых послов, а маленьких плачущих детей, он удивился и спросил:

– Что что такое? Почему здесь дети?

Учитель выступил вперед, поклонился и сказал:

– Это я, почтенный Камилл, я, скромный и ничтожный фалесский учитель, привел к тебе пленников.

– Пленников? – с усмешкой переспросил Камилл. – Да на что же мне эти пленники? Разве ты, учитель, не знаешь, что Камилл с детьми не воюет?

– Да, – сказал учитель. – Я знаю, что храбрый, великодушный и непобедимый Камилл не воюет с детьми. Но ты обрати внимание на то, что это дети самых знатных и богатых фалесков. Теперь ты можешь спокойно праздновать победу. Чтобы выручить своих детей, чтобы спасти их, наши фалески теперь уж обязательно сдадут тебе город. Вот тебе залог. Получи его.

И учитель еще раз низко, до самой земли поклонился.

Он думал, что Камилл кинется его обнимать, расцелует и наконец наградит каким-нибудь драгоценным перстнем или мешком золотых либров.

Но Камилл выслушал его молча, нахмурился и долго стоял, ничего не отвечая. Потом он повернулся к своим солдатам и сказал:

– А ну-ка, друзья, разденьте, пожалуйста, этого человека.

Солдаты кинулись исполнять его приказание.

Учитель побледнел, обратился к Камиллу и стал кричать:

– Что ты делаешь? Римлянин! Ты не понял меня!

Но с него уже сдирали его учительскую одежду.

– Теперь свяжите ему за спиной руки, – приказал Камилл.

Солдаты и это сделали.

– А теперь принесите сюда хороших прутьев.

Учитель задрожал и кинулся перед Камиллом на колени. Но Камилл даже не взглянул на него. Он повернулся к детям и сказал им:

– Молодые фалески, когда вы будете большими и вам придется воевать с сильным и мужественным врагом, вспомните, что нужно всегда и во всех случаях полагаться на собственные силы, а не на злодейство других.

Дети, может быть, и не поняли, что он им сказал, ведь они еще были совсем маленькие. Но хорошо, если бы ты понял и навсегда запомнил эти слова римского полководца.

– А теперь, – сказал Камилл, – гоните своего педагога домой. Вот вам для этого прутья. Возьмите каждый по прутику – и в добрый путь!..

Это уж даже и маленькие фалески поняли. Они живо расхватили принесенные солдатами прутья и с шумом и с песнями погнали своего ничтожного и недостойного учителя, как какого-нибудь гуся или поросенка, домой, в город.

Когда фалески узнали о том, что сделал Камилл, они тотчас собрали совет и постановили отдать город римлянам добровольно и без боя.

И когда фалесские послы почтенные седовласые старцы, явились к Камиллу, они сказали ему:

– Не мечом и не силой ты победил нас. Ты не сломил наших каменных стен, но ты сокрушил наши сердца своим добрым и справедливым поступком.

И вот уже две с лишним тысячи лет прошло. Камилл давно умер. И дети его умерли, и внуки, и правнуки... А слава этого человека живет. И рассказывать о нем очень приятно.

## Трус\*

Дело было в Крыму. Один приезжий мальчик пошел на море ловить удочкой рыбу. А там был очень высокий, крутой скользкий берег. Мальчик начал спускаться, потом посмотрел вниз, увидел под собой огромные острые камни и испугался. Остановился и с места не может сдвинуться. Ни назад ни вниз. Вцепился в какой-то колючий кустик, сидит на корточках и дышать боится.

А внизу, в море, в это время колхозник-рыбак ловил рыбу. И с ним в лодке была девочка, его дочка. Она все видела и поняла, что мальчик трусит. Она стала смеяться и показывать на него пальцем.

Мальчику было стыдно, но он ничего не мог с собой сделать. Он только стал притворяться, будто сидит просто так и будто ему очень жарко. Он даже снял кепку и стал ею махать около своего носа.

Вдруг подул ветер, вырвал у мальчика из рук удочку и бросил ее вниз.

Мальчику было жаль удочки, он попробовал ползти вниз, но опять у него ничего не вышло. А девочка все это видела. Она сказала отцу, тот посмотрел вверх и что-то сказал ей.

Вдруг девочка прыгнула в воду и зашагала к берегу. Взяла удочку и пошла обратно к лодке.

Мальчик так рассердился, что забыл все на свете и кубарем покатился вниз.





– Эй! Отдавай! Это моя удочка! – закричал он и схватил девочку за руку.

– На, возьми, пожалуйста, – сказала девочка. – Мне твоя удочка не нужна. Я нарочно ее взяла, чтобы ты слез вниз.

Мальчик удивился и говорит:

– А ты почему знала, что я слезу?

– А это мне папа сказал. Он говорит: если трус, то, наверно, и жадина.

## Буква «ты»\*

Учил я когда-то одну маленькую девочку читать и писать. Девочку звали Иринушка, было ей четыре года пять месяцев, и была она большая умница. За каких-нибудь десять дней мы одолели с ней всю русскую азбуку, могли уже свободно читать и «папа», и «мама», и «Саша», и «Маша», и оставалась у нас невыученной одна только, самая последняя буква – «я».

И тут вот, на этой последней буковке, мы вдруг с Иринушкой и споткнулись.

Я, как всегда, показал ей букву, дал ей как следует ее рассмотреть и сказал:

– А это вот, Иринушка, буква «я».

Иринушка с удивлением на меня посмотрела и говорит:

– Ты?

– Почему «ты»? Что за «ты»? Я же сказал тебе: это буква «я»!

– Буква ты?

– Да не «ты», а «я»!

Она еще больше удивилась и говорит:

– Я и говорю: ты.

– Да не я, а буква «я»!

– Не ты, а буква ты?

– Ох, Иринушка, Иринушка! Наверное, мы, голубушка, с тобой немного переучились. Неужели ты в самом деле не понимаешь, что это не я, а что это буква так называется: «я»?

– Нет, – говорит, – почему не понимаю? Я понимаю.

– Что ты понимаешь?

– Это не ты, а это буква так называется: «ты».

Фу! Ну в самом деле, ну что ты с ней поделаешь? Как же, скажите на милость, ей объяснить, что я – это не я, ты – не ты, она – не она и что вообще «я» – это только буква.

– Ну, вот что, – сказал я наконец, – ну, давай, скажи как будто про себя: я! Понимаешь? Про себя. Как ты про себя говоришь.

Она поняла как будто. Кивнула. Потом спрашивает:

– Говорить?

– Ну, ну... Конечно.

Вижу – молчит. Опустила голову. Губами шевелит.

Я говорю:

– Ну, что же ты?

– Я сказала.

– А я не слышал, что ты сказала.

– Ты же мне велел про себя говорить. Вот я потихоньку и говорю.

– Что же ты говоришь?

Она оглянулась и шепотом – на ухо мне:

– Ты!..

Я не выдержал, вскочил, схватился за голову и забежал по комнате.

Внутри у меня уже все кипело, как вода в чайнике. А бедная Иринushка сидела, склонившись над букварем, искоса поглядывала на меня и жалобно сопела. Ей, наверно, было стыдно, что она такая бестолковая. Но и мне тоже было стыдно, что я – большой человек – не могу научить маленького человека правильно читать такую простую букву, как буква «я».

Наконец я придумал все-таки. Я быстро подошел к девочке, ткнул ее пальцем в нос и спрашиваю:

– Это кто?

Она говорит:

– Это я.

– Ну вот... Понимаешь? А это буква «я»!

Она говорит:

– Понимаю...

А у самой уж, вижу, и губы дрожат и носик сморщился – вот-вот заплачет.

– Что же ты, – я спрашиваю, – понимаешь?

– Понимаю, – говорит, – что это я.

– Правильно! Молодец! А это вот буква «я». Ясно?

– Ясно, – говорит. – Это буква ты.

– Да не ты, а я!

– Не я, а ты.

– Не я, а буква «я»!

– Не ты, а буква «ты».

– Не буква «ты», господи боже мой, а буква «я»!

– Не буква «я», господи боже мой, а буква «ты»!

Я опять вскочил и опять забегал по комнате.

– Нет такой буквы! – закричал я. – Пойми ты, бестолковая девчонка! Нет и не может быть такой буквы! Есть буква «я». Понимаешь? Я! Буква «я»! Изволь повторять за мной: я! я! я!..

– Ты, ты, ты, – пролепетала она, едва разжимая губы. Потом уронила голову на стол и заплакала. Да так громко и так жалобно, что весь мой гнев сразу остыл. Мне стало жалко ее.

– Хорошо, – сказал я. – Как видно, мы с тобой и в самом деле немного заработались. Возьми свои книги и тетрадки и можешь идти гулять. На сегодня – хватит.

Она кое-как запихала в сумочку свое барахлишко и, ни слова мне не сказав, спотыкаясь и всхлипывая вышла из комнаты.

А я, оставшись один, задумался: что же делать? Как же мы в конце концов перешагнем через эту проклятую букву «я»?

«Ладно, – решил я. – Забудем о ней. Ну ее. Начнем следующий урок прямо с чтения. Может быть, так лучше будет».

И на другой день, когда Иринушка, веселая и покрасневшая после игры, пришла на урок, я не стал ей напоминать о вчерашнем, а просто посадил ее за букварь, открыл первую попавшуюся страницу и сказал:

– А ну, сударыня, давайте-ка, почитайте мне что-нибудь.

Она, как всегда перед чтением, поерзала на стуле, вздохнула, уткнулась и пальцем и носиком в страницу и, пошевелив губами, бегло и не переводя дыхания, прочла:

– Тыкову дали тыблоко.

От удивления я даже на стуле подскочил:

– Что такое? Какому Тыкову? Какое тыблоко? Что еще за тыблоко?



Посмотрел в букварь, а там черным по белому написано:  
«Якову дали яблоко».

Вам смешно? Я тоже, конечно, посмеялся. А потом говорю:  
– Яблоко, Иринushка! Яблоко, а не тыблоко!

Она удивилась и говорит:

– Яблоко? Так значит, это буква «я»?

Я уже хотел сказать: «Ну конечно, „я“!» А потом спохватился и думаю: «Нет, голубушка! Знаем мы вас. Если я скажу „я“ – значит – опять пошло-поехало? Нет, уж сейчас мы на эту удочку не попадемся».

И я сказал:

– Да, правильно. Это буква «ты».

Конечно, не очень-то хорошо говорить неправду. Даже очень нехорошо говорить неправду. Но что же поделаешь! Если бы я сказал «я», а не «ты», кто знает, чем бы все это кончилось. И, может быть,

бедная Иринушка так всю жизнь и говорила бы – вместо «яблоко» – тыблоко, вместо «ярмарка» – тырмарка, вместо «якорь» – тыкорь и вместо «язык» – тызык. А Иринушка, слава богу, выросла уже большая, выговаривает все буквы правильно, как полагается, и пишет мне письма без одной ошибки.

# Маленькие рассказы\*

Горячее субтропическое солнце над южным пограничным городком. Тридцатые годы. Полдень.

Я – молодой, мне двадцать с небольшим лет. И я впервые в этой маленькой республике и в этом маленьком городе. Сажу в кафе, в его полумраке и прохладе, тяну из крохотной, кукольной чашечки турецкий кофе, читаю свежую московскую газету. И кажется мне, что я – не я, а уж не знаю кто... Моряк? Путешественник? Завсегдатай портовых кофеен?..

Но вот, откинув циновку над дверью, в кафе заходит мальчик. Кто он – мингрел, аджарец, абхазец, турок, перс, армянин? Не знаю. Лет ему одиннадцать-двенадцать. Очень красив, строен, подтянут, в какой-то серо-черной, круглой, без тульи, шапочке и в такой же черной, наглухо застегнутой опрятной курточке. Ходит между столиков и, коверкая русские слова, но нисколько не смешно, чинно и с достоинством выкрикивает:

– А вот кому спичка? Спичка кому надо?

Окликнул его:

– Эй, спички!

Не спеша подошел, осторожно и деликатно положил на мраморную доску стола коробок, а я, не отрываясь от газеты, опускаю руку в карман, нащупываю там двугривенный, абаз, и щеголевато-небрежно, каким-то не своим, наигранным, кинематографическим жестом выбрасываю этот двугривенный на стол. И вдруг чувствую – идут секунды, а мальчик не уходит. Опустил газету и вижу: мальчик подобрал монету, спрятал ее в кармашек, потом, не усмехнувшись даже, берет со стола спичечный коробок и, с зеркальной точностью повторяя мои движения, щеголевато-небрежно, с барственным, плантаторским высокомерием кидает коробок на стол.

А проделав все это, поворачивается и тем же достойным, неспешным шагом следует дальше.

Уши у меня горят. Любуюсь издали этим маленьким человеком и думаю: что это? Национальная гордость? Да, конечно, национальная гордость. Но и еще что-то. Потому что нельзя, невозможно



представить, чтобы такое могло случиться – ну, скажем, в той полуколониальной стране, которую отделяет от нас только небольшая горная речка. Хотя и там, в той стране, живут люди гордые и самолюбивые.

## Кожаные перчатки\*

Поезд в пути уже вторую неделю, бежит через всю зимнюю снежную Россию, от океана к Уралу и дальше на Запад. В вагоне уже давно все отоспались, перезнакомились, давно перечитаны все книги, обсуждены все злобы дня, сыграны все партии в шахматы, надоел до омерзения «козел», даже чай не пьется, даже пиво почему-то кажется кислым и стоит недопитое в темных бутылках под светлыми бумажными стаканчиками.

И вот как-то под вечер в одном из купе собирается мужская компания, и кто-то предлагает, чтобы каждый по очереди рассказал «самый страшный случай из своей жизни».

Чего-чего, а страшного за спиной у каждого немало. Один горел в самолете, другой – в танке, третий чуть не погиб на торпедированной подводной лодке. Еще одного расстреливали, и он, с пробитым насквозь легким, трое суток пролежал под горой мертвецов.



В дверях купе стоит, слушает немолодой, маленький и худенький, как подросток, человек в форме гражданского летчика. Засунув руки в боковые карманы своей кожаной коричневой курточки, он курит толстую дорогую папиросу, перекидывает ее то и дело из одного угла рта в другой и, прижимаясь затылком к косяку двери, резко и нервно выбрасывает в потолок густую струю синего дыма. Слушает он, почти не глядя на рассказчика, но, чем дольше слушает, тем сильнее волнуется, тем чаще и глубже затягивается... Внезапно лицо его наливается кровью, он делает несколько быстрых, лихорадочных затяжек, торопливо и даже судорожно запихивает папиросу в набитый окурками металлический ящичек на стене и, повернувшись к рассказчику, перебивает его:

– Ст-той! П-погоди! Д-дай мне!..

Губы его прыгают. Лицо дергается. Он – заика, каждое слово выталкивается из него, как пробка из бутылки.

– С-самое ст-трашное? – говорит он и кривит губы, делает попытку изобразить ироническую усмешку. – Самое страшное, да? Т-тонули, говоришь? Г-горели? С м-мертвецами лежали? Я т-тоже т-тонул. Я тоже г-горел. И с покойниками в об-б-бнимочку лежал. А в-вот с-самое ст-трашное – это когда я в сорок втором году письмо получил из Ленинграда – от сынишки... д-д-десятилетнего: «П-п-папочка, – пишет, – ты нас п-прости с Анюткой... м-мы в-вчера т-т-в-вои к-кожаные п-перчатки св-варили и с-с-съели»...

## Настенька\*

На первый взгляд все трое кажутся такими милыми, счастливыми и довольными, что просто невозможно не залюбоваться ими. Пришли они с мороза, раздеваются шумно, одежда у них яркая, пестрая: синие галифе, зеленоватый защитный китель, нежно-зеленая вязаная кофточка, желтая пуховая шапка, синие в белую клетку варежки, красные детские рейтузы... И все они – и он, и она, и ребенок – пышут здоровьем, румянцем, и у всех на ресницах и на бровях еще блестит не растаявший снег.

И вот из раздевалки они ступают по мягкой бобриковой дорожке в ресторанный зал. Капитан – молодой, высокий, статный, косая сажень в плечах – идет улыбаясь, на ходу поправляя гребешком белокурые волосы. Вид у него боевой, на груди с одной стороны гвардейский значок, с другой – несколько рядов орденских планок. Жена его тоже блондинка, тоже молодая, но уже слегка раздобревшая, раздавленная и бедрах – не отстаёт от мужа, мягко и четко идет, поскрипывает своими лакированными резиновыми сапожками. А впереди выступает с важностью чинной и стреляет во все стороны большими серыми глазами четырехлетнее существо, славный белобрысый поросенок с тремя косичками: две хвостиками болтаются сзади, третья рожком торчит над покатым лобиком. Зеленые шелковые банты хорошо оттеняют румяную смуглую нежность детского лица.

Столик это семейство занимает рядом со мной. Девочка взбирается на стул и сразу же начинает болтать ногами. Меня это, по правде сказать, несколько настораживает.

Капитан раздобыл меню, извлек из толстой, как бегемотова кожа, папки жиденькие мятые листки папиросной бумаги и погрузился в их изучение:

– Так! Ну, что же мы будем кушать? Суп молочный: Неплохо. Щи на мясном отваре. Прелестно. Рассольник. Борщ украинский. Настенька, ты что будешь?

Настенька отвечает не сразу. Поболтав под стулом ногой, она противным жеманным голосом тянет:

– Хочу мандари-и-инов!..

Капитан улыбается. Улыбается робко и, как мне кажется, даже несколько подобострастно.

– Ну, Настенька, – говорит он, сдерживая свой раскатистый бас, – ведь ты же обещала папе супик покушать.

Нога в красной рейтузине раскачивается, как маятник.

– Обещала, а вот не буду!

Думаю: «Ну, уж теперь-то быть грому и молнии».

Нет, никаких молний.

Наклонившись к дочери, капитан долго шепчет ей на ухо. При этом что-то неприятное, болезненное, даже противоестественное мелькает в его бегающих растерянных глазах.

Смотрю на этих людей и уже не вижу ни счастья, ни довольства на их лицах. Даже румянец как будто исчез, даже полнота капитанши и та кажется мне теперь нездоровой, идущей не от сытой и спокойной жизни, а от больного сердца, от бессонных ночей, от излишнего употребления ландыша и валерьяны.

Капитан поднимает руку. В руке белый листочек меню.

– Девушка!

– Да, я вас слушаю.

– Мандарины у вас в продаже имеются?

– Мандаринов нет. Есть апельсины.

Родительские взоры обращены к дочери: что скажет принцесса?

– Апельсинов не ха-ч-чу! – жеманится принцесса. – Ха-ч-чу мандаринов!..

И снова начинается торговля...

Я уже давно потерял аппетит, отставил тарелку, смотрю, слушаю. Ведь по всему видно, что капитан человек храбрый. Не один раз небось водил он в атаку роты и батальоны, десятки, а может быть, и сотни, и тысячи людей подчинялись его слову, его приказу. А тут перед четырехлетней пигалицей этот герой теряется, робеет, отступает по всему фронту.

Покупаются апельсины, отец угодливо чистит их, и девочка ест апельсины раньше супа. А потом, когда приносят суп, она его, конечно, не ест, хотя капитан и жена его уговаривают дочку, упрашивают, умоляют.

Смотрю, еле сдерживая гнев, качаю головой и мысленно говорю: «Эх, товарищ капитан, товарищ капитан! Что ж это вы, голубчик,

делаете?!»

И мысленно же слышу ответ его: «А, бросьте вы! Она же еще маленькая. Успеется».

Нет, дорогой капитан, боюсь, не успеется! Боюсь, придет время, и сядет эта милая сероглазая Настенька на шею папе-генералу и маме-генеральше, и всем близким, и всему роду человеческому...

## Брат алкоголика\*

– Бабушка! Бабушка!

– Ну, что тебе?

– Бабушка, ты знаешь – у нас сегодня медицинский осмотрrrr был!

Второклассник Аркаша так взволнован, что даже забыл снять свою ученическую фуражку. Большие, оттопыренные уши его еще больше оттопырились, с мороза аппетитно побелели и порозовели, напоминают ломтики ветчины.

– Тихо ты, ладно, – говорит бабушка. – Ты шапку-то раньшеними. О чем ты? Какой осмотр?

– Я ж тебе говорю: осмотрrrrr! Медицинский! Всех спрашивали. И всё записывали. Кто чем болен был. Сколько комнат. Есть ли какие-нибудь насекомые. Есть ли какие-нибудь родственники больные.

– Ну?

– И меня тоже спрашивали. И всё в тетрабочку записали. Говорят: у вас дома кто-нибудь пьет?

– Ну, и ты что?

– Я сказал: брат один пьет.

– Какой брат?

– Павлуша.

– Бог с тобой! Аркадий! Да ты что?! Да разве он пьет?!!

– Ха! Не пьет! А на свадьбе у Володи разве не пил? Я сам видел, как он целую рюмку водки пролотил. Даже помню, как он морщился. Его потом даже тошнило.



## Плоды просвещения\*

Давно ли эта девица была от горшка два вершка, и давно ли был этот прохладный майский вечер, когда, гуляя с нею за околицей, я сделал попытку объяснить ей, что такое земной шар. Подбрав на дороге палочку, я начертил в дорожной пыли некое подобие круга. Я сказал:

– Земля как мячик. Она круглая. Если мы пойдем с тобой когда-нибудь в этом направлении, то через какое-то время, обогнув весь земной шар, мы выйдем уже не отсюда, а вон оттуда, со стороны деревни.

Ах, как засверкали ее серые глазки! С мольбой взглянула она на меня, схватила за руку.

– Ой, дядя Леня! Пожалуйста! Давай пойдем сейчас!..

Совсем, казалось бы, немного с тех пор воды утекло, а вот она уже совсем большая, уже давно бегает в школу и уже сама поучает других: подхватила, так сказать, факел просвещения и, высоко подняв, гордо несет его, чтобы передать тем, кто идет на смену.

Вчера слышу, как она объясняет четырехлетней девочке, дочери соседей:

– Понимаешь, микроб такой маленький, что если он упадет на пол, то его не видно...

## Всепоглощающая любовь\*

Поезд дальнего следования. Купейный вагон.

В одном из купе едет пожилой, веселый, весьма интеллигентного вида человек, любитель основательно выпить и хорошо закусить.

Утром, когда на окнах еще задернуты репсовые занавески, в коридоре хлопает дверь и откуда-то вместе с шумом колес врывается молодой, звонкий, словно замороженный женский голос:

– Водочки никто не пожелает? Коньячок есть! Пиво жигулевское!

И, просыпаясь, потягиваясь на своей верхней полке, мой сосед бодро встречает наступающий день.

– Эх, пивка, что ли, пригубить? – говорит он, позевывая и похрустывая косточками.

С этого начинается. Пригубив пивка, он через полчаса пригубливает рябиновки, потом – коньячка, потом – сорокаградусной московской... И, заедая все эти пития дорогими ресторанными бутербродами – с семгой, с икрой, с кильками и шпротами, он с таким же удовольствием и с тем же пылом весь день говорит: рассказывает о себе, о своей семье и больше всего о четырехлетней внучке, свидания с которой он так страстно, так нетерпеливо ждет.

– Радость ты моя! – говорит он с умилением, и глаза его краснеют и слезятся. – Радость ты моя! Пупырышка моя!..

Нежнейшая улыбка не сходит с лица старика все время, пока он вспоминает о внучке. А вспоминать о ней он может без конца, память его хранит все ее детские шалости, имена всех ее кукол, все смешные и не очень смешные словечки, выдуманные или исковерканные Зинойкой... С волнением предвкушает он минуту, когда встретится с девочкой:

– Ох, представляю... представляю себе, как она обрадуется, как возликует, как затопает, захлопает, просияет, когда выбежит на мой звонок в коридор: «Дедуля! Дедуля плехал!»

Счастливыми глазами старик долго и мечтательно рассматривает, подняв на свет, хрустально-прозрачную влагу, зеленеющую в граненом стакане, лотом, как бы разом решившись, быстро выливает

ее в себя, с удовольствием морщится, жмурится, побрякивает и, пожевав бутерброд с паюсной икрой, говорит:

– Нет, дорогой, вам этого не понять: молоды. Надо стать дедом, чтобы познать настоящую, чистую, бескорыстную, всепоглощающую любовь...

Но вот еще раз хлопает в коридоре дверь, и уже другой, не давешний звонкий, а хриплый и басовитый женский голос на весь вагон объявляет:

– Пирожных, щиколлада, яблочк никому не потребуется? Пирожные есть, щиколлад, печенье, яблочки!..

Сосед мой прислушался, встрепенулся, вскочил, схватился за щеки.

– Ах, боже ты мой! Что же это я?! Надо же Зинушке из командировки гостинчика привезти. Как же можно – с пустыми руками! В Москве не успел, так хоть здесь...

И, приоткрыв раздвижную дверку, он выплядывает в коридор.

– Мадам! Просим вас не обойти нас своим вниманием!..

Облаченная в белую куртку «мадам» с трудом втискивает себя и свою объемистую корзину в купе; улыбаясь, раскидывает товар. Старик долго и основательно выбирает и наконец останавливает свой выбор на большом, как берцовая кость, коричневом эклере.

– Эффектная вещь! – говорит он, надевая очки и рассматривая со всех сторон пирожное. – Это Зинушке должно понравиться. Как вы думаете? И сколько она стоит, эта вещичка?

– Четыре пятьдесят.

Рука моего соседа застревает в кармане.

– Гм... да... – говорит он. – А ведь дороговато, признаться, а? Что же делать? Гм!.. А подешевле чего-нибудь не найдется? Ну, леденцов каких-нибудь, карамелек, бонбошек.

Карамелек не оказывается, и официантка, погасив улыбку, выбирается со своим коробом и с непроданным эклером в коридор.

Старик смущен, но еще больше возмущен.

– Нет, вы подумайте, а?! – восклицает он. – Засохшее пирожное, засахаренная окаменелость – и четыре с полтиной!! Совести у них, разбойников, нет!..

А через минуту появляется другая официантка, та, что продает водку и закуски. И попутчик мой ничтоже сумняшеся берет у нее

очередные сто граммов столичной и бутерброд с сардинами, оплачивает, не моргнув, что-то около червонца, выпивает, закусывает и продолжает со слезами на глазах вспоминать свою ненаглядную Зиночку. Меня это, надо сказать, не очень удивляет. Я уже давно заметил, что у многих пьяниц существует как бы две валюты: одна – водочная, ее тратят легко, с улыбкой и не задумываясь, и другая – та, что идет на приобретение башмаков жене и детям, на оплату счетов за газ и электричество и на прочие, так сказать, гражданские, будничные расходы...

## Две лягушки\*

### Сказка

Жили-были две лягушки. Были они подружки и жили в одной канаве. Но только одна из них была настоящая лесная лягушка – храбрая, сильная веселая, а другая была ни то ни се: трусиха была, лентяйка, соня. Про нее даже говорили, будто она не в лесу, а где-то в городском парке родилась.

Но все-таки они жили вместе, эти лягушки.



И вот однажды ночью пошли они погулять.

Идут себе по лесной дороге и вдруг видят – стоит дом. А около дома погреб. И из этого погреба очень вкусно пахнет: плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят.

Вот забрались они поскорей в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной.

И стали тонуть.

А тонуть им, конечно, не хочется.

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться.

Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает:

«Все равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться. Только нервы даром трепать. Уж лучше я сразу утону».

Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула.

А вторая лягушка – та была не такая. Та думает:

«Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдет. А лучше я еще побарахтаюсь, еще поплаваю. Кто его знает, может быть, у меня что-нибудь и выйдет».

Но только – нет, ничего не выходит. Как ни плавай – далеко не уплывешь. Горшок узенький, стенки скользкие, – не вылезти лягушке из сметаны.

Но все-таки она не сдаётся, не унывает.

«Ничего, – думает, – пока силы есть, буду барахтаться. Я ведь еще живая – значит, надо жить. А там – что будет».

И вот – из последних сил борется наша храбрая лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот она и сознание стала терять. Уж вот захлебнулась. Уж вот ее ко дну тянет. А она и тут не сдаётся. Знай себе лапками работает. Дрыгает лапками и думает:

«Нет. Не сдамся. Шалишь, лягушачья смерть...»

И вдруг – что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у нее уже не сметана, а что-то твердое, что-то такое крепкое, надежное, вроде земли. Удивилась лягушка, посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже нет, а стоит она на комке масла.

«Что такое? – думает лягушка. – Откуда здесь взялось масло?»

Удивилась она, а потом догадалась: ведь это она сама лапками своими из жидкой сметаны твердое масло сбила.

«Ну вот, – думает лягушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула».

Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой – в лес.

А вторая лягушка осталась лежать в горшке.

И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и никогда не квакала.

Ну что ж. Если говорить правду, так сама ты, лягушка, и виновата. Не падай духом! Не умирай раньше смерти...

# **Рассказы и воспоминания**



## Живые памятники\*

### *В самые страшные дни*

Помню, как смеялись мы в Ленинграде, когда в самую лютую пору блокады в адрес обкома одного из ленинградских профсоюзов пришел телеграфный запрос из Куйбышева: «Сообщите результаты лыжного кросса количество участников».

Тот, кто не пережил ленинградской осады, может быть, и не поймет, в чем соль этого анекдота.

Изнуренные голодом ленинградцы находили в себе достаточно силы, чтобы посмеяться над человеческой глупостью, но сил, чтобы заниматься спортом, у них не было.

Город был отрезан от Большой земли, продовольствие доставлялось в Ленинград на самолетах. Каждый грамм был рассчитан, потому что снаряды и другие боеприпасы доставлялись тем же способом. В эти дни спорт в Ленинграде был недоступной роскошью – во всяком случае, многим из нас так казалось. Лозунг: «Все силы па разгром врага!» – звучал в Ленинграде буквально., «Все силы» – это и значило: все силы. До последнего вздоха.

В феврале 1942 года случай привел меня на одну из ленинградских спортивных баз. Тогда это была «бывшая спортбаза». Действительно, полное запустение царило в этом некогда оживленном и богато оборудованном спортивном городке. Двери были распахнуты настежь, окна без стекол, ветер гулял, где ему вздумается. Лыжи, коньки, весла, гантели, штанги, учебные гранаты – все это валялось без всякого присмотра, как бесполезная и никому не нужная рухлядь.

С удивлением, как нечто совершенно фантастическое, разглядывали мы – я и мои две спутницы, девочки из соседней школы – гипсовую статую дискобола, стоявшую у входа. Помню, одна из девочек сказала:

– Неужели так можно?

Признаться, и я смотрел на эти литые юношеские бицепсы, на этот легкий стремительный взлет юного тела и тоже не очень-то верил, что «так можно».

В городе некому было заниматься спортом. Те, у кого оставались силы, стояли с винтовкой в руках на оборонных рубежах – в Лигове, в Колпине, в Ораниенбауме.

В городе не было ни катков, ни лыжных станций. На стадионах стояли зенитки.

В плавательном бассейне Приморского района полопались трубы, здание превратилось в ледяной замок. В этот бывший бассейн приходили иногда бывшие спортсмены. Там жил старик сторож, которого прозвали папанинцем, хотя папанинцами были, по существу, все ленинградцы.

В крохотной камерке сторожа у раскаленной докрасна времянки «бойцы вспоминали минувшие дни»,

...Ленинград выстоял эту страшную зиму. Самые трудные дни остались позади. Открылась ледяная дорога через Ладожское озеро. Прибавили паек. Люди ожили.

В начале апреля пошел первый трамвай. Это была сенсация. Но, пожалуй, еще большей сенсацией было появление на ленинградских улицах первого велосипедиста. Я думаю, что шар Монголфьеров и аэроплан братьев Райт не вызвали в свое время такого шума и такого восторга толпы, какой выпал на долю этого скромного сухощавого паренька, который солнечным апрельским утром вывел на Кировский проспект свою полуночную рижскую машину, сел на нее и поехал. Мальчишки бежали за ним с радостными криками. Прохожие останавливались на тротуарах, улыбались, махали шапками.

Не забыть мне и другого впечатления этой весны. Я шел по Каменному острову. И вдруг слышу за высоким забором сочный и удивительно приятный звук: удар ладони по туго надутому кожаному мячу. Никогда никакая музыка не доставляла мне большего наслаждения и не выражала так много, как этот короткий и, казалось бы, не такой уж мелодичный звук. Это были первые ласточки волейбольного поля.

С весны сорок второго года Ленинград оживает, и с этого же времени пробуждается в нашем городе спортивная жизнь.

Впрочем, сказать, что до этого в Ленинграде вовсе не было спорта, было бы неправдой или неполной правдой. Да, казалось, что не было и быть не могло. Потом выяснилось, что могло все-таки.

Даже в самые страшные дни спортивная жизнь в нашем городе теплилась. Может быть, спорт наш дышал на ладан, но все-таки он дышал. А весной он уже стал дышать полной грудью.

Своими силами восстановили ленинградские пловцы первый бассейн – тот самый, от которого не оставалось ничего, кроме «папанинской льдины». Круглые сутки звенели здесь молодые голоса, стучали молотки, ревел и жарко дышал автоген. Тысячи молодых людей – от заслуженных мастеров спорта до начинающих ныряльщиков из ремесленного – отдавали этому делу все время, которое оставалось у них после цеха, школы, аудитории... Летом сорок второго года рабочие Балтийского завода оборудовали на заводском дворе теннисный корт. Правда, играть приходилось ночью, когда стихал ожесточенный артиллерийский обстрел. Ведь надо помнить, что враг стоял у ворот города. Он имел возможность корректировать огонь. Трамвайные остановки, рынки, кинотеатры, катки, стадионы – все это было у него под прицелом. Приходилось хитрить, маневрировать, маскироваться.

Очень часто ленинградцы узнавали о месте и времени состязания за час до начала спортивной встречи. И сколько раз бывало так, что не успеет прозвучать последний судейский свисток и не успеют спортсмены и зрители покинуть стадион, как там уже рвутся вражеские снаряды и спортивное поле превращается в настоящее поле боя...

Нужно ли говорить, что врагам не удалось запугать ленинградских спортсменов. Однажды возродившись, уже ни на один день не замирала в нашем фронтовом городе спортивная жизнь.

В один из январских дней сорок четвертого года, в дни, когда наши войска пошли в генеральное наступление на прорыв блокады, мне опять случилось побывать в тех местах, где расположена спортивная база «Спартак». Та самая база, куда я забрел когда-то, в холодную и голодную зиму 1942 года с двумя ленинградскими школьницами.

Это был очень шумный день – такого шума я не слышал за все время войны, и база, конечно, в этот день не работала. Но это уже не

было кладбищем. Все здесь было отстроено, покрашено, приведено в порядок. У входа по-прежнему стоял гипсовый дискобол, за это время он успел превратиться в инвалида – немецкий снаряд оторвал ему левую ногу, но по-прежнему он был очень хорош: легкий, стремительный, пружинисто-гибкий... А в десяти шагах от него, с винтовкой на плече и с гранатой у пояса, прохаживался по дорожке человек, совсем молодой, почти мальчик. Он охранял свою базу, и в поступи его и в осанке было столько горделивого и прекрасного, что один из моих спутников, пожилой офицер-артиллерист, остановился и с улыбкой сказал:

– Посмотрите! Вам не кажется, что этот мальчик в лыжном костюме – живой памятник, имя которому Победитель?

Конечно, сказано это было немножко чересчур высокопарно, но сказано, что называется, к месту. Позже мне довелось познакомиться с этим мальчиком. Все, что он мне рассказал, весьма примечательно и поучительно. Это если и не живой памятник, то, во всяком случае, живая история ленинградского спорта времен блокады.

### *Володя*

Когда я познакомился с ним, ему еще не исполнилось полных девятнадцати лет. А может быть, и исполнилось. Сейчас я не помню. Выглядел он действительно совсем мальчиком.

Довоенная биография его ничем не примечательна. Учился, Увлекался и шахматами, и радио, и спортом, конечно. Был, как полагается, ярым болельщиком, не пропустил ни одного мало-мальски значительного матча, «обожал» поочередно Ильина, Бутусова, Пеку Дементьева. В дошкольные годы гонял с товарищами по двору набитый бумажками тряпичный мяч, потом узнал радость удара по настоящему кожаному мячу, а с шестого класса и до последнего стоял бессменно в воротах школьной команды, заслужив в результате славу лучшего голкипера района... Были и другие увлечения. Бокс. Лыжи. Последнее время – велосипед. (Конечно, машина, которой он владел, была – опять-таки как полагается – сборная: колеса – пензенские, рама и руль – украинские, звонок и фонарик – BSA<sup>[1]</sup>).

Весной сорок первого года он перешел в десятый, последний класс. Война застигла его на даче, в Кавголове. Он переживал очередное увлечение: продал в комиссионном приемник, купил за четыреста двадцать рублей старую, полуразбитую лайбу, отремонтировал ее, оснастил самодельным парусом и, переименовав свое судно в яхту, с утра до ночи бороздил на ней бурные воды маленького чухонского озера. На бортах лодки белым по синему было выведено ее название: «Лида». Тайну этого посвящения молодой человек мне открыл, но обнаружить ее я не был уполномочен.

Этим летом в тихом и буколическом Кавголове было против обыкновения очень шумно. Здесь проводили свой очередной учебный сбор лесгафтовцы, студенты Ленинградского института физической культуры. Сначала молодой человек не без зависти поглядывал на быстроходные, шикарно оснащенные гоночные яхты, откуда ему кричали: «Эй, на калоше, бери право руля!», потом даже поссорился с несколькими студентами, потом помирился, а под конец завязалось у него с некоторыми из них даже что-то вроде дружбы.

Студенты проходили обычную летнюю практику, но в воздухе уже пахло порохом, и в этом году занятия были максимально военизированы, сбор проводился под оборонным лозунгом: «Если завтра война – будь сегодня к походу готов!».

Лето поначалу было холодное, пасмурное и дождливое. Наконец наступил первый по-настоящему летний день – воскресенье 22 июня. Оказалось, что это уже и есть «завтра».

Началась война.

Володя вернулся в город. Брат его ушел в ополчение. Пытался и Володя со своим школьным товарищем записаться – их не взяли. Мальчикам пришлось удовольствоваться скромным званием бойцов домовой группы самозащиты. Целыми днями просиживали они на крыше и, нечего греха таить, ждали и дожидаться не могли появления первого вражеского самолета.

А потом, когда вражеских самолетов в ленинградском небе стало немножко больше, чем это требовалось-для утоления мальчишеского любопытства, когда начались бомбежки и пожары, отыскалась и для ребят работа: Володя один потушил и обезвредил одиннадцать зажигательных бомб. Нет, в этом не было ничего выдающегося и

героического – это было занятие, которым «болели» теперь все ленинградские ребята.

Впрочем, и все дальнейшее в Володиной судьбе тоже очень обыденно – конечно, на нашу, ленинградскую, блокадную мерку.

Немцы стояли у стен города.

Занятия в школах прекратились. Володя с тем же своим школьным товарищем пошел работать на завод медицинского оборудования. Теперь это оборудование стреляло и убивало – завод переменял профиль. Однако блокада уже замкнулась. В городе иссякло топливо. Через полтора месяца завод, как и многие другие предприятия, был законсервирован.

Если можно об этом говорить коротко – все, что выпало на долю каждого из нас, выпало и на Володину долю. Умер от голода отец. Умерла сестренка. Умер товарищ его. И, может быть, самое горькое – умерла Лида.

Тянулась бесконечная черная ленинградская блокадная ночь, холодная и голодная, и не было бы в ней ни проблеска, ни просвета, если бы не вера в победу, которая, кажется, одна согревала и поддерживала изнуренных, обескровленных, потерявших облик человеческий людей...

### *Человек умирает*

Володя уже давно из мальчика превратился в мужчину. Но что это был за мужчина – худой, изможденный, «Кашей», – как подумал он сам, увидев себя случайно в магазинном зеркале. За два месяца он потерял четырнадцать кило. Он получал сто двадцать пять граммов хлеба в день, ел дуранду, студень из сыромятной кожи, столярный клей. От цинги у него распухали попеременно то ноги, то лицо, гноились и кровоточили десны. С утра до ночи и с ночи до утра лежал он, укрытый двумя одеялами, своим пальто и пальто покойного отца. Он чувствовал, что умирает, и мысль эта его уже не пугала, а пугало только то, что это медленное умирание может продлиться еще долго. О том, что происходит за стенами его комнаты, за глухими, забитыми фанерой окнами, он уже не знал. Слышал, как воют вражеские бомбы,

как трещат соседние дома и звенят осколки стекол, и ни о чем не думал, а только морщился и закрывал глаза.

Мать держалась дольше других, но в середине января слегла и она. На четвертый день пришел врач, такой же, как и все, бледный и худущий, и сказал, что ничего особенного, самая обыкновенная сердечная слабость на почве общего истощения. Для поддержания деятельности сердца неплохо бы пить крепкий чай.

Хорошо сказано – чай! А где его взять, этот чай?!

У Володи на Петроградской стороне жила тетка. И вот он решился на подвиг: восстал с одра и отправился на Большую Посадскую – разыскивать тетку, чтобы узнать, не найдется ли у нее щепотки чаю.

Это путешествие, которое в прежнее время заняло бы двадцать-тридцать минут, превратилось теперь в настоящую одиссею.

Он шел медленно, не узнавая обезлюдевших улиц, часто останавливался, тяжело дышал. Руки и лицо у него, как никогда раньше, мерзли. Сделав сотню шагов, он присаживался отдохнуть на ступеньку подъезда или заходил в полутемные опустевшие магазины погреться.

Через два с половиной часа он добрался до Петропавловской крепости, в парке у памятника «Стерегающему» присел на скамейку и понял, что дальше идти не может.

### *Встреча у «Стерегающего»*

Он не помнит, как долго он просидел на этой скамейке: может быть, час, может быть, больше... Он был уверен, что это уже конец, что если не суждено ему было умереть дома, в постели, то, значит, он умрет здесь под открытым небом. Так бы, конечно, и случилось, если бы не добрый гений, который явился к нему в облике высокого и сухопарого парня в стеганом армейском ватнике и выцветших лыжных шароварах.

Этот добрый дух не принес Володе скатерти-самобранки, не накормил его хлебом и мясом; он сделал, пожалуй, гораздо больше...

Поминутно останавливаясь и переводя дыхание, парень брел по парковой дорожке. Мельком взглянув на Володю, он прошел мимо,

потом оглянулся, взгляделся и, подойдя к скамейке, назвал мальчика по фамилии.

Володя не узнал его.

– Ты что, уж забыл? Ведь это ты с Кавголове на „Лиде“, с простышкой вместо паруса ходил?

Володя напряг память и узнал молодого человека. Это был один из студентов-лесгафтовцев. Узнать его было трудно – из-под кожаного летчицкого шлема торчал длинный костлявый нос, глаза завалились, лицо потемнело и осунулось.

Присев на скамейку, парень спросил у Володи, где он сейчас работает. Володя ответил, что нигде не работает.

– Учишься?

– Нет.

– А что делаешь?

Володя пожал плечами.

– Спортom-то хоть занимаешься? На лыжах стоять можешь?

– Смеешься? – обиделся Володя. – Я ноги еле таскаю. Пятый день одним клеєм питаюсь.

– Клеєм! Вот это интересно! А я, ты думаешь, что – бифштексы кушаю?

Володя искоса взглянул на собеседника. Нет, пожалуй, можно было поспорить, что бифштексов он не кушает.

– Ты комсомолец? – спросил студент,

– Комсомолец, – ответил Володя.

– Спортсмен?

– Был, – ответил Володя.

– Так вот что я тебе скажу: стыдно, парень! Очень даже стыдно. Скажите, пожалуйста: „ноги еле таскаю“... Таскаешь еще все-таки? А таскаешь – значит, таскай с пользой!

Володя с удивлением и даже с испугом посмотрел на студента: не спятил ли он?

– Как это – „с пользой“?

– А вот так... Очень просто. Ты же спортсмен. Между прочим, ты знаешь, чем ты обязан спорту? Своей жизнью! Да, да... Не смотри на меня так. Именно жизнью... Дома у тебя что, все живы?

– Отец погиб... и сестренка.

– Ну вот. Скажи, пожалуйста, ты что, лучше их питался?



– Почему лучше?

– А ведь ты жив. Они умерли, а ты – жив. Ты не задумывался, почему это так? Ты не думаешь, что велосипед, лыжи, футбол и даже твоя паршивая лайба помогают тебе сейчас жить и бороться?

– С кем бороться?

– Вот именно – с кем?!

Володя опять посмотрел на студента и вдруг страшно покраснел. Он сам удивился, он уже давно не краснел, ему казалось, что краснеть ему просто нечем – крови не осталось.

Лесгафтовец поднялся.

– Я работаю в городском комитете физкультуры, – сказал он. – Нам до зарезу нужны инструктора-лыжники обучать бойцов всеобуча. Приходи, я возьму тебя.

– Инструктором?

– Да. Запиши адрес.

Володя был уверен, что не пойдет в комитет»

– Ладно, и так запомню, – пробурчал он. Студент попрощался, тряхнул Володину руку и ушел.

А Володя посидел немного, поднялся, размял ноги и заковылял на Большую Посадскую, к тетке.

### *«Явился по вашему приказанию»*

В большой коммунальной квартире он нашел только одну обитаемую комнату. Хозяин ее, – человек неопределенного возраста, обросший густой черной щетиной, лежал, укрывшись шубами и одеялами, на диване. На полу, у его изголовья, лежала раскрытая книга. На дымящейся печке булькало какое-то пахнущее аптекой варево.

Человек этот слабым голосом сообщил Володе, что тетка его еще полтора месяца назад умерла. И вообще – все умерли. В квартире остался он один.

Стоя в дверях, Володя огляделся. Человек был еще не старый. В углу комнаты, под потолком, колесами вверх, висела хорошая дорожная машина.

«Эге, – подумал Володя. – Тоже колесики вертел».

– Послушайте, – проговорил он вдруг неожиданно для самого себя. – Вы чего тут валяетесь, как тюлень? В самом деле, вы же еще сравнительно молодой человек. Стыдно...

– Да? – удивился тот. – А что же ты мне прикажешь делать?

– Ну... как что? Дела много. Вы же, я вижу, физкультурник.

– Ах, вот как? Физкультурой заниматься? Я, братец мой, два дня одну морскую капусту ем.

– Это интересно! – сказал Володя. – А я по-вашему, что – бифштексами питаюсь?

Он вышел из этой опустошенной коммунальной квартиры, спустился с пятого этажа и пошел домой. Голова у него по-прежнему кружилась, в глазах плыли круги, но шел он, как он уверял меня, бодро и до самого Невского не останавливался.

Переходя Невский, он взглянул на Думскую башню. Часы были разбиты взрывной волной, показывали какую-то несусветицу: половину первого, но было еще светло, и Володя подумал, что, пожалуй, и в самом деле еще не так поздно...

Он дошел до Аничкова моста, где когда-то стояли милые клодтовские кони, а теперь оставались лишь следы от чугунных копыт на постаменте, и свернул на Фонтанку.

Городской комитет физкультуры, как и большинство ленинградских учреждений, ютился в ту зиму в нескольких самых маленьких комнатах. Там было и холодно, и темно, и дымно от неисправной буржуйки, но было и еще что-то, что сразу бросилось Володе в глаза. Коротко говоря, это была жизнь, может быть, не такая шумная и полнокровная, какой ей полагается быть, но все-таки жизнь, а не смерть и не умирание...

Володя спросил знакомого лесгафтовца. Тот вышел, удивился, обрадовался.

– Вот это да! – воскликнул он. – Вот это я понимаю: темпы!

Володя покраснел и, чтобы не показать смущения, усмехнулся и, шутливо откозыряв, ответил:

– Явился по вашему приказанию, товарищ начальник!..

*Где ты, Володя?*

В феврале 1942 года Володя был зачислен в инструкторскую группу, которой руководил тогда заслуженный мастер спорта, рекордсмен Советского Союза по метанию копья Виктор Алексеев. Володя стал «тысячником». Это значит, что он воспитал и обучил не менее тысячи бойцов-лыжников.

Обучая других, он не забывал и о собственной тренировке. В декабре сорок первого года, участвуя в трехкилометровой лыжной гонке, Володя прошел дистанцию за 14 минут 58 секунд, заняв третье место среди лыжников своего спортивного общества. Очень хорошие результаты показал он и в метании ядра, копья и диска, – все эти способности обнаружили в нем неожиданно уже во время войны и блокады.

Откуда же он взял силы для всего этого?

Может быть, он стал больше есть? Да, честно говоря, чуть-чуть больше. Он получал теперь не сто двадцать пять, а двести пятьдесят граммов хлеба в день. Потом его зачислили на воинское довольствие, которое тоже не было у нас в Ленинграде таким уж шикарным.

Вот, собственно, и вся история этого ленинградского мальчика. Большого я не знаю и даже не могу, к сожалению, предпринять никаких шагов, чтобы выяснить дальнейшую Володину судьбу, – по непростительной оплошности я не записал тогда его фамилии.

Во время войны я писал о Володе в одной не очень распространенной газете – он не откликнулся. Если он жив и вспомнит нашу встречу и наш тогдашний разговор, может быть откликнется сейчас?

Напомню ему, что было это в конце января 1944 года, в очень яркий, солнечный зимний день. Мы сидели с ним на каких-то бревнах или щитах на набережной Большой Невки, недалеко от здания Сельскохозяйственного института. Тогда там стояла какая-то воинская часть, солдаты выбивали на снегу свои матрацы.

Да, я понимаю, что впереди было еще полтора года войны, и всякое могло случиться. Но как-то не верится, что этот человек, о котором мой знакомый раненый офицер сказал – «живой памятник», этот мальчик, который был приговорен к смерти, умирал и не умер, что он погиб и что его нет!

Не хочу и не могу поверить в это.

Где ты, Володя? Отзовись, подай голос!..

## **В осажденном городе\***

### *От автора*

Эти записи я вел с начала Великой Отечественной войны до середины июля 1942 года, когда А. А. Фадеев вывез меня, полуживого, на самолете в Москву.

Приходилось мне бывать в Ленинграде и позже, в частности в незабываемые январские дни 1944 года.

В результате у меня скопилось довольно много материалов, только очень незначительная часть которых печаталась в годы войны – да и то главным образом не у нас, а за границей, в прессе тех стран, которые были тогда нашими союзниками.

Для иностранцев все это было – беллетристика, лирика, экзотика войны. Для нас это было кровью наших близких и пеплом наших жилищ. Неудивительно, что наши газеты и журналы неохотно печатали тогда подобные материалы...

То, что я предлагаю вниманию читателя, никоим образом не претендует на роль полотна, памятника или чего-нибудь подобного. Записи мои делались наскоро, на ходу, в темноте, на морозе, на улице, на подоконнике, на госпитальной койке... Иногда это буднично, чересчур интимно, иногда, наоборот, на сегодняшний взгляд излишне приподнято, выпренне и патетично. Если бы я писал повесть о Ленинграде, я, вероятно, написал бы иначе. Но здесь мне не хочется менять ни одного слова, я печатаю выдержки из своих блокадных записок в том виде, в каком они сохранились в моих тетрадях и папках.

### *Ополченец*

За Нарвской заставой. В переулке у здания новой школы толпа молодежи окружила немолодого уже, маленького, узкогрудого человека в форме народного ополчения.

Все на нем новенькое. Шинель топорщится и необыкновенно, колоколом, раздута в бедрах. Обмотки тщательно набинтованы, ботинки еще ни разу не чищены – пористая сыромятная кожа тускло поблескивает.

Не поймешь, пьян человек или просто возбужден, потрясен теми великими переменами, которые произошли в судьбе его страны, а с сегодняшнего дня и в его собственной жизни. Но, пожалуй, он все-таки ко всему прочему и выпил немножко. Как-никак традиция – «последний нонешний денечек»...

– Граждане! – кричит он со слезой в голосе и бьет себя маленьким крепким кулаком в грудь. – Граждане! Прошу вас раз и навсегда запомнить! У меня три сына! Владимир! Петр! Василий! Все трое – на фронте. Прошу запомнить... А завтра я сам иду на фронт и буду защищать всех без исключения граждан Советского Союза...

*1941, июль*

### ***Бдительность***

Ловят диверсантов-парашютистов. Вероятно, таковые существуют и наверняка существуют, но до сих пор лично я шпионов не видел, а видел только несчастных своих соотечественников, ставших жертвой подозрительности и шпиономании.

В газетах писали, что немцы сбрасывают диверсантов в форме наших милиционеров.

Третьего дня иду по Садовой и вижу, как огромная толпа ведет во 2-е отделение милиции (б. Спасская часть) сильно пожилого усатого милиционера в новенькой, что называется с иголочки, форме. Его уже не ведут, а волокут. От страха он не белый, а голубой, и глаза у него самым буквальным образом лезут на лоб...

Рядом бегут мальчишки, улюлюкают, прыгают, размахивают кулаками, свистят, жаждут крови...

Какой-то школьник в очках говорит другому:

– Ты только посмотри! У него же околыш на два сантиметра больше, чем у наших...

Что-то подсказывает мне, что это ошибка. Уже одна эта форма «с иголки». И возраст. Не могу представить эту развалину на парашюте. И вот я протискиваюсь сквозь толпу в милицейскую дежурку и вмешиваюсь в это дело. Толпу оттесняют. Дрожащие руки старика извлекают из кармана гимнастерки серенькую книжку-пропуск. Из этого документа следует, что предъявитель его со вчерашнего дня зачислен в вооруженную охрану такого-то ленинградского предприятия.

Молодые – в армии, в ополчении, вот и приходится брать на работу и охрану стариков. Отсюда и новенькая форма.

Все объясняется просто, а на взгляд мальчишек, даже до обидного просто и скучно.

По моему совету дежурный по отделению «до окончательного выяснения» задержал старика. Его увели в камеру.

Я вышел на улицу. И сразу же почувствовал, что теперь моя очередь исполнять роль подозрительного. С какой стати, в самом деле, честный советский гражданин станет вступаться за диверсантов и шпионов? Иду к проспекту Майорова и чувствую за спиной настороженные взгляды. Зашел в булочную б. Филиппова, телефонный автомат, вызвал гостиницу «Астория» (где ждут меня мосфильмовцы Журавленко и Фролов), оглядываюсь и вижу, что будку окружила толпа. Конечно, тут играет роль еще и черная повязка, которую я ношу после операции. Представил себя со стороны и, сказать по правде, сдрейфил немножко. Иди докажи, что тебя не сбросили где-нибудь под Парголовом с «мессершмитта», предварительно положив в карман советский паспорт и членский билет Союза советских писателей.

На мое счастье, киношников не оказалось дома. И мне не пришлось идти в «Асторию». Я сел в трамвай и поехал домой.

Погибнуть от руки своих сограждан, даже самых милых и патриотически настроенных, мне, признаться, не очень-то улыбается...

*То же*

У ворот нашего дома активистки из группы самозащиты задержали подозрительного человека. Собралась толпа. Вызвали постового. Тот проверил у задержанного документы, оказалось – все в порядке. Откозыряв, милиционер отпустил этого человека. И вот я слышу, как одна активистка говорит – конфиденциальным тоном – другой:

– Вы знаете, это очень подозрительный милиционер. Я заметила, что он отпускает уже четвертого.

### *То же*

Дома меня попросили сходить в коммерческую булочную – купить белый батон. Я никогда не был в этих булочных. И на углу я спросил у двух женщин, довольно интеллигентного вида, где тут поблизости коммерческий магазин, торгующий хлебом и булками.

Женщины быстро переглянулись между собой.

– А вам зачем?

– Как зачем? Купить хлеба.

– Странно.

– Что же тут странного?

– А то, что все советские граждане имеют у нас хлебные карточки...

Я не стал затягивать недоразумение, пресек его, так сказать, в самом корне. И мне даже немножко жалко стало этих женщин. Ведь им так хотелось поймать врага. Им уже небось целый сюжет мерещился. Зброшенный в Ленинград шпион ходит голодный по улицам. Денег у него полные карманы, а купить хлеба не может – карточек нет...

Между прочим, и вернулся домой с пустыми руками. Оказалось, что таких булочных уже нет. Три дня назад их закрыли.

*1941, август*

### *Прямое попадание*

Третьего дня, в субботу, нас познакомили в редакции детского журнала.

Жили мы с ним в одном городе, я знал его по его веселым рисункам, он меня – по моим книжкам, а познакомились вот только сейчас – под грохот бомб и под вой сирены.

Он весело и вместе с тем очень серьезно и убежденно говорил, что нужно держать нос прямо, нужно беречь улыбку на лицах наших людей – нехай падают бомбы и рушатся дома.

Договорились встретиться сегодня, в понедельник: он подумает, и я подумаю – может быть, сделаем сатирический антифашистский рассказ в картинках на последнюю страницу обложки.

Я чуть-чуть опоздал. Прихожу сегодня в редакцию:

– Успенский не был еще?

Переглядываются. Что-то неприятное, жуткое, даже противное в этих растерянных взглядах. Говорит Н.В.:

– Была жена его. Он не придет. Прямое попадание. На Коломенской улице.

*1941, сентябрь*

### *Первое слово*

Это было ночью, в убежище. После бесконечно долгой, томительной и одуряющей тишины, оживляемой лишь тяжкими старческими вздохами, кашлем и зловещим постукиванием метронома, – вдруг весело и победительно запели фанфары, объявляя конец воздушной тревоги. И маленькая девочка, задремавшая на коленях у матери, откликнулась на эту благую весть и вымолвила слово, означавшее для нее и выход из этого мрачного холодного подземелья, и возвращение в теплую постельку, и сладкий безмятежный сон...

– Отбой! – сказала Ириночка Т.

В этот день ей исполнилось полтора года. И слово, которое она сейчас сказала, – первое слово, произнесенное ею в ее маленькой, но уже такой неудобной жизни.



1941, сентябрь

### ***Тотальная война***

Воздушная тревога застала меня сегодня в трамвае.

Резко затормозив, вагон остановился, не доезжая остановки.

На улице, во дворах, на крышах, на балконах – безжизненно-тревожно, навязчиво и нудно, не совпадая во времени, но все на один голос – выли сирены.

Понукаемый кондукторшей, пробираюсь вместе с другими пассажирами к выходу. У выхода сидит девушка – некрасивая и ничем не примечательная ленинградская девушка в ватных штанах и в стеганом красноармейском ватнике. На выцветшем синем беретике у нее – пятиконечная красная звездочка.

Девушка читает книгу. Читает, захлебываясь, «переживая», с тем упоением и азартом, какой бывает лишь у детей и у немногих взрослых, сохранивших детскую восприимчивость и детскую непосредственность.

– Граждане, поторопитесь, – кричит кондукторша.

Девушка уже привстала над скамейкой, но оторваться от книги не может. Ее толкают, выталкивают на площадку, но и тут она продолжает читать и даже слюнявит машинально палец, чтобы перевернуть страницу.

Через плечо соседа заглядываю в книгу:

«Клянусь честью! – воскликнул герцог. – На вашем месте, ваше величество, я бы запретил этим коварным...»

А на соседней площади уже работают наши зенитки, уже звенят стекла, и где-то уже гудит и стонет земля под ударами вражеских фугасок.

1941, октябрь

### ***Северный дух***

«Северный немецкий дух – это расстройство пищеварения», – писал некогда Фр. Ницше, духовный предтеча Геббельсов и Розенбергов.

Несварение желудка – старческая болезнь. Сопутствующие ей запоры вызывают геморрой. От геморроя портится у человека характер. Человек становится брюзгой. Он не может есть суп, который кажется ему то слишком холодным, то, наоборот, чересчур горячим, его раздражает возня котят под столом, детский смех, громкий разговор...

Вот в телеграммах из-за границы сообщают, что Свен Гедин, некогда славный и знаменитый, – записался в фашисты. Он выступает по радио, пишет погромные статьи и вообще занимается делами, которые не принесут ему новой славы, а скорее отнимут старую. В статьях этого бывшего путешественника и бывшего шведа «северный дух» проявляется очень явственно, пожалуй даже сильнее и явственнее, чем у тех, кому он служит. Немецкие фашисты, например, мечтают захватить наш город, а Гедину этого мало. Его раздражает упорство ленинградцев, и вот он предлагает – черным по белому – уничтожить Ленинград до основания, срыть его, снести с лица земли – вместе со всеми нами, конечно.

Свен Гедин еще не немец, но он бывший швед. И может быть, из истории своей родины он знает, что нечто подобное уже было. Не он первый страдает несварением желудка. И не он первый мечтает о несбыточном. Среди условий, предложенных Портою Петру Первому перед войной 1711 года, имелось такое:

«Возвратить Лифляндию и все завоеванное русскими шведскому королю. Петербург же – разорить и срыть до основания».

Несварение желудка – это слишком деликатное определение болезни, которой подвержены Свен Гедин и другие подобные ему провинциальные чингисханы.

Коротко, по-русски, это заболевание пищеварительных органов называется иначе: «Кишка тонка!»

*1941, октябрь*

***Панегирик чулку***

Старые дамские чулки – шелковые, фильдекосовые, бумажные, шерстяные и дешевенькие нитяные... На что они годились когда-то? Тысячная, если не миллионная доля их попадала в корзину сборщика утильсырья и, проделав, как в сказке, сложный и витиеватый путь, возвращалась обратно к потребителю – то ли в виде тех же чулок, то в качестве высокосортной бумаги, то еще в какой-нибудь новой и полезной ипостаси. Но все это были единицы, избранные, – счастливицы, родившиеся в рубашке. А остальные, – так сказать, чулочные массы? Невеселая старость и бесславная смерть ожидали их. Заштопаннные, застиранные, залатанные и в конце концов заношенные до неистребимых дыр служили они жалкую роль утюжки или пыльной тряпки, или – что самое горькое и позорное – появлялись снова на выточенной ножке своей прежней владелицы, но уже не в качестве чулка как такового, а в виде простой приставки к нему, именуемой обычно заплаткой.

Где и когда, в каком месте и в какой именно час заканчивалось их земное существование – никто не знал. Да и кого это в сущности могло интересовать? Казалось, что может быть банальнее и неинтереснее судьбы старого женского чулка?

Но вот лютый враг рода человеческого начал войну, жестокую и титаническую, которую сам он называет тотальной, а мы называем народной и отечественной.

В этой войне сражаются на нашей стороне и женщины, и дети, и глубокие старики, и хлебные поля, и ветряные мельницы, и доменные печи, и лом, и лопата, и медная дверная ручка, которую мы сдаем сегодня в фонд обороны.

Нашли себе применение в этой гигантской битве и старые дамские чулки...

Плотно набитые песком, похожие на маленьких толстых поросят, лежат они на чердаках, на площадках лестниц, в коридорах учреждений и коммунальных квартирах, на улицах и во дворах, дожидаясь своего часа – то есть того часа, когда завоют над городом сирены, загудят нехорошим, чужестранным гудом самолеты, и тысячи вражеских «зажигалок» огненным ливнем обрушатся на крыши ленинградских домов.

Там, где вода не берет и даже буйная пена огнетушителя не может справиться с вулканическим термитным жаром фашистской

бомбы, – там приходит на помощь советскому человеку песок.

И вот – прыгают один за другим эти шелковые, бумажные, шерстяные и нитяные поросята в лютый тысячеградусный огонь, наваливаются на него кучей, и душат, и давят, и прижимают его к земле, отнимают у него возможность дышать и двигаться, глушат и убивают его.

Честь и слава этим маленьким самоотверженным поросяткам. Честь и слава старому залатанному чулку. Слава и честь простой русской женщине, которая нашла еще один способ – пусть очень несложный и нехитрый, но все-таки очень хороший способ – помочь своему отечеству в этой грозной битве его с диким взбесившимся зверем.

*1941, ноябрь*

### *Зимним вечером*

Третьего дня вечером очередное воздушное нападение немцев застигло меня на улице. Нападение было неожиданным, не успели даже объявить тревогу.

До сих пор в таких случаях я находился или дома, или на крыше. Теперь пришлось познакомиться с тем, как это выпадит с «наземных позиций». Как бы ужасно и даже цинично это ни звучало, а должен сказать, что выпадит это – красиво.

Я и раньше знал, что пожар это не только стихийное бедствие, но и великолепное зрелище. А тут не один, не десять, а сотни маленьких пожариков. Вся улица, зимняя снежная улица, усыпана этими ослепительными, неправдоподобно яркими кострами. Такие же костры вспыхивают и на соседних улицах, и во дворах, и на крышах... По небу ходят лучи прожекторов, навстречу им летят ослепительные ракеты, – во всем этом есть что-то театральное, феерическое. Даже люди, которые деловито работают, расправляясь с фашистскими бомбами на улицах и на крышах, выпадят необыкновенно, даже одежда их кажется необычной. На снегу и на стенах домов неторопливо, не в лад тому, что происходит, разгуливают несуразные тени – необыкновенно густые, иссиня-черные и опять-таки

неправдоподобно огромные, почему, вероятно, сами люди кажутся маленькими, почти гномами.

Летят все новые и новые бомбы, воют, свистят, шипят, как черти на сковородке. Люди кидаются к ним, подхватывают, пинают валенками, затаптывают, забрасывают песком... А за углом с опозданием воеет сирена. Где-то в соседнем квартале раздается громopodobный удар, трещат камень и дерево, звенят стекла – разорвалась, по-видимому, фугасная... Люди разбегаются, падают лицом в снег, но через минуту опять сбегаются и опять копошатся вокруг этих фантастических костров.

Страшно ли это? Пожалуй, если подумать, так даже весело. Оставляя в стороне вопросы, так сказать, морального характера – вопросы долга, чести, патриотизма и т. д., – в этом есть что-то от спортивного азарта, опьяняющее раздолье силы и мужества, когда начинаешь вдруг впервые понимать, что, собственно говоря, значат слова: «Есть упоение в бою».

Скажут: «Ну да, ври, хвастайся – не страшно?!»

Отвечу: «Ну, что ж, может быть, немножко и страшно, но ведь в таком случае и в футбол играть тоже страшно. Ведь и там могут по ошибке разбить нос, сломать ногу или ключицу, а то и шею свернуть».

С гордостью записываю: мною собственноручно уничтожено четыре неприятельских бомбы. Правда, три из них мне помогли тушить какие-то девочки. Но с четвертой я разделался сам. И стабилизатор от нее я принес домой. Маленький алюминиевый хвостик этой воздушной хищницы лежит у меня на письменном столе.

А мальчишки-ремесленники – те поступают иначе: носят эти обгоревшие стабилизаторы на поясе – «у кого больше», как охотники носят убитых уток, а куперовские индейцы носили некогда скальпы своих бледнолицых братьев.

*1941, ноябрь*

***Иванов Андрей***

Ящик ночного столика в госпитале. С трех сторон его сделаны карандашом надписи. Читаю:

«Товарищ незнакомый. Я лежал здесь в постели. У меня фашистская мина оторвала левую ногу. Но сейчас пошло на улучшение. Врач очень хороший. К сему –  
Иванов Андрей,  
защищал город Ленина».

С другой стороны:

«Сестра тоже очень хорошая. Я до войны шахты буровил. Моя шахта № 3. Мне 31 год».

И с третьей, задней стороны:

«Товарищи! Победа будет за нами!»

Конечно, это не очень культурно – писать на столах. Для этого, скажут, есть бумага. Есть-то она есть, но что такое, скажите пожалуйста, бумага? Скурил товарищ, сгорела, скомкалась, потерялась – и нет ее, и никто не узнает, что жил на свете Иванов Андрей, буровил шахты и под конец жизни – между прочим, «к сему», защищал город Ленина. А столик – он хоть и хлипкий и не очень уверенно стоит на своих сосновых ножках, а все-таки как-никак надежнее...

Не знаю, культурно это или некультурно, но есть в этом что-то очень трогательное и очень человеческое – в нескромном желании увековечить себя, безногого, безрукого, может быть в самый серьезный и в самый ответственный час – на краю могилы.

*1941, ноябрь*

*Portrait Parle<sup>[2]</sup>*

«Он такой был – отчаянный, цыганистый, чубастый, если какую женщину или девку полюбит, так уж за ней после по всей улице ни

один парень даже на цыпочках пройтись не осмелится. И выпить он тоже был по всей улице первый парень. Драка если какая затеется – он тут как тут. Пел хорошо, на гитаре умел играть. Бывало, как ударит по струнам, голову на плечико склонит да как затянет: „Сказал кочегар кочегару“, – вы не поверите, не только женщины – управдом и тот плакал.

А на войне он еще лютее стал. Когда на побывку из Гатчины приезжал, матери своей так прямо и заявил: я, говорит, мамаша, теперича ни огня, ни пламя, ни самой смерти не боюсь. А из немцев, говорит, я, между прочим, даю вам честное слово, рубленый шницель по-венски сделаю.

Два дня пьяный ходил. Политуру с товарищем пили. Потом уехал.

Он в госпитале на той неделе помер от истечения крови. Мать его там при нем была. Когда помер, она его за чуб взяла, поцеловала, заплакала, голову ему на грудь уронила и говорит:

– Ах ты, – говорит, – хулиган ты мой милый...

А на другой день в газетах писали – его к ордену приставили».

*1941, ноябрь*

### *На кладбище*

Старое петербургское кладбище. Развалины семейного склепа. Массивный крест из черного полированного Лабрадора. На нем буквы:

Лейбъгвардіи  
Уланскаго полка  
ротмистръ  
Георгій Васильевичъ  
Суховцевъ  
родился 12-аго ноября 1821 г.,  
раненъ былъ в Севастополь  
23-яго октября 1854 г.  
Умеръ отъ раны того же 1854 года

ноября 12-аго дня.  
Всей жизни его было 33 года.

Тут же – останки других Суховцевых. И останки надгробий, обломки могильных плит, крестов, проржавленные железные венки, истлевшие муаровые ленты...

Фамилия – именитая, боевая, военная. Суховцев Михаил Васильевич – генерал-адъютант, родился в 1765 году. Суховцев Василий Васильевич – генерал же. Суховцев Николай Васильевич – поручик. Еще один поручик. Полковник. Жена полковника, жена ротмистра...

И странно на первый взгляд выглядит среди этих гранитных плит и прославленных дворянских имен – скромная деревянная пирамидка, на которой от руки дегтем намазано:

Под сим  
покоится  
тело  
пионера  
шк. им. Ленина  
Софичева Пети.  
Погиб от вражеской бомбы  
на защите родного города  
14 сентября 1941 года.  
Род. 1928 г.

Нет, не родственники они. Случайно, по воле кладбищенской администрации, оказалась тут, в усыпальнице рода Суховцевых, эта убогая детская могилка.

И все-таки что-то роднит их – уланского ротмистра, погибшего девяносто лет назад на обороне Севастополя, и маленького ленинградского школьника, который погиб «на защите родного города» и «всей жизни которого» было тринадцать лет.

*1941, ноябрь*

***Какао с пряниками***



Пригород Ленинграда. Зима.

Хоть и сильно морозит, а все-таки день по-праздничному веселый, солнечный, хрустально-прозрачный.

В такой день – раздолье ребятам. С утра натачивали они сегодня свои «снегурочки» и «нурмисы», готовили салазки и лыжи... Но, пользуясь этой прозрачной погодой и весенней голубизной неба, налетели на город вражеские бомбардировщики, и ребят – против их воли, конечно, – загнали в холодные, полутемные убежища, в доморощенные окопчики и щели-укрытия.

Полтора часа, пока шел над городом воздушный бой, томились они в этой полуразрушенной щели, промерзли, проголодались, отсидели (и отстояли) ноги.

Самые непоседливые из них, те, что стояли поближе к выходу, поминутно выплядывали наружу, их загоняли обратно, но через минуту они опять высовывали оттуда свои сморщенные от мороза и от любопытства носы, поэтому в укрытии постоянно знали о том, что происходит в воздухе.

Наконец последний вражеский «мессер», нагоняемый тройкой наших истребителей, пошел наутек. В укрытии об этом тотчас стало известно, и, хотя отбой еще не был дан, ребята не выдержали и веселой гурьбой высыпали из своей темницы наружу.

Делая отчаянные виражи, припадая на одно крыло и прерывисто гудя подбитым мотором, «мессершмитт» уходит в сторону финской границы. Он уже далеко, до него не достать и зениткам, но что за дело до этого ребятам?

Снежки, улюлюканье, свист, льдинки, шапки, бранные слова – все это летит вдогонку вражеской машине.

– Дю-у-у! – кричат ребята, выделявая на снегу самые невероятные движения, вызывающие в памяти иллюстрации к Куперу и воинственные танцы диких.

– Дю-у-у-у! – заливаются они.

– Дю-дю!

– О-го-го!..

А какой-то совсем маленький красноносый и красноухий пацаненок, прыгая вместе с другими по снегу, звонким, срывающимся голосом кричит:

– Смотрите! Смотрите! Паразит Гитлер полетел пить какао с пряниками!..

Это глупо, конечно, бессмысленно, ни к селу ни к городу. Но есть в этом что-то такое, что заставляет меня оглянуться и внимательно посмотреть на мальчика: что-то гораздо более серьезное и значительное, чем простой мальчишеский задор и беспричинная школьническая удаль. Это «что-то» – всамделишное, искреннее, гордое, воинское, спартанское презрение – и к Гитлеру, и к его бомбам и самолетам, и – что самое важное – к тем очень тяжелым, очень ощутительным лишениям, которые принес ему, восьмилетнему советскому гражданину, этот самый «паразит Гитлер».

*1941, ноябрь*

### ***Седьмое ноября***

Октябрьские праздники.

Как всегда, к ним стали готовиться заблаговременно – недели за две или даже за три.

Правда, это было совсем не похоже на то, как готовились мы к Октябрьским праздникам бывало – в приснопамятные, блаженные мирные времена.

Но все-таки это было предпраздничное время, эти последние две-три недели.

Даже в пустых магазинах стало оживленнее. Выдали вино, шоколад, было чем «разговориться» и было чем согреть промерзшие кости.

Как всегда, в большом спросе были малярные и покрасочные материалы. Но на этот раз мы красили не потолки, и не стены, и не наличники дверей и окон, а главным образом чердаки, где покрывались особой огнеупорной краской все деревянные конструкции и перекрытия...

Противник тоже готовился.

В дурацких своих листовках он давал нам всякие остроумные, по его мнению, советы: предлагал, например, накануне праздника

сходить в баню, одеться в чистое платье и лечь на стол в ожидании смерти, которую он нам, по его словам, приготовил.

Кое-какими советами его мы воспользовались. Побывали по обычаю в бане, по-праздничному приоделись, что же касается смерти, которую он нам приготовил, то мы встретили ее во всеоружии.

Сочинители фашистских листовок обещали нам, что 7 ноября «небо над Ленинградом будет голубое», то есть, что, мол, от ударов фугасных бомб разбегутся над городом тучи.

Наши зенитчики честно поработали. Туч они, правда, не разогнали, но вражеским «мессерам» и «хейнкелям» досталось здорово. «Бенефиса», обещанного немцами, не получилось. Ленинград и в будни и в праздники одинаково стойко и непоколебимо держится своих славных боевых традиций.

И над Зимним дворцом, искалеченным немецкими снарядами, сегодня и вчера горделиво плещется флаг, который был водружен там двадцать четыре года назад, в такую же холодную, бесснежную ночь, как и сейчас, когда я пишу эти строки.

*1941, ноябрь*

### ***Что мы ели***

После введения голодного блокадного пайка и закрытия коммерческих магазинов население кинулось раскупать все, что можно есть или превратить в еду. Перец, лимонная кислота, сухой квас, хмель, имбирь, ванильный порошок – все эти продукты и специи быстро исчезли с прилавков.

Видал однажды: стоит большая очередь за «сен-сеном», средством против дурного запаха во рту. Удивился, подошел, поинтересовался в чем дело? Оказывается, он сладкий, этот «сен-сен».

Очереди в аптеках. Все, что на спирту, все, что горит (керосина в городе нет), все, что сладкое, мало-мальски съедобное, раскупается, стоит только покупателю разнюхать что к чему. Сладкие кефирные лепешки, горчица, которую десять раз промывают, а потом пекут из нее лепешки, сладкий пертусин от кашля, ланолиновое молоко «для смягчения кожи лица», персиковое масло, валерьянка, морская

капуста (средство против атеросклероза), из которой варят щи... Нет, не варят, а варили. Все это – уже давно прошедшие времена. Сейчас в аптеках пусто. За прилавками стоят толстые унылые тетки с изможденными красноносими лицами. Толстые они потому, что белые халаты напялены у них поверх зимних пальто.

*1941, ноябрь*

### *Старуха*

Конец ноября. Холодно. Смеркается. Метет поземка.

Иду по улице – искалеченной, развороченной снарядами, засыпанной битым стеклом, кирпичами, штукатуркой.

По узенькой скользкой и ухабистой тропиночке тащит за собой маленькие детские санки невысокая, крепкая еще старушонка в мужских башмаках и в толстых грубошерстных чулках. Оставила санки, подходит к воротам госпиталя, за которыми маячит облаченная в тулуп сторожика.

– Эй, кума, разреши мне по маленькой нужде сходить.

– Нет, бабка. Нет у нас тут уборной.

– Ох, что же мне делать! Прямо терпения нету.

– А ты вон в напротив дом забеги.

Старуха оглядывается, бросает нерешительный взгляд на свои салазки.

– Ничего, не убежит, – говорит сторожика.

– Не убежит, не бойсь, – с суровой усмешкой поддерживает ее, останавливаясь, другая женщина.

Я оглянулся, посмотрел на санки.

На санках – запеленатое в старое байковое светло-коричневое с белыми каемками одеяло, добротное перевязанное веревками, вытянутое, похожее на мумию – лежит человеческое тело.

И в самом деле – куда ему бежать?

А старуха еще жива, ей не терпится – подхватив юбки, она перебегает мостовую и скрывается под воротами большого петербургского дома.

Идут по улице люди торопливо, молча, не оглядываясь, минуют они, обойдя стороной, завернутого в одеяло человека, который терпеливо ждет, пока эта маленькая, потемневшая от холода и от голода, но все-таки еще живая, еще двигающаяся, еще не разучившаяся страдать и радоваться старуха сделает свое маленькое дело.

А ветер свистит в оборванных трамвайных проводах. Белая крупа бежит по обледенелой мостовой. Холодно. Темно. И ни одного огонька на всем божьем свете.

*1941, декабрь*

### ***Цитаты***

«Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе...»

«Но как же вы, умирая такой лютой смертью, все еще думаете оборонять город?»

Откуда это? Из «Тараса Бульбы». А как это по-ленинградски и как по-сегодняшнему звучит!..

*1941, декабрь*

### ***Троя втрое***

Про Севастополь времен Первой обороны писали и говорили, что это «Троя втрое».

Во сколько же раз Троя наш город?

### ***Великаны ли мы?***

Кажется, Фидий говорил, что, когда он читает Гомера, люди кажутся ему вдвое большими, чем обычно. Какой Гомер расскажет о

нас потомкам и какому Фидию мы покажемся великанами, огромными, как статуя Свободы в Нью-Йорке?

А ведь в большинстве своем мы среднего роста, и хлеба мы съедаем в день всего сто двадцать пять граммов.

### *Не будем кокетничать*

Нет, не будем кокетничать и не уподобимся Александру Македонскому, который (если верить Плутарху) велел раскидывать всюду, где проходило его войско, специально сделанные огромных размеров предметы – оружие, стремяна, узды и т. д., – «дабы потомки воображали воинов его великанами».

Если останутся у нас потомки (а я надеюсь, что они все-таки будут, и будут счастливее нас), пусть знают они, что были среди нас и малодушные, и трусливые, и холодные сердцем.

Что вражеские бомбы и снаряды действовали нам на нервы.

Что цветов не было, а в цветочных магазинах продавали семена редиски и луковицы гиацинтов, которые употреблялись в пищу.

Что жили среди нас мелкотравчатые шиберы и замаскированные спекулянты, скупавшие золото и фарфор, хлебные карточки и медицинский спирт, дуранду и морскую капусту.

Что за большие (астрономически большие) деньги из-под полы можно было купить все что угодно – вплоть до коровьего масла и краковской колбасы.

Что тем не менее нам постоянно хотелось есть. И что мы говорили об этом больше, чем полагается героям.

Что не все умиравшие от голода умирали безропотно.

Что женщины наши плакали, и плакали много и долго, пока не высохли их глаза.

Что городские рынки кишели безнадзорными детьми и карманными ворами. Что за кусок хлеба люди выменивали там самое ценное, что у них было, – коробок спичек или обручальное кольцо. А рядом девица-ремесленница покупала за те же сто граммов пайкового хлеба шелковые эстонские чулки или аляповатый коврик с толстопузыми и большеглазыми купидонами в пионерских галстуках.

Что лошади продолжали есть овес, пока их самих не съели.

И что объяснение нашей стойкости и нашего упорства заключается лишь в том, что – в большинстве своем – мы были русские люди, которые очень любили свой город и свою Советскую страну.

\* \* \*

И все-таки масштабы того, что происходит вокруг, – масштабы гомерические, библейские.

Когда идешь, опираясь на палку, по Невскому, а навстречу тебе и обгоняя тебя везут на санках или просто влекут по мостовой, как какое-нибудь бревно, замерзшие трупы твоих братьев и ближних, вспоминаются казни египетские, потоп, Ирод...

*1941, декабрь*

### *Дьякон*

Зашел я в церковь. Бывший военный собор гвардии Преображенского полка. Мерцают свечи. Холодно.

Перед иконой Скорбящей – молебен. Высокий, широкоплечий дьякон, чем-то напомнивший мне лесковского Ахиллу, хриплым простуженным басом читает записки – «о здравии»:

– Воина Иоанна, воина Василия, воина Серафима, воина Петра, воина Александра...

И вдруг – споткнулся:

– Воина... Веры.

Гляжу искоса на его изнуренное, посиневшее от холода лицо. По впалым, осунувшимся щекам его текут слезы.

У выхода спрашиваю какую-то старушку:

– Чего это он плачет? Что он – добрый такой?

– А у него, милый человек, сын на Карельском фронте. Воин Кистинтин. Пулеметчик.

*1941, декабрь*

## *Разговор на улице*

Женщина – другой (о муже, который на фронте):

– Он меня в каждом письме спрашивает: что нового в городе? А что я ему напишу? Что у нас дома шатаются и падают?

– А ты ему вот как напиши: мол, дома шатаются, а сами-то мы еще стоим и выстоим.

*1941, декабрь*

## *Ухо*

Госпиталь. Отделение стоматологической хирургии.

Немолодой уже, бородатый великан, председатель колхоза в пригородном районе, оккупированном немцами. Партизанил, с важным оперативным заданием пробирался в Ленинград. Где-то под Средней Рогаткой попал под минометный огонь. Тяжело ранен: сломана нога, оторвано правое ухо, содран скальп, смяты обе челюсти.

Сейчас его уже починили: зубы в шинах, кожа на голове залатана, нога в гипсе.

Спрашиваю у него:

– Как это все было? Больно? Сознание потеряли?

– Нет. Я ни разу за все время сознания не терял. Еще километров пять или шесть по шпалам шагал до заставы. Ухо на вот таком шматочке висело, я его оторвал, бросил.

*1942, февраль*

\* \* \*

Нина Борисовна призналась мне, что в октябре с голоду воровала отруби из торбы лошади, стоявшей у них во дворе.



Теперь уж небось давно и лошадь эту съели. Какое там «небось»!  
И воробья не найдешь во всем городе...

*1942, январь*

### *Костя*

Сегодня утром в больнице от крупозного воспаления легких умер наш бывший дворник Костя.

Почему его так звали – не знаю; по внешности и по паспорту это был типичный и чистокровный казанский татарин.

Не молодой уже, но и не старый, своеобразно красивый, стройный, хотя и невысокого роста, исключительно молчаливый, суровый, но в то же время с какой-то неугасающей, затаенной усмешкой в черных, чуть-чуть раскосых глазах и в тонких, иронически, а иногда даже брезгливо изогнутых губах, – таков был этот человек, которого оплакивают сегодня жена и дети, а завтра положат на саночки и повезут на ближайшее, вероятно Охтинское, кладбище.

Семья у Кости была большая и с каждым годом росла, увеличиваясь по меньшей мере на одну единицу. Во дворе, под окнами дворницкой, постоянно, и летом и зимой, кружился целый выводок Костиных детей, главным образом девочек, которых я никогда не мог сосчитать и запомнить: все они были как на подбор худенькие, стройные, с подстриженными челочками и с черными, чуть-чуть раскосыми глазами, которые отличали их от других детей, как и те красные коралловые бусинки, которыми они украшали свои худенькие, детские и вместе с тем очень женственные шейки.

Такие же бусы, только из более крупных кораллов, носили и Костина жена, такая же молчаливая, уже не молодая, степенная, работающая женщина, постоянно беременная.

Живой Костя не пользовался в нашем доме слишком хорошей славой. Правда, он был рачителен в работе: с утра, спозаранку, он или жена его брались за метлу, скребок или лопату, и к тому времени, когда другие дворники, сладко позевывая, лишь выходили за ворота, улица перед нашим домом была уже тщательно выметена, снег собран

в кучи, мусорные ящики на лестницах стояли пустые. На собраниях жакта жильцы всегда расхваливали Костю, но за глаза о нем говорили как о человеке темном и подозрительном. Говорили, что он слишком любит деньги, что он никогда не берет для себя ордера на дрова, предпочитая, как видно, пользоваться чужими. Подозревали его даже в связях с уголовниками и скупщиками краденого.

Впрочем, все эти сплетни и разговоры имели место в очень отдаленные, довоенные времена.

За последнее время ничего подобного мне слышать не приходилось. Война, как видно, изменила не только людей, но и отношения между ними. Между прочим, когда-то о Косте говорили, что будто бы тем жильцам, которые дают ему на чай – ночью, когда он открывает калитку, – меньше рубля, он не кланяется и вообще не считает их за достойных людей. Месяца два назад, когда Костя еще работал дворником, вернувшись как-то ночью домой, я вдруг заметил, что уже давно, с самого начала войны, вообще перестал вручать ему эту ночную лепту. Об этом я рассказал во время дежурства на крыше своему «напарнику», молодому инженеру-электрику. Оказалось, что и он тоже считает почему-то неудобным награждать теперь Костю чаевыми. И тем не менее Костя, как мы оба заметили, продолжал раскланиваться с нами и не потерял, по-видимому, веры в наше человеческое достоинство.

Так как времени у нас с инженером было достаточно, делать было нечего – воздушный бой шел где-то далеко на юге, под Пулковом, – мы попробовали поглубже разобраться в этом вопросе.

Конечно, большую роль тут играло то, что раньше мы возвращались ночью домой чаще всего из гостей, из театра, с товарищеской пирушки, а сейчас уж если и приходится где-нибудь задержаться – значит, задержали дела, и дела неотложные, военные.

Но главное не в этом, решили мы с инженером. Главное в том, что раньше мы возвращались домой, а сейчас мы приходим «на объект», что все мы – и дворник, и управхоз, и самый почтенный жилец, и самая маленькая Костина дочка с красными коралликами на шее, – все мы стали товарищами, соратниками, солдатами одной части.

Раньше нас связывали между собой железная крыша и каменные стены.

Сейчас нас связывает война.

Эти связи оказались крепче. И как это ни странно на первый взгляд, наши отношения тоже стали лучше, чище и благороднее.

О мертвых не говорят худо. Поэтому чаще всего о них говорят неправду или не полную правду.

Я рад, что могу, не покрывив душой, записать, что, какую бы сложную и многогрешную жизнь ни вел Костя, умер он честным человеком.

В августе, когда немцы находились уже на ближних подступах к городу, Костю мобилизовали на оборонную работу, и больше месяца он провел где-то на Карельском перешейке, на строительстве оборонительных рубежей. Писем он оттуда не писал, и жена его, которая опять носила ребенка и, несмотря на это, заменяла Костю на его дворницкой работе, осунулась и потемнела от худых предчувствий. И девочки тоже ходили невеселые, хотя к этому времени встретить веселого ребенка в нашем городе было вообще трудно.

Наконец Костя объявился. Оказалось, что он действительно чуть не погиб, попав под жестокую бомбежку, был в окружении, выбивался оттуда вместе с целой бригадой бывших дворников, участвовал в какой-то рукопашной схватке с немцами и наконец на попутной военной машине – с мешком за плечами, с топором за поясом и с маленькой саперной лопаткой в руках – прибыл в Ленинград.

На следующее утро я уже видел его во дворе за обычной работой.

Через несколько дней он опять исчез. Выяснилось – поступил добровольцем в истребительный батальон. После этого я уже не встречался с ним. Знаю, что в батальоне он заболел животом, несколько дней находился дома, потом оказался в добровольной пожарной дружине, где-то на Васильевском острове, и жил там на казарменном положении.

А потом – это было уже совсем недавно – объявили набор добровольцев на очень тяжелую и не очень, казалось бы, почтенную работу – копать могилы. Собственно говоря, не копать, вероятно, – где уж там копать! – а взрывать, вырубать. Ведь морозы-то стоят за окном лютые. Почва каменная. А покойников много. Штабелями лежат они – во дворах поликлиник, в гаражах, в манежах и просто на улице – и ждут очереди, потому что по очереди, по наряду сотнями и тысячами отправляют их туда, где «нести же печали и вздыхания».

Работая на кладбище в легкой своей стеганой телогрейке, Костя застудился и захворал.

Сегодня его не стало. Завтра его опустят в могилу – может быть, в ту, которую он сам вырубил.

Не стоит, конечно, выражаться высокопарно даже наедине с собой. Но и не надо бояться слов, которые выцвели и стерлись от долгого употребления и без которых все-таки не обойтись там, где имеешь дело с подлинными чувствами и с неподдельными страстями.

Впрочем, ведь я только хочу сказать, что Костя умер героем. Я убежден в этом твердо и до конца.

И вот я медленно выписываю: вечная память ему и вечная слава!

Я пишу это, сняв шапку и положив ее на стол, хотя в комнате лежит снег и допотопный мой «реомюр» показывает минус три градуса.

*1942, январь*

### *Счет, написанный кровью*

Вчера я узнал о том, что где-то в Сибири, на глухом полустанке, умерли сестры Д. В адрес редакции, где работала когда-то младшая Д., Елена Яковлевна, пришла бандероль; свернутая в трубочку, там лежала рукопись Елены Яковлевны – повесть о молодом Вольтере – и крохотная казенная бумажка за подписью начальника этого безвестного полустанка; при сем препровождаются бумаги тов. Д., скончавшейся такого-то числа во вверенном мне станционном помещении...

Женщины эти были очень талантливы, и притом многообразно и своеобразно талантливы. Я не читал всей повести о Вольтере (да она и не вся еще была написана), но уже по тем главам и страницам, которые мне довелось перелистать, работа эта обещала быть исключительно интересной. В дебрях французского XVIII века русская писательница нашла тему для актуального, злободневного антифашистского памфлета. Это было и неожиданно и в то же время очень в характере Д. Работала она во многих жанрах: стихи, переводы, история искусств, история театра, книги для детей.

Последние годы, работая в ленинградском Дворце пионеров, очень много сил и времени отдавала она детскому творчеству.

Старшая Д., Наталья Яковлевна, была художница, скульптор, знаток художественного фарфора. Рисунки ее украшали и прославляли на весь мир изделия нашего Ломоносовского завода. По ее проекту оформлена одна из станций Московского метро. Перед войной работала она над эскизами проектов Ленинградского метрополитена. Война прервала эту работу, и Наталья Яковлевна переключилась в другой жанр – писала политические плакаты.

Жили сестры очень дружно.

Из Ленинграда выехали они вместе: в конце января. Уезжать они не хотели, их заставили это сделать почти силой. Но, по-видимому, были они уже в той стадии дистрофии, когда никакие, даже самые решительные меры не могут спасти человека.

Сегодня я весь день думал о них. И, думая о них, думал о Петергофе. Это то место, где я встречался с ними и видел их, если не ошибаюсь, в последний раз.

Петергоф! Как больно мне сегодня не только произносить, но даже выписывать на бумаге это слово. Это город, где прошло мое раннее детство, город, который снится мне во сне – даже сейчас, в эти страшные и суровые фронтовые дни. Никакой санаторий, никакой Крым и никакие Минеральные Воды никогда не могли мне заменить этого лягушечьего царства, этого туманного и дождливого городка, который именовался «русским Версалем», но в котором не мог бы ужиться ни один Людовик. Только Петр, этот великий бурсак, россиянин, переодевшийся в европейское платье, мог построить здесь свой маленький голландский домик и назвать его «Мон плезир» – мое удовольствие! У этого бурсака, у этого гениального коронованного шкипера, был безошибочный вкус: он понимал суровую красоту ингерманландского пейзажа и понимал также – не даром он долго жил на родине Рембрандта, – что ощущение колорита рождается в туманные дни и в дождливую погоду...

О Петергофе я могу думать и говорить без конца. Но ведь я собирался писать о сестрах Д.

Несколько лет назад я встретился с ними в Петергофе. Мы жили в одной гостинице – в бывшем фрейлинском корпусе Большого дворца. Мы не были большими друзьями, к тому же и они и я приехали сюда

работать, поэтому наши встречи ограничивались рестораном, куда мы спускались завтракать, обедать и ужинать. Иногда я видел их в парке на прогулке или когда они возвращались из музеев, где сестры проводили все свое свободное время.

Как сейчас вижу их – медленно, плечо к плечу шагающих по каштановой аллее мимо свинцовой группы «Нептун и его царство». Обе очень высокие, худые, но в то же время по-мальчишески стройные и по-мальчишески же стриженные в кружок, близорукие, в одинаковых, не модных, беретах.

В Петергоф они были влюблены страстной и, как мне тогда казалось, несколько выпренней и сентиментальной любовью. Вставали они чуть свет и, прежде чем сесть за работу, отправлялись на море или к фонтанам. С каким неподдельным восторгом, с каким ребяческим блеском в близоруких глазах рассказывали они о том, какое великолепное зрелище представляют собой фонтаны при своем «рождении», то есть в тот момент, когда рука механика поворачивает пусковое колесо и при свете Авроры из бесчисленных трубочек начинает сначала капать, потом беспорядочно брызгать, потом все выше и выше, смелее и расточительнее расти розовеющий на утреннем солнце, сверкающий и дрожащий лес хрустальных водяных клинков.

– Никакой балет, – говорили Д., – никакая феерия не может сравниться по красоте и по благородной грации с этим бесподобным зрелищем.

С какой трогательной, миссионерской настойчивостью уговаривали они меня сходить посмотреть на это чудо.

Я не собрался. Работал я по ночам, ложился под утро, и у меня просто не хватило пороха на то, чтобы встать до рассвета.

Но ведь и днем фонтаны были великолепны.

Может ли кто из видевших петергофского «Самсона» забыть эту золоченую мускулистую атлетическую фигуру и могучую струю воды, которая, извергаясь из пасти поверженного льва, уходила вершиной своей в безоблачное июльское небо? В детстве я считал, что вообще на свете нет ничего выше этой Самсоновой водяной струи.

Рука у меня дрожит. Не от холода, а потому, что я должен сейчас написать:

В Петергофе немцы.

Рождение фонтанов мне так и не удалось увидеть. Но мне довелось пережить их смерть.

На днях я видел снимок, доставленный «оттуда».

Руины дворца. Нагромождение битого камня, обломки мраморных статуй, терракотовых ваз, лестничных ступеней.

И – голое место там, где стояла золотая фигура Самсона.

Его распилили на части и увезли в Германию. Кто-то мне говорил, что видел, кажется в «Альгемейне цейтунг», напечатанную там фотографию: Самсон в Потсдаме.

Я не могу думать об этом спокойно. Когда я сейчас пишу это, мне кажется, что меня бьют по щекам.

Многие ли знают, что Самсон это Петр? Что это не только библейский сюжет, но и политическая аллегория, памятник нашей воинской славы? В старинных описях парковых достопримечательностей про группу «Самсон» сказано: «Великий Петр, раздирающий пасть свейскому льву».

Недавно я читал в воспоминаниях генерала Брусилова о том, как за несколько месяцев до первой мировой войны на каком-то немецком курорте он и жена его были свидетелями дикой шовинистической и русофобской мистерии, разыгранной курортными властями, отчасти, по-видимому, с развлекательной, а отчасти с воспитательной целью. На центральной площади этого бадена с немецкой тщательностью и дотошностью был выстроен в миниатюре московский Кремль со всеми его зданиями, башнями и куполами. Вечером, в назначенный час, на площади собралась публика, и под звуки духовой музыки Кремль был взорван. Фанерные здания и фольговые купола церковью трещали, объятые пламенем, а на площади бесновалась толпа, гремело тупорылое готское «хох!», в воздух летели тросточки и котелки, а в пламя игрушечного пожара – камни, плевки, бутылки и прочее, что могло погодиться для этого выражения немецкого обывательского патриотизма.

Это было в четырнадцатом году, в идиллические кайзеровские времена...

Надо знать немцев, воспитанных в нацистской школе, чтобы представить себе, какие мистерии, какие вакханалии разыгрываются сейчас в Потсдаме, в этом унылом казарменном «немецком Версале».

На днях я видел на улице, как совсем крохотный мальчик, бледный, замороженный и продрогший, шел рядом с высокой, бледной, худой и замороженной старухой, путался у нее в ногах, дергал ее за подол и со слезами в голосе канючил:

– Бабка, хлеба хочу!

Старуха отмахивалась и отмалчивалась, а потом вдруг, не замедляя шага, улыбнулась и, не глядя на мальчика, сказала:

– Терпи, казак!..

Я знаю, мы умеем терпеть, умеем шутить, умеем с улыбкой переносить самые тяжкие страдания. Но с одними этими качествами далеко не уедешь.

Недостаточно также проникнуться мудростью восточного поэта и сказать:

– Ну что ж. Сегодня он в седле, а завтра седло на нем.

Так будет, конечно. Я, как и большинство моих соотечественников, ни на секунду не сомневаюсь, что рано или поздно под седлом окажется тот, кто в диком каннибальском упоении празднует сегодня минутную победу.

Но ведь это должно случиться рано, а не поздно.

Мы должны предъявить счет – вовремя, пока еще не высохла кровь, которой он написан, пока жив еще этот мальчик, которому суждено стать атаманом, и пока не сравнялся с землей могильный холмик на глухом сибирском полустанке, где кончили свою жизнь Елена и Наталия Д.

*1942, январь*

## *Дети*

Центральные газеты не всегда доходят до нас, еще реже удается нам слушать московское радио; бывали дни, когда вообще радио в городе молчало: не хватало даже тех жалких гектоватт электрической энергии, без которых не может работать трансляционная сеть.

Но бывает, и до нас добирается печатное слово, и тогда мы узнаем о том, что думают и говорят о нас на Большой земле. Говорят с



уважением, а часто и с восторгом, и это, конечно, приятно, лестно, вызывает подъем, придает сил и бодрости:

Однако кое-что в этих откликах и телеграммах удивляет и даже раздражает. Что же именно? А именно – чрезмерная легкость корреспондентского пера, замазывание тех трудностей, которые нас окружают и с которыми нам приходится бороться – бороться всерьез, по-военному, очень часто не на жизнь, а на смерть.

В сообщениях о нашем городе то и дело встречаешь такие фразы: «Город живет полнокровной жизнью...», «Расширяется сеть столовых и ресторанов...», «Такое-то научное общество подготовило к печати» и т. д. и т. п.

А в то время когда москвичи, саратовцы, куйбышевцы, ярославцы и свердловцы читали эти бодрые строчки, в нашем огромном городе работала всего одна баня, притом не вся баня, а только мужское отделение, и мылись там мужчины и женщины вместе.

В то же время Ленинградский Совет и Совет фронта строжайшим образом обязывали каждое домоуправление установить в помещении жакта кипятильник и продавать населению кипяток по три копейки за литр.

В эти же дни у подъездов столовых и ресторанов выстраивались длиннейшие очереди, трещал мороз, над головами свистели снаряды, и под их свист люди несли в котелках и бидонах обед и ужин, приготовленные из дуранды, которая в меню и в прейскурантах именуется почему-то жмыховой массой: суп из жмыхмассы, каша из жмыхмассы, котлеты из жмыхмассы...

В городе живут вместе с нами наши дети. Их меньше, чем до войны, но все-таки много.

Город заботится о детях, город отдает им все – последнюю каплю молока, последнюю конфету.

Но молоко это суррогатное, соевое, а конфеты готовятся из той же спасительной жмыхмассы с прибавлением некоторого количества клюквы и некоторого количества сахара.

Детям очень трудно, гораздо труднее, чем нам, старым обстрелянным воробьям.

И все-таки как хорошо, что они с нами! Что ни на одну минуту не смолкал их милый щебет, не угасала детская улыбка. Уже одним присутствием своим они украшают и согревают нашу суровую

фронттовую жизнь и как бы подчеркивают – ежеминутно, на каждом шагу – великий человеческий смысл нашей борьбы.

Так в гомеровской «Илиаде» незаметный штрих – появление ребенка в эпизоде прощания Гектора с сыном у стен Илиона – превращает борьбу осажденных троянцев из простой баталии в глубокую и волнующую человеческую трагедию.

*1942, январь*

### *Ежики*

Рассказывала санитарка в госпитале.

Жили они всю зиму на кухне – комнату «волной разбомбило». Муж в ноябре погиб под Кингисеппом.

– Детей выходила, обогрела. Они, как ежики, около огонька сожмутся, сидят и не шевелятся.

### *Русский солдат*

В госпитале. Выдвинул ящик ночного столика. На некрашеной боковой стенке его огрызком карандаша нацарапано:

«Вперед смерти не помирай никто, не советую».

### *«Пассаж»*

Возобновилась массовая эвакуация. И снова вакханалия распродажи вещей. Все стены, защитные ящики, щиты на окнах магазинов, заборы (каменные, ибо деревянные за зиму сожгли) густо залеплены объявлениями: «Продается», «Срочно продам», «Дешево продам или обменяю» и т. д. Рынок не вмещает всех, кто нуждается в его услугах. Улица Некрасова – от Литейного до Прудков – превратилась в какой-то огромный Пассаж. Почти у каждого ворот и у каждого подъезда – распродажа вещей. На ковриках, половиках, а то и просто на разостланных газетах разложены самые разнообразные

предметы: обувь, картины, патефоны, самовары, платья, отрезы, куклы, утюги, часы и т. п. Вещи идут за бесценок. Кузнецовский сервис продали на моих глазах за 80 рублей, рояли продают за 2–3 кило хлеба. Продать что-нибудь почти невозможно. Большинство уезжающих вынуждено бросать вещи...

*1942, март*

### *Голос Суворова*

С первых же дней войны городскими властями были приняты меры для охраны памятников. Все, что можно было без труда снять, разобрать, увезти на грузовой машине, было снято, разобрано, укрыто в надежных убежищах.

Опустел Аничков мост. Знакомые с детства клодтовские кони, служившие издавна украшением Невского проспекта, – тем, что подчеркивали и подсказывали стремительность и бескрайность его, – эти славные Буцефалы уже не стоят на своем посту. На постаментах снег, осколки зенитных снарядов.

Опустели сады, палисадники, скверы.

Где-то под бомбоупорными сводами просторного подвала коротают свой век, дожидаясь дня победы, медные, бронзовые, чугунные и гранитные предки и сограждане наши. Одних привела сюда заслуженная личная слава, других – отраженная слава художника, ваятеля, имя которого выбито где-нибудь сбоку, внизу, в уголке пьедестала... Великий русский поэт и заурядный русский царь, математик и баснописец, декабрист и цусимский матрос – все они, так или иначе, дороги нам, и для всех мы нашли укромное место и – что гораздо важнее – нашли время, чтобы устроить их здесь, а ведь время сейчас, когда враг стоит у ворот города, – это и жизнь и смерть.

Памятники более монументальные, не поддающиеся транспортировке, забаррикадированы, обстроены лесами, обложены сотнями и тысячами мешков с песком.

На берегу Невы, у искалеченного здания Сената, возвышается бесформенная груда мешков, укрывающая Великого Всадника.

Такая же песчаная пирамида скрывает на площади перед Исаакием праправнука Петра – Николая Первого. Из-за мешков выглядывает лишь какая-то хищная птичка, украшающая бронзовую кирасу царя.

Тщательно и заботливо охраняются, укрываются и оберегаются ленинградские памятники.

И только один стоит ничем не покрытый, не защищенный, стоит на самом юру, обдуваемый ветрами, дующими и с Невы и с Марсова поля, стоит в горделивой и в то же время спокойной позе, в одеянии аттического воина, с обнаженным мечом и с бронзовым круглым щитом, который легко и уверенно поддерживает левая бронзовая рука его.

Это памятник Александру Васильевичу Суворову.

Еще ранней осенью, в первые месяцы войны, я видел, как вокруг этого памятника воздвигались леса. Видел не раз людей, работающих каким-то изрыгающим пламя инструментом на лесенке, приставленной к плечу генералиссимуса.

А недавно прохожу и вижу, что никаких лесов нет, стоит Суворов на месте и никаких мешков вокруг, никаких защитных щитов, баррикад и бастионов. Как будто приснилось мне это – что там что-то делали, строили или собирались строить.

Вчера я наконец узнал, в чем дело.

Шел по улице Халтурина. Не доходя площади, у ограды Мраморного дворца, вижу – толпится народ. Проталкиваюсь и еще издали слышу взволнованный и торжественный стариковский голос. Высокий густобровый старик с белоснежной «скобелевской» бородой, опираясь, как на пастушечий посох, на старенький, выдавший виды бердан (сторож или дворник, по-видимому), не без удовольствия и не в первый раз, вероятно, рассказывает окружившим его людям историю, которую я, к великому сожалению, не с самого начала слушал.

– И вот стали его, батюшку, развинчивать; стали его электрическим током на мелкие части пилить, чтобы потом унести в безопасное место и там схоронить, значит, как лериквию, то есть как великую святыню. И только стали ему бронзовое плечико подпиливать – вдруг это он, Александр Васильич то есть, голову свою чуть-чуть набок повернул, бровью сердито повел и – мастеру, который к нему

ближе других стоял, говорит... Конечно, не так чтобы очень громко, но все-таки самым настоящим живым человеческим голосом... И главное – с обидой, с большой обидой в голосе промолвил: «В уме ли ты, говорит, братец?! Очухайся! Постыдись! Меня ли, Суворова, полководца, потащите в убежище, где лишь малые дети и дряхлые старичишки от вражеских ядер укрываются? Неужто я, говорит, сам не сумею за себя постоять, я, кого и доньше отечество прославляет и с кого даже безусые новобранцы пример берут», как, значит, следует воевать за отечество... «Не обижай старика, не надо, говорит, оставь меня... уйди!!»

Сказал это и рукой легонько повел, а рука у него чугунная, пудика, пожалуй, четыре, а то и пять потянет... Так что наш мастер, одним словом, кувырком оттудова полетел... Как в цирке, одним словом.

Старик засмеялся. Но, чувствуя, вероятно, что не все поверили в достоверность его рассказа, он, чтобы не выслушивать праздных вопросов, решил сразу поставить все точки над і:

– А ежели кто сумлеваются – так это напрасно. Я ведь не сказки рассказываю, мне ведь не кто-нибудь, а сам этот мастер обо всем рассказал. А он человек партийный, врать не будет. Он сразу, как только его Суворов с лесенки спихнул и как он лишь очухался немножко, – сейчас на трамвай – и в Смольный. Так и так, значит... Там сразу комиссию назначили. Комиссия сюда приезжала. Походили, поговорили и – такое решение вынесли: коли так, коли Александр Васильич не хочет – не надо, пушай стоит.

Вот он и стоит. И вы заметьте – хоть бы что ему! И бомба его не берет. И снаряд не трогает. Даже ни один осколочек, ни один камушек до него, голубчика, не добрался...

А ведь вокруг – вы посмотрите, что делается!..

*1942, март*

### ***Развод***

Молодая интеллигентная женщина. Работает в госпитале санитаркой. До войны была техником-конструктором. Была замужем.

- А сейчас?
- А сейчас разошлись.
- Инициатива ваша?
- Инициатива моя.
- Что же случилось?
- Да как вам сказать... Пожалуй, ничего особенного и не случилось. Просто война помогла мне понять, что я сделала ошибку, что это не тот человек, который мне нужен.
- Что же он – оказался трусом?
- Не знаю... Нет, пожалуй, он не трус.
- Так в чем же дело?
- Просто он очень плохо переносил голод.
- Ну, знаете...
- Нет, нет, вы не представляете, какая это мерзость, когда в такое время... когда все вокруг... и женщины, и дети... и ты сама... А этот красавец бегаёт, как раненый тигр, по комнате, заламывает руки и на всю коммунальную квартиру рычит: «Есть хочу! Есть хочу! Есть хочу!»
- Сколько ему лет? – спросил я, подавляя улыбку.
- Не помню... Двадцать три, кажется.
- Он работает?
- Он учился – в консерватории, – смутилась она. – По вокальному классу. Тенор.

*1942, апрель*

***Я никого не ем***

«Бедная Лиза рвала цветы и кормила свою мать».

Эту выписку из ученической тетради я внес в свою записную книжку год или полтора назад. Тогда это, по-видимому, выглядело хохмой. Сейчас я перечитываю эту заметку и не понимаю, в чем тут соль, что смешного в этой, может быть, несколько неуклюжей и неладно построенной детской фразе?

Я ежедневно вижу, как тысячи бедных Лиз (Нин, Вер и Наташ) на Охте, на Островах, в городских садах и скверах – рвут цветы (и не

только цветы, но и траву), кормятся сами и кормят своих матерей.

Из одуванчика готовят кофе, из лебеды и крапивы – борщ, из подорожника – котлеты и оладьи, из лопуха – салат.

В лектории читаются лекции, они транслируются по радио:

«Съедобные дикорастущие травы и способы использования их».

Почему же карамзинская Лиза – бедная Лиза? Вероятно, потому, что, прежде чем покормить свою мать, ей приходилось, бедняжке, не только рвать цветы, но и продавать их еще потом, а на вырученные деньги покупать молоко, мясо, калачи и т. д.

У нас – куда проще. А кроме того, говорят, что вегетарианцы живут дольше, чем люди, питающиеся бифштексами и отбивными котлетами.

*1942, июнь*

### ***Близнецы***

Ах, какие это были славные поросята! Такие это были милые крепенькие грибки, боровички в белых панамках. А она – маленькая, худенькая, тоненькая, но такая молодая, такая счастливая, такая гордая. Каждая веснушка на ее лице сияла как солнце.

Все их любили, все знали. И когда они переходили улицу, в каждом окне кто-нибудь улыбался.

Некуда и не с кем было их эвакуировать.

Они умирали оба. И она тоже еле держалась, слабенькая, растерянная, одинокая, на иждивенческой карточке.

И вот она решилась на поступок... не знаю даже, как о нем сказать. Подвиг? Преступление? Да нет, всё это не те слова... А те... тех, может быть, и нет в языке человеческом.

Она рассчитала, что двух ей не выжить, не спасти. И перестала кормить одного. И он умер.

А второй выжил. Я видел его вчера. Ходит по двору в своей серой застиранной панамке. Невеселый, худой, бледный, но все-таки ходит. Ходит и даже что-то делает: кидает и поднимает какое-то железное колесико.

1942, июнь

### *Валя*

Утром мы с ней познакомились, совершенно, как говорится, неожиданно-негаданно, а после обеда были уже друзьями и гуляли рука об руку по заснеженным аллеям Каменного острова.

Ей шесть лет без двух месяцев. Зовут ее Валя.

Ленинградская девочка, почти половина жизни которой прошла в осажденном городе. В городе, где бомбы и снаряды падали на улицах чаще, чем снег или дождь. Где в зимние месяцы 1941/42 года не было ни дров, ни воды, ни электрического света. Где вымерли все кошки и собаки. Где вымерли даже мыши и птицы. Где люди не вымерли только потому, что у них была цель и надежда: дожить до победы.

Звучит это немножко выпренне, но это именно так: смерть и денно и ночью стояла у колыбели этой девочки.

Что же из нее выросло? Хилое, замороженное существо? Маленький неврастеник? Замухрышка с преждевременно потухшим взглядом, апатичная, вялая, или, наоборот, истеричная, изломанная, вздрагивающая от каждого шороха?

Да нет, ничего подобного! Девочка Валя – совершенно здоровый, живой, полнокровный и даже розовощекий ребенок.

И не только физически, но и душевно здоровый.

Это кажется странным? Неужели же эти страшные годы никакого следа не оставили в ее маленькой душе? Ну как не оставить, еще бы не оставить, – оставили, конечно.

Однако не нужно забывать, что эти годы были не только страшными. Мир, в котором жила девочка Валя, был наполнен не только звоном стекла, орудийными залпами, стонами раненых и вздохами умирающих. Воздух, которым она дышала, был насыщен, как электричеством, духом великого подвига. Отвага, доблесть и героизм входили в него составной частью – вместе с азотом и кислородом.

Да! Смерть стояла у колыбели девочки Вали. Но смерти пришлось отступить, победила жизнь.



И вот эта жизнь-победительница топает в маленьких серых валеночках по тропинкам и дорожкам, без умолку тараторит, жадно горит в больших черных глазах, буйно, через край клокочет в этом крохотном, веселом и вместе с тем необыкновенно серьезном существе.

Не знаю, как для нее, а для меня это было праздником – бродить с нею по этим печальным, заброшенным и разоренным местам, слушать ее неумолкающий щебет и чувствовать в своей руке маленькую, живую, доверчивую и горячую – даже сквозь толстую варежку горячую – руку.

Все радует ее, все занимает. И скользкое бревно, по которому можно пройти, вытаращив от страха глаза и балансируя руками. И осколок зенитного снаряда. И прошлогодний кленовый лист, «как орден» распластанный на снегу. Все у нее живет, все дышит, все выглядит именно так, как ей хочется. Поэтическое видение мира – это свойство здоровой детской души – ни на секунду ее не покидает.

Вот два тощих высоких вяза сплелись ветвями:

– Смотрите, они здороваются... обнимаются!..

– А вот раненый стоит!..

Действительно, дерево ранено. Немецкий снаряд срезал ему вершину, на сухой надломившейся ветке повисла разбитая скворечница.

Делаем еще несколько шагов и – новое событие:

– Смотрите – все равно как пуговицы на платье!..

И правда, очень похоже: на толстом животе дерева один над другим – три белых фаянсовых ролика-изолятора.

Свернули в боковую аллею. Руины. Остатки кирпичной стены. Дырки. Черепки. И ничего больше.

– Ой, посмотрите! Дом разбит – все равно как бутылка...

Кто из нас, литераторов, отважился бы на такое смелое сравнение? А ведь лучше не скажешь, не выдумаешь.

*Валя поет*

А вечером я был у Пластининых. Была там и девочка Валя. Таня играла, пела. Потом попросила спеть Валю.

Начался обстрел. Слышно было, как над крышей госпиталя, над нашими головами, курлыкая, летят снаряды. Слышны были близкие разрывы. Но никто не обращал на них внимания. И девочка Валя продолжала петь: «Бьется в тесной печурке огонь».

Не берусь, не под силу мне рассказать, что чувствовал и о чем думал я, когда шестилетняя девочка в серых валеночках, слегка наклонив голову и положив руку на черную полированную кромку пианино, нахмурившись, смотрела в угол и тоненьким-тоненьким голоском задумчиво, нежно, серьезно, по-русски, по-бабьи тянула:

До тебя мне дойти нелегко-о-о,  
А до смерти четыре шага-а-а...

Вероятно, это очень грустно и очень трогательно звучало бы и в далеком тылу, и где-нибудь даже на другом континенте. Здесь же, где люди и в самом деле живут и работают вплотную со смертью, слушать это без острой боли было нельзя.

Никогда не забуду этот вечер, и никогда не разлюблю эту нежную и жестокую солдатскую песню.

*1944, январь*

### **Соцобязательство**

Мужская и дамская парикмахерская на углу улиц Некрасова и Восстания. С мороза так хорошо потрескивает и попрыгивает жаром круглая жестяная печурка. Весело щелкают ножницы и машинки, пахнет одеколоном, лаком, паленым волосом. На стене, возле будочки кассирши, огромное объявление, витиевато размалеванное цветными карандашами:

### **СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

54-е отделение Ленпарикмахера, воодушевленное героической победой воинов Ленинградского и Волховского фронтов, освободивших от немецких варваров территорию

Ленинградской области, стремясь оказать всемирную помощь доблестной Красной Армии и приблизить час окончательного разгрома врага, берет на себя следующие обязательства:

- 1) Выполнить январский план к 27 января и февральский план ко дню нашей родной Красной Армии – 23 февраля;
- 2) Культурно и вежливо обслуживать посетителей;
- 3) Вызвать на соревнование отделение № 16.

*Подписи*

Может быть, там, в тылу, и посмеялись бы над этой хартией, но здесь, в Ленинграде, эти громкие слова звучат не смешно, а трогательно и очень созвучно нашему общему душевному строю. И даже всемирная помощь не кажется опечаткой или обмолвкой.

Ведь что значит «культурно и вежливо обслужить посетителей»? Это значит – хорошо, ловко и быстро постричь или побрить клиента, кто бы он ни был – офицер или рабочий, продавец магазина или машинист, трамвайный кондуктор или милиционер... Все эти люди живут и работают в городе, который по праву именуется городом-фронтом. И если работники 54-го отделения быстро и ловко бреют их, тем самым они действительно, в меру своих сил, приближают час окончательной победы над врагом.

Нигде и никогда не брился с таким удовольствием.

*1944, январь*

### ***Крючочки***

Алеха Жданов, которому еще не исполнилось шести лет, недавно спросил у мамы:

– Мамочка, скажи, пожалуйста... У нас на небе звезды, а у немцев что – крючочки?

«Крючочками» Алеха называет свастику.

Взрослые, конечно, посмеялись, хотя, если подумать, смешного тут не так уж много. Мальчик задал вопрос серьезно, и конечно же он

вполне серьезно думал, что те звезды, которые украшают наше небо, наши кремлевские башни и шапки наших бойцов, не могут светить там, в этом Кощеевом царстве, которое называется фашистской Германией.

Нет, Алешенька дорогой, в том-то и дело, что и у них в черном и высоком небе искрятся и горят по ночам золотые бусинки Волопаса, сверкает и рдеет такая же огромная и такая же прекрасная Венера, и огненный Марс, и такой же Арктур, и обе Медведицы, и Кони, и Скорпионы, и Дельфины... И у них на яблонях зреют яблоки, а на вишнях – вишни. И у них на лугах растут белые ромашки и лиловые колокольчики, а не шомпола какие-нибудь и не гвозди. И немецкие матери, как и все матери на свете, кормят своих детей не змеиным ядом и не слюной бешеного волка, а молоком. И дети их так же плачут, и так же смеются, и так же дрыгают голыми ножками, как и наши русские дети, и английские, и китайские, и негритянские...

Это и есть самое страшное, друг мой Алеха! Это и есть то кощунственное осквернение природы, которое названо фашизмом.

*1944, январь*

**Январь 1944\***

*Из старого путевого дневника*

*8 января*

Сегодня в 17.50 наконец «убыл» из Москвы, как сказано в моем командировочном удостоверении. В Москве весь день шел густой святочный снег. Было тепло. На улицах – обычная московская сутолока. На афишах – гастроли Виталия Лазаренко, эквилибристов Буслаевых, премьера в Государственном еврейском театре, концерты, лекции. В Колонном зале – по случаю новогодних каникул – детская елка. У Малого театра – очередь, осыпанные снегом, толпятся болельщики, барышники...

Москва – почти мирная. С кремлевских стен смывают сказочную маскировочную размалевку. И это вызывает даже некоторое сожаление. Ведь привыкаешь даже к таким вещам. Песочком начисто протираются Дом Совмина и другие здания.

Поезд, в котором я еду, называется «Красная стрела». Вагон мягкий. Чистое белье. Подают чай и даже пиво (правда, лимитированное, по каким-то талончикам, которые разносит по вагонам начальник поезда). Все как в доброе старое время. Но нет, конечно, далеко не все. Поезд идет, например, не двенадцать часов, как бывало, а тридцать шесть. В составе – санитарный вагон с красным крестом на крыше.

Во всем нашем вагоне всего две женщины. А из мужчин процентов тридцать – военные, из них три четверти – морские офицеры. Что касается гражданских, то в большинстве это ленинградцы, едущие домой, в блокированный противником город.

...В доброе старое время перед посадкой у вагона стоял проводник – и только. А сейчас железнодорожникам помогает милиция. Не успел поезд тронуться – в коридоре громкие голоса. Приоткрылась дверь, заглядывает и козыряет милицейский лейтенант:

– Прошу извинения. Наряд милиции. Просьба предъявить документы.

Проверка тщательная, придирчивая, как, впрочем, и должно быть, если помнить о маршруте, по которому следует наш поезд.

Расспрашиваю бывалых соседей о Ленинграде, о предстоящем пути. Поезд до Окуловки (или до Тихвина) идет нормальным ходом, а дальше – ползет, как улитка, по шаткому временному полотну.

Самое опасное место – где-то уже возле Шлиссельбурга. Называется «коридор смерти», потому что простреливается с обеих сторон.

Коридор очень узкий, несколько сот метров.

На первой стоянке паровоз перед отправлением громко и протяжно взревел.

– Эвона, – смеются братцы-ленинградцы. – Смотрите, как сильно орет! У нас там остороженько так – рывкнет: «уй-уй», и все. А тут безбоязненно подает голос. Не боится небось, что он услышит.

Публика в вагоне очень приятная. Мягкая, вежливая, деликатная. Неужто и верно ленинградцы – это особая порода? Да, ухо и глаз самым буквальным образом отдыхают. А ведь публика эта – не какая-нибудь там изысканная интеллигенция. Самый заурядный, средний советский служилый люд: техники, общественные работники, офицеры...

*11 часов вечера. Калинин*

Когда-то этот путь (Москва-Калинин) «Стрела» проходила за три часа. Сегодня мы ползли эти первые 150 километров 5 часов 10 минут.

Вышел на перрон. Тихо. Безлюдно. Слегка морозит. Лунный блеск на снежных сугробах в маленьком палисадничке с железной решеткой. И никаких зримых следов исторической битвы за Калинин. Ни одной новой царапины на знакомых стенах вокзала. Только буфета на вокзале нет.

Мой сосед – совсем юный, очень милый и чем-то очень похожий на молодого Чехова, ленинградец, инженер. Рассказывает, что он успел за десять дней посмотреть в московских театрах: «Пигмалион» в Малом, «Царь Федор» во МХАТе. Был в цирке.

– А вчера слушал нашу симфонию. Дирижировал Мравинский. Ах, вы бы слышали, как это здорово, как похоже... Всё, всё вспомнилось: и голодные дни, и темные ночи, и вой сирен, и грохот бомб. И погибших товарищей вспомнил.

«Ниши симфония» – это Седьмая Шостаковича.

*9 января. «Красная стрела»*

Ночь прошла спокойно. Спал крепко, почти не просыпаясь. На дворе мороз. Окошко запорошило инеем. Жарко бьет в это ледяное кружево румяное зимнее солнце. А в вагоне прохладно. В тамбуре кипит самовар. Мягко шагают по ковровой дорожке проводницы, разносят чай в подстаканниках. А у окна в коридоре, расстегнув синие кителя, стоят, с аппетитом курят, громко и весело разговаривают моряки-офицеры...

*12.30. Будогощь*

Вышел, накинул на плечи шинель.

И тут никаких разительных следов оккупации.

Крепкие дома. Никаких развалив. Может быть, это потому, что вокруг леса и леса. Восстанавливать нетрудно.

На деревянном скрипучем перроне много детей. Среди них две девочки лет по десять-одиннадцать. У обеих искусственные верхние зубы – из нержавеющей стали. Удивился, спрашиваю:

– Ты что это – молодая такая и беззубая?

Быстро захлопнула рот, натянув, как пожилая женщина, верхнюю губу на нижнюю.

– Немцы были здесь?

– Ага, были. Только здесь, у нас, не стояли. А вообще два месяца под ними были.

Угостил ребят сахаром. Все сказали «спасибо», но есть сахар не стали, а спрятали в карманы. Приличия ради потоптались немножко и заспешили домой.

И все-таки и война и близость фронта очень даже чувствуются. Стоит грузовой состав, неряшливо – для маскировки – покрашенный мелом.

Обилие военных. Серые шинели, белые полушубки.

На путях – бессчетное множество банок из-под американской тушенки. И тут же тучи воробьев, клюющих канадскую пшеницу.

А в вагоне, во всех купе, одни и те же разговоры, одна и та же тема, одни и те же слова: война, сроки ее окончания, второй фронт, прогнозы, надежды, ожидания...

В сумерках подошли к Тихвину – городу, прославленному ныне грандиозным побоищем, разыгравшимся у его стен.

Впрочем, и тут никаких явных, бросающихся в глаза следов. Потом вглядываешься и видишь, что и вообще ничего нет. Никакого города. Никаких стен. Бесформенное нагромождение деревянных одноэтажных и двухэтажных домов, редкие деревья. У вокзала полуразрушенная часовня. Здание вокзала изранено, стены исцарапаны пулями, осколками. Огромная брешь заделана кирпичом и не оштукатурена.

В стороне от вокзала вдоль запасного пути – обычный для наших железных дорог ландшафт: прилавочек, за ним стоят женщины и девочки, торгующие топленым молоком, клюквой, картофельными котлетами. Цены: молоко – 60 р. пол-литра; клюква – 6 р. стакан; лепешки – 10–15 р.

В буфете военным и командировочным отпускают какой-то мрачный суп из свеклы. К этому хлебову даже не каждый ленинградец решится притронуться. А ведь в свое время мы и столярным клеем не брезговали.

Что-то мешает нам выбраться из Тихвина. Тронулись было, стали, опять пошли, двинулись назад, стали, опять проползли немножко, опять назад.

За окном уже беспросветный мрак.

Морозит. А в вагоне стало тепло, почти жарко.

Волховстрой.

Вот тут уж война была самая настоящая.



Вокзала нет. Зияющие дырами остовы зданий.

Сплошное нагромождение битого камня.

Глядеть на все это страшновато.

И все-таки – так хорошо, так тихо, так нежно морозит и так легко, бесшумно порошит, что не хочется возвращаться в свой душный и уже прискучивший вагон.

*10.1.44 г.*

В нашем купе едет пожилая, сидящая женщина, «смольнянка», то есть работник Смольного. Говорит – из особого сектора, но думаю, что не больше чем телефонистка или машинистка. Ужасно фасонит и гордится тем, что у нее «смольнинская броня», и тем, что на груди у нее медаль «За оборону Ленинграда». В общем, хоть и не ахти какая умница, а все-таки очень милая, уютная. В купе взяла на себя роль хозяйки, и о ней тоже заботятся. Единственный грех, который трудно ей простить, – это необузданная фантазия. Всю дорогу она без зазрения совести пугает меня «ленинградскими ужасами»...

...О том, что делается в городе сейчас, соседка наша говорит, закатывая глаза. Послушать ее, так от Ленинграда ничего не осталось.

– Улица Восстания? Вы жили на улице Восстания? (Отворачивается и зловеще покачивает головой.) Н-да.

– А что такое?

– Увидите.

– Нет, в самом деле!..

– Что же я буду вас пугать. Приедете – увидите.

– Но ведь там живут?

– Н-да. Живут.

– А Бассейная?

– Это какая Бассейная? Ах, Некрасова? От Некрасовой, если хотите знать, камня на камне не осталось. Там и на той и на этой стороне улицы – объявления: ходить при артобстреле опасно.

Невольно ловишь себя на том, что губы у тебя пересыхают, а голос несколько спадает и становится каким-то сиплым.

– Простите, а как же... кхе-кхе... люди ходят?

Снисходительно улыбнулась.

– Увидите, увидите, дорогой товарищ! – И, по-матерински погладив мою руку: – Не волнуйтесь.

Через полчаса упомянул в разговоре, что мне нужно будет съездить на Васильевский остров.

– На Васильевский?! Съездить?! Ну, с этим придется несколько лет подождать. Трамваи идут только до набережной, дальше – сплошные развалины.

И так далее, в этом же духе. Правда, у меня есть маленькая надежда, что тетенька кое в чем пересаливает и привирает, но все-таки подготавливаю себя к худшему. Из памяти не выходят руины Волховстроя. Таким – или почти таким – представляется мне и Ленинград.

#### *14.1. Ленинград, «Астория»*

Записываю коротко то, что осталось в памяти из путевых впечатлений.

Я уже упоминал о моем втором соседе – молодом инженере, работающем на Второй ГЭС. Очень милый, начитанный, интеллигентный. С каким волнением, с каким неподдельным гневом говорил он об артиллерийском обстреле жилых кварталов Ленинграда.

– Неужели они, идиоты, не понимают, что каждый снаряд, выпущенный по городу, – это счет, по которому придется платить?! Ведь уже должны понимать!

Рассказывал о судьбе станции зимой 1941/42 года. Работала станция без перерыва (был перерыв на одну-две недели, когда замерзли котлы). Все, кто мог, приходили в положенное время, а уходили – позже положенного. Работа заключалась «в охране и сбережении энергетического хозяйства». Ток не вырабатывали – не из чего было.

– Звонят из Ленсовета: «Дай сто киловатт». – «Не могу. Сами при коптилках сидим».

Это – в те дни, когда в городе не выходили газеты, молчало радио.

Потом – праздник. Раздобыли торф, отогрели трубы, осветили цех, выработав в первый день, кажется, пятьдесят или семьдесят киловатт-часов.

...Рассказывал о том, как в прошлом году немцы разбомбили один из агрегатов станции. Над районом долго крутился немецкий самолет. Батареи молчали, думали – разведчик. Внезапно он «совсем как ястреб» спикировал и бросил бомбу – с очень большой точностью.

А совсем недавно дальнобойный снаряд разрушил новую столовую, над оборудованием которой долго и любовно трудился весь коллектив: столики с белыми скатертями, цветы и т. п.

...Тот же инженер, «по интуиции» угадав мою профессию, говорил:

– Что же вы нашего Тынянова не сберегли?..

«Наша Берггольц», – говорил он и по-настоящему радовался такому бурному, такому заметному росту ее таланта...

...Ехал в вагоне лейтенант, молодой, красивый, нарядный, из штабных. Все стоял в коридоре и рассказывал анекдоты, большей частью армейские и большей частью похабные.

Инженер мрачновато слушал, потом прикрыл дверь в купе и тихо, как бы извиняясь, сказал мне:

– Незачем нашей дамочке просвещаться.

...Ехал в одном из купе высокий худощавый человек, очень скучный и задумчивый. Все сидел в коридоре на откидной скамеечке, и поглядывал в окно, и постукивал косточкой пальца по деревянной раме.

Разговорился с ним.

– В Ленинград?

– В Ленинград... да.

– В командировку или возвращаетесь?

– Нет. Не возвращаюсь. В командировку.

– А в Ленинграде давно не были?

– Последний раз был месяца за два до войны.

– Н-да.

Вижу, что и сам он думает: «Н-да».

Страшно было смотреть, как волновался и «переживал» этот человек. Еще его счастье, что не было в их купе такой спутницы, как наша милая смольнянка.

В Тихвине он в первый раз вышел из вагона. И даже объяснил, зачем это делает:

– Дети спросят: «Папа, ты Тихвин видел?». Надо посмотреть...

Ожил он и даже слегка повеселел только тогда, когда наш поезд шел уже в самом Ленинграде.

...Шлиссельбург и новый мост возле него мы миновали ночью. Просил проводницу разбудить, она пожалела. В предрассветных сумерках вторично перебрались через Неву – по Финляндскому мосту. Пресловутый «коридор смерти» прошли ночью, задавая храповицкого.

...И вот – Ленинград. Знакомый перрон с «застекленной» (увы, ни одного стекла давно уже не осталось в ней) крышей. Крепкий мороз. Снег. Синие утренние тени. Суровая тишина на вокзале. Очень немного встречающих. Два-три носильщика. Дамы в валенках.

У входа в вестибюль – несколько милиционеров в серых фронтальных шинелях проверяют документы.

У меня на руках командировка ЦК ВЛКСМ. Вероятно, оттиснутые на бумаге крупными буквами слова Центральный Комитет действуют магически. Бумаги мои просматривают мельком.

– Пожалуйста, товарищ... проходите.

Все до спазмов в горле, до слез, до сердцебиения знакомо.

Знакомые с детства своды Николаевского вокзала!

Хочу позвонить своим по автомату, но у телефонной будки огромная очередь, а ждать я не могу, не терпится. Взвалив на спину тяжелые мешки, спешу к выходу.

Ленинградцы в поезде хвалились, будто в Питере на улицах идеальный порядок – не то что в Москве: снег убран, лед с тротуаров сколот.

И вот – площадь Восстания. Еще темно (в Москве в этот час гораздо светлее). Чуть-чуть развидняется. Мигают синие лампочки у ворот. Площадь покрыта густым, выше колен снегом. По узенькой – не разойтись со встречным – тропиночке пересекаю наискось площадь, иду к Знаменской.

Перспектива Невского тонет в предутренней мгле. Людей на улице очень немного, но, по-видимому, больше все-таки, чем в другое время. Спешат на работу.

Походка у всех бодрая. Дистрофических лиц не видно. И не видно на площади развалин. Силуэт города по первому впечатлению не изменился.

Улица Восстания цела.

За ночь намело целые горы снега. Даже по тротуару идти можно только по тропочке, которую протоптали первые утренние пешеходы.

Чтобы «приучить себя», иду нарочно по той стороне, где почти на каждом доме сделаны – белым по синему – трафаретные надписи:

«Граждане! При артобстрелах эта сторона улицы наиболее опасна!»

Рядом, на стенах, заборах и на дощатых ящиках-ставнях (их осталось немного) такие же трафаретные призывы:

«Берегись гриппа! Сохраняй ноги в тепле!»

«Не оставляй топящуюся печь без присмотра!»

«Граждане! Не оставляйте зажженных светильников!»

В этом возгласе что-то даже античное или средневековое.

Я дома. Но жить мне негде. Большая комната заселена. У мамы тепло, уютно, да тесно. Третьему не поместиться. А в мою комнату страшно заходить. К приезду моему там навели порядок, но до чего же убогий этот порядок! Стены и потолок черны от копоти. В комнате шесть-семь градусов мороза! Стекла не вставлены. Фанера еле держится. А ведь я жил здесь – всю долгую зиму 1941/42 года.

Избаловал я себя в Москве и на фронте!

Устроился в «Астории». Тоже убого, холодно, кое-как, на живую нитку, но – после улицы Восстания – все выглядит каким-то постыдно-развратным.

Занимаюсь тем, что хожу по городу и разношу письма и посылки.

Мне повезло. Оказывается, уже два-три дня в городе не было обстрелов. А до этого, говорят, творилось что-то неопишное. Десятки и даже сотни жертв за один день.

Сегодня вечером шел по улице Чайковского, и вдруг над головой – знакомое и уже забытое:

Пи-и-и-и-у-у-у!..

И через секунду-две где-то в приличном отдалении раскатистый грохот.

Один, другой, третий удар.

А на улице всё по-прежнему. Шел тихий святочный снег. Дети катались на финских санках. На приступке подъезда пожилая женщина колола березовые полешки.

Люди шагали, не обращая внимания на это зловещее курлыканье вражеских снарядов. Было в этом что-то и умильное и – страшное, противоестественное.

...У Г. сияла, вся в электрических лампочках, огромная, до потолка, ёлка. Девочка лежала в постели (у нее грипп), разглядывая какое-то лото «Дядя Степа».

Папа Г. чинил электрическую плитку. А за окном все бухало и грохало.

Пришла из детской поликлиники женщина-врач, молодая, в валенках, в белом халате, натянутом на зимнее пальто.

Когда я в разговоре заметил, что «все-таки постреливают», она сказала:

– Да, но это же далеко...

– А где, по-вашему?

Она склонила голову, как будто выслушивая больного, прищурила глаз. За окном опять бабахнуло.

– Пожалуй, на Петроградской, – сказала докторша.

*Позже*

Был у Р. М. Гуревич в больнице Эрисмана. И оказалось, что давешняя детская докторша была права. Когда я третьего дня сидел на елке у больной Ирочки Г., немцы как раз обстреливали площадь Льва Толстого и окрестные улицы.

Ревекка Марковна мне рассказывала:

– Третьего дня у нас погибла молодая женщина-врач. Накинула на халат пальтецо, побежала на площадь Льва Толстого в булочную за хлебом. Через полчаса уже лежала в больничном морге.

(Я вспомнил, как я тогда разбирался в письмах и посылках и раздумывал, куда мне раньше поехать: на Петроградскую или на улицу Чайковского. Поехал на Чайковскую.)

...Сама Р. М. живет тут же, при больнице. У нее комната, довольно уютная, на четвертом этаже.

Недавно позвали Р. М. вниз, в палату. В это время начался обстрел.

Когда Р. М. вернулась к себе, в комнате лежало восемь увесистых осколков. Стекла в окнах, недавно лишь вставленные, опять выбиты.

Сейчас комната еще раз приведена в порядок, однако все в порядок не приведешь. Входная дверь и дверца платяного шкафа в трех местах пробиты насквозь. Следы на потолке и на стенах кое-как замазаны известкой.

...Несколько дней не записывал, некогда.

11-го и 12-го было сравнительно тихо.

Тринадцатого где-то на окраинах постукивали, но не очень.

Ленинградцы считают, что вообще все эти дни у них «выходные».

Четырнадцатого к вечеру стало погромыхивать довольно основательно. Поздно вечером шел мимо Публичной библиотеки. В конце Садовой (за Нарвскими, следовательно, воротами) огненные сполохи. Характерные розовые вспышки (электрические разряды трамваев – те сине-голубые, бледные, лунные). А может быть, это и не в Ленинграде, а где-нибудь дальше, за чертой города, – в Петергофе или в Кронштадте?

Хожу, хожу – и не могу насытиться, наглядеться, налюбоваться и нагореваться.

Побивал уже очень много где – и на Петроградской стороне (у мечети, у Ленфильма, у дворца Кшесинской), у Исаакя, у Николы Морского, на Фонтанке (140 и 139), на Вознесенском, на Песках, на Старо-Невском и на том Невском, где Дума, Гостиный двор, Публичная библиотека, клодтовские кони, Пассаж...

Даже перечислять все это приятно и радостно.

А бывает, идешь веселый, счастливый, и вдруг будто из погребка дохнет на тебя чем-то ледяным, кладбищенским. Нет, кажется, уголка в городе, где бы не мерещились мне свежие могилы.

Вот здесь, на Аничковом мосту, я видел последний раз Танечку Гуревич. На следующий день бомба упала на Гостиный двор,

разрушила здание, где помещался «Советский писатель». Вместе с другими не стало и этой милой девушки.

А вот улица Маяковского. Здесь, в доме № 11, жил Даниил Иванович Хармс. Я никогда не понимал и не мог оценить его «взрослых» стихов, но то, что он успел сделать для детей, было больше чем талантливо. Я был у Д.И. дня за два до его гибели. Я всегда знал, что он умен, его чудаковатость была маской, а шутком гороховым, каким его считали некоторые, он никогда не был. Мы пили с ним в тот вечер дешевое красное вино, закусывали белым хлебом (да, был еще белый хлеб!). Разговор шел у нас главным образом о войне. Даниил Иванович был настроен патриотически и оптимистически, он верил, что немцев разобьют, и считал, что именно Ленинград, стойкость его жителей и защитников решат исход войны. А ведь в те дни немцы на бешеной скорости приближались к воротам нашего города.

...А за углом, на улице Чехова, жил милый друг мой Борис Михайлович Левин. Жил и больше не будет жить. Ни здесь и нигде в этом мире...

В отличие от своего учителя Хармса, он был настроен безысходно мрачно, немецкое нашествие его пугало.

Веселый, добродушный, мешковатый, – С. Я. Маршак называл его «гималайским медведем», намекая отчасти на внешность, отчасти на имя Левина<sup>[3]</sup>, – уютный, чем-то очень похожий на милейшего Л. М. Квитко, Борис Михайлович вдруг, на глазах у нас растерял всю свою уютность, весь оптимизм. Еще в 1939 году, когда немцы, перестав играть в прятки, в открытую пошли «завоевывать мир», он сказал мне (или повторил чьи-то слова):

– Кончено! В мире погасли все фонари.

И все-таки в первые же дни войны он пошел записываться в ополчение. Поскольку он был, как и все мы, офицером запаса, его направили в КУКС, то есть на курсы усовершенствования командного состава. Там он учился три или четыре месяца. Потом получил назначение на фронт, который был уже совсем рядом.

Погиб Борис Михайлович в открытом бою – на железнодорожном полотне, в 25 километрах от станции Мга. Первый немец, которого он увидел, погасил для него все фонари, и солнце, и звезды...



Не знаю, где сейчас его дочка Ира. Сколько ей? Лет уж семь? А книги его стоят на полках библиотек, и читать их, надеюсь, будут долго: и «Федьку», и «Лихово», и «Улицу Сапожников», и «Десять вагонов»...

С той же улицей Маяковского связано и еще одно тягостное воспоминание. Вот здесь, на этом перекрестке, на углу улицы Жуковского, всю зиму пролежал труп старика. Шел человек, упал и уже не поднялся. И почти все, кто тащился тогда тротуаром, почти машинально перешагивали через это замерзшее, одеревеневшее, серое скрюченное тело. А я не перешагивал, я обходил стороной. И где-то в глубине души, помню, шевелилось горделивое и даже хвастливое: вот, значит, я еще живу, значит, еще не потерял облика человеческого. До середины марта мне почти каждый день нужно было ходить этой улицей. И вдруг в одно черное зимнее утро я с горечью в сердце обнаружил, что уже несколько дней шагаю через труп. Значит, не стало уже сил делать эти несколько шагов в обход. И душевно я ослаб: уже не пугало, не ранило это неуважительное, кощунственное отношение к человеческому телу.

И вот – как разительно неузнаваема эта улица Маяковского сейчас!

Снег уже убран. Город чист, опрятен, благоустроен.

Работают на улицах и взрослые, и старики, и дети.

На углу улицы Некрасова, у здания школы (теперь там женская школа), маленькие девочки, второклассницы, возят на санках снег. Крепкие, здоровые, розовощекие и деловитые, как-то по-особенному, по-ленинградски, серьезные.

Долго смотрел, любовался, как работают эти маленькие гимназисточки.

Вечером ехал в полупустом вагоне трамвая через Кировский мост. Сидел на детских местах – у выхода. Окна заиндевели. На секунду приоткрыл дверь. И навсегда запомнилась эта сказочная картина, мимолетное петербургское виденье...

Решетка моста, за ней освещенная (от Смольного) луной Нева, длинная черная полынья, а дальше – заснеженная набережная,

смутный силуэт Исаакия... Морозная дымка над всем этим, как будто иней висит у тебя на ресницах.

Почему-то вспомнил в эту минуту девочек, работавших на улице Некрасова. И вдруг как ознобом охватило меня сладостное чувство счастья.

«Быть Ленинграду!» – подумал я. И, может быть, даже не подумал, а вслух это сказал.

*15 января*

Среди ночи проснулся от совершенно невообразимого гула. Так бывало осенью сорок первого года, когда поблизости работали все окрестные зенитки. Но на этот раз это были не зенитки. И не поблизости, а где-то очень далеко. Казалось, что посылают снаряды сразу несколько тысяч орудий.

От этого грохота и грома просыпался среди ночи раз пять-шесть. Утром, часов в восемь, в номере звенело все, что может звенеть и сотрясаться: оконные стекла, зеркала, подвески на люстрах.

Такого на моей памяти в Ленинграде еще не бывало. И вообще я никогда не слышал такого орудийного грома.

Почему-то вдруг решил, что это – наши, что началось наступление.

Радио в номере нет. Окно, выходящее на Исаакиевскую площадь, затянато льдом.

Лихо насвистывая («Гром победы раздавайся»), принял ледяной душ, быстро оделся.

И все время прислушивался. Постепенно стал различать, где свои, где чужие. Ухо у меня все-таки тренированное.

Невдалеке, где-то в соседнем квартале, рвались немецкие снаряды. Но их было немного. И не они создавали эту какофонию. Вели музыку боя наши орудия – стреляя где-то все-таки очень близко, по-видимому с кораблей, стоящих на Неве.

В начале десятого часа вышел на площадь. Грохот стоял титанический. Казалось (не преувеличиваю), что вот-вот от сотрясения воздуха рухнет, рассыплется громада Исаакиевского собора.

А на улице – хоть бы что.

Три девочки-школьницы бежали (то есть не бежали, а шли вприпрыжку), размахивая сумками и портфелями. Одна поотстала, у нее расстегнулось что-то – ботинок или сумка. Застегнув, она, весело напевая, кинулась догонять подруг.

Первые две идут мимо. Прислушался к их разговору:

– Хорошо погибнуть вместе с мамой, правда? А то мама погибнет – что я одна на свете делать буду?..

Девочкам лет по девять, по десять.

Бродил по городу. Гремело и грохотало, но где и что – не понять было.

Пешком дошел до улицы Восстания. Случайно застал Лялю дома. Говорит – ходят упорные слухи, что началось генеральное наступление – со всех сторон: и за Нарвской, и на перешейке, и в сторону Ижоры. Немцы отстреливаются бешено, но главный шум действительно создает наша артиллерия.

Был на радио. Так и есть. Началось.

В радиокомитете насмешило меня и умилило, что все женщины – редакторы, артистки, дикторы – ходят в валенках и в стеганых ватниках. После Москвы это бросается в глаза.

Запомнилось. На Невском у ворот стояла молодая женщина с грудным младенцем на руках. Ярко-синее шелковое одеяльце, белое кружево. А над головой женщины, пересекая Невский, летели, повизгивая, снаряды...

Сегодня в ленинградских газетах («Смена» и «Ленинградская правда») опубликовано решение Ленсовета «О присвоении прежних названий некоторым ленинградским улицам, проспектам и площадям». Проспект 25 Октября – снова Невский, Садовая – Садовая, а не улица 3-го Июля. Суворовский стал снова Суворовским, Измайловский – Измайловским, Большой – Большим и т. д.

Об этом много говорят в городе и все почему-то очень радуются.

Впрочем, не почему-то, конечно.

Отмененные названия вообще никто никогда не признавал (кроме разве трамвайных и автобусных кондукторш). И это не консерватизм

обывателя, как может кому-нибудь показаться. Нет, просто такие названия, как проспект 25-го Октября или улица 3-го Июля, не отвечают законам нашей этимологии – это перевод с французского (улица 3-го Июля – это совсем как какая-нибудь «рю дю каторз жюйе»).

Принял веронал, лег, повертелся часа полтора, да так и не уснул. Встал, накинул шинель и вот сижу, пишу.

Все думается, вспоминается. И нынешнее вспоминается, и вчерашнее, и то, что было два года назад.

...Шел третьего дня мимо фабрики «Ленфильм» и вдруг вспомнил дядю Колю, его грустную, трогательную, такую простую и вместе с тем такую необычную судьбу.

Кто из мальчиков в детстве не мечтал о профессии пожарного! Впрочем, в наши дни мечты у ребят стали другими, более высокими: их прельщает судьба Чкалова и Гастелло, папанинцы и челюскинцы, Матросов и Зоя Космодемьянская.

А в годы, когда подрастал дядя Коля, профессия пожарного была самой героической из всех «мирных», гражданских профессий. Мечтал об этом славном поприще и маленький Коля Пурьшев. Мечтал горячо, страстно. Он был гимназистом пятого класса, когда сводный брат его, мой отец, подарил ему в день рождения настоящую пожарную каску. Говорят, Коля не расставался с нею даже во сне. В Петергофе, на даче, он еще подростком состоял в добровольной пожарной дружине. О пожарах он мечтал, как другие мечтают о коньках или о поездке в цирк. Он знал адреса всех частей, имена всех брандмейстеров и брандмайоров.

Но все это было ненастоящее, игрушечное, любительское, а он мечтал о настоящем, мечтал о борьбе с огнем до последнего часа.

Такие мечты редко сбываются. Точнее сказать – никогда не сбываются. А у дяди Коли мечта его отроческих лет сбылась. И помогла этому революция, потому что вряд ли до революции и без революции мог бы сын богатого подрядчика, акционера, домовладельца стать пожарным.

Революция «раскулачила» дядю Колю, лишила его «прав и состояния»... И он был по-настоящему счастлив этим, милый наш

дядя Коля! Отслужив в Красной Армии, отболев тифами и прочим, он сразу же поступил в пожарные и за пятнадцать лет проделал в этой сфере головокружительную карьеру – пройдя путь от рядового топорника до начальника пожарной охраны на ленинградской кинофабрике.

На этом посту он оставался до последнего часа.

Умер дядя Коля в январе 1942 года от голода. За несколько дней до этого умер его сын Павлик.

В ночь с 26 на 27 января я видел сон – будто сидим мы в ресторане (такие сны посещали нас, блокадников, часто). Нас четверо. Мы трое пьем вино, а четвертый – дядя Коля – пьет молоко.

Проснувшись, я подумал и сказал маме:

– Умер дядя Коля.

Дней через пять-шесть пришла жена дяди Коли Марья Михайловна и сказала: да, рано утром 27 января дяди Коли не стало.

Что это такое – не знаю, не понимаю и не пытаюсь понять. Но так было.

*16 января*

Только что встал. Ночью было совсем тихо. А утром, часов в 6–7, началось. Правда, это была не такая громоподобная какофония, какая разбудила меня вчера. Между отдельными залпами все-таки можно было различать паузы. Но стекла звенели – и в окнах и в зеркалах.

Не одеваясь, подбежал к окну, раздвинул шторы.

Оттепель!.. Лед на окне растаял.

Фу, дьявол! Это на руку немцам. Мороз – наш старый и до сих пор, пожалуй, самый надежный из союзников.

Конечно, не только от мороза, но и от мороза тоже, зависел успех наступления.

Но зато я вижу сейчас площадь (со вчерашнего дня она опять Исаакиевская, а не Воровского). Вид ее суров, но прекрасен. Исаакий сверху оттаял. Его купол, позолота которого замазана для маскировки чем-то серым, – мокрый. На узеньких карнизах над портиками – тающий снег, мокрое железо...

Как это ни странно, а на площади и вообще куда хватает взгляда – ни одного разбитого здания. Даже бреши от снаряда нигде не вижу. Это значит, что поблизости нет никаких «объектов», по-видимому.

Правда, стекол нет. Всюду желтые прямоугольники: фанера с черными щелками форточек. А кое-где – главным образом в верхних этажах – ни стекол, ни фанеры, ни форточек. Там не живут.

Нежилой вид у хорошо знакомого мне здания Института истории искусств.

С выбитыми стеклами стоит и здание германского консульства против моего окна.

В скверике – снег, протоптанные во всех направлениях дорожки, куцые кустики.

Редкие прохожие, редкие машины. Два дядьки, согнувшись наподобие репинских бурлаков, тянут по оголенному асфальту мостовой санки с двумя полутораметровыми поленьями.

*17.1.44 г.*

Наступление, по-видимому, если и не сорвалось, то затормозилось. Помешала оттепель. Сегодня вечером шел дождь.

Вчера немцы опять стреляли по городу, но больше по окраинам.

Я много где успел побывать – ходил, выполнял поручения. Был на Конногвардейском бульваре, у Мариинского театра, у Николы Морского, у почтамта. Этот район, кажется, наиболее пострадавший (и страдающий) от немецких снарядов (если не считать южных окраин). На площади Труда в 1941 году упал первый (или один из первых) дальнобойный снаряд. Тут много развалин, много пробоин и кирпичных заплат на стенах домов.

На Театральной площади – тоже. Два угловых дома на улице Глинки (у Офицерской) – одни стены с зияющими дырами оконных проемов. Искалечено (но уже приводится в порядок) здание театра. Немало увечий и на здании Консерватории.

На Екатерингофском – против Никольского переулка – свежая рана. Снаряд угодил в подъезд, разворотил его – как сказала мне какая-то старушка – совсем недавно, часа полтора назад.

На белом снегу лежит розовая кирпичная пыль.

На небольшой площади перед папертью Никольского собора – голуби. Милые Никольские голуби, откуда и когда они снова сюда прилетели? Ведь в тот год не было ни одного. И не только здесь – во всем городе.

Вспомнилось, как в феврале 1942 года, возвращаясь от Нины Борисовны, я зашел в собор... Там стояли, готовились к отпеванию, двадцать четыре гроба! Нет, я написал неправду, – в том-то и дело, что в гробу покоился только один, а остальные покойники лежали – кто в ящике, кто в корзине, кто в длинном черном сундуке. Один, помню, лежал, сложив на груди руки, в опрокинутом на спину платяном шкафу.

Здесь на углу Вознесенского и Екатерингофского, в кондитерской Агулянского, в годы нэпа работал «в мальчиках» брат Вася.

Вот уже и Васи нет. «Никогда, никогда не прочту я больше его милых каракулек», – писала мне в прошлом году мама.

О Васиной смерти сообщил мне его товарищ по койке. Умер Вася в Рыбинске, в доме инвалидов Великой Отечественной войны. Есть уже и такие.

А здесь не могила, а целый фамильный склеп.

В этом доме я жил – с перерывами и в разных квартирах – в общей сложности лет восемь. И только недавно узнал, что «на сем месте, в доме церкви Вознесения» останавливался, впервые приехав в Петербург, Н. В. Гоголь. Квартиру он снял, если не ошибаюсь, по объявлению, вывешенному у заставы.

В мое время в очень маленькой квартирке на четвертом этаже, под самой крышей, проживало семейство Лебедевых – две тетушки, бабушка и милая девушка Таня, очень (даже необыкновенно) талантливая. В девятнадцать лет она с блеском кончала РЛУ (Рабочий литературный университет), но не кончила, не успела – ее исключили. Оказалось, что покойный Танин дедушка был священником.

В первую блокадную зиму умерли одна за другой Танина бабушка и обе тетki. Таня перебралась к Нине Борисовне... До последнего часа она писала автобиографическую повесть. Закоптелая тетрадь эта долго хранилась у меня, минувшей осенью я передал ее Таниной сестре Наташе.

Запишу, как это случилось.

После демобилизации ЦК ВЛКСМ направил меня на работу в издательство «Молодая гвардия». Т. П. Карасева, узнав, что я ленинградец, спрашивает:

– Вы случайно не знали там Лебедевых?

– Каких Лебедевых? Ленинград – большой город. Художника Лебедева? Владимира Васильевича?

– Нет, не художника. Это семья моей подруги. Они жили в районе 31-го почтового отделения.

Меня осенило.

– На канале Грибоедова?

– Да, на канале Грибоедова.

– Таня?

– Да, Таня.

В подобных случаях говорят – тесен мир.

Между прочим, Наташа (к этому времени уже овдовевшая солдатка) только от меня узнала о гибели сестры и других своих близких.

Таню я видел за день, за два до ее смерти. Укрывшись двумя одеялами, она лежала в углу на сундуке, голова у нее была ясная, она все понимала и лучше всего, к сожалению, понимала, что умирает. Мать Нины Борисовны что-то жарила на буржуйке, что-то из дуранды или из подошвенной кожи. Крохотную порцию этого блюда предложили и Тане. Она отказалась. Мне навсегда запомнился ее слабый, но чистый, отчетливый голос:

– Пусть это съест Алексей Иванович. Мне не надо. Я все равно умру.

Нет, не буду врать, будто кусок встал у меня поперек горла. Таню уговаривали, она сердилась, мотала головой. Слегка поколебавшись, я съел этот лишний кусочек жареной кожи. Вспоминать об этом мне не стыдно. Мне просто жалко, очень жалко всех – и себя тоже.

Нина Борисовна и мать ее, как и многие ленинградцы, в том числе и храбрая наша мамочка, дали зарок – стоять до конца, Ленинград не покидать ни при каких обстоятельствах. Летом 1942 года я послал маме из Москвы телеграмму: «ЦК ВЛКСМ и министерство просвещения предлагают тебе и Ляле вызов, сообщи согласие».

Ответ был короток: «Никуда не поедem».

У Нины Борисовны и у Софьи Михайловны стойкости хватило до середины лета. Пугал их не голод – пугали артиллерийские обстрелы.



Дом их стоит на одном из самых обстреливаемых участков, на той прямой, которая соединяет Балтийский вокзал с мостом Лейтенанта Шмидта. На этой же линии расположена и больница имени 25-го Октября, куда еще в сорок первом году поступила работать Нина Борисовна. Она говорит, что с ужасом, какого никогда раньше не испытывала, переходила два раза в сутки трамвайный мостик через Фонтанку. Но бог миловал, все было благополучно. В конце июня, кажется, они с матерью решили эвакуироваться. Н. Б. ушла с работы, стала хлопотать о вызове. Все уже было на мази, вещи сложены, зашиты в мешки, посадочные талоны лежали в сумочке. Накануне или в день отъезда выяснилось, что нужна какая-то справка с места работы. Нина Борисовна побежала (не побежала, конечно, а поковыляла) в больницу. И тут, на Подъяческой, у въезда на трамвайный мост, ее настиг бризантный снаряд.

Двадцать восемь осколочных ранений.

Девять месяцев в той же Александровской больнице.

Ленинград они так и не покинули. И теперь уже не хотят покидать. С июля прошлого года Нина Борисовна работает в школе рабочей молодежи, преподает историю. А госэкзамены в университете она сдавала в самое черное время – в те страшные дни, когда Таню Лебедеву зарыли в ленинградскую землю.

...В ленинградской же земле покоится и Рая Белых. Но – где, на каком кладбище, в какой братской могиле?

Впрочем, я ведь не знаю, где, на каком кладбище, в какой яме лежит и сам Гриша.

Заходил в Дом веселых нищих, видел людей, повинных в Гришиной гибели.

.....

Был в той квартире, где в 1926 году мы писали с Гришей «Республику Шкид». Квартира заселена, обитаема, но ни одного знакомого лица я там не встретил. Попросив разрешения, заглянул в «свою» комнату, постоял и в той комнате, где, затворившись от «мира», запасшись махоркой и хлебом, несколько месяцев строчили

мы нашу лихую мальчишескую повесть. В этой комнате в позапрошлом году умерла от голода Рая.

Дочка Белых Таня эвакуирована на Большую землю с детским садом. Повторяет судьбу отца. Не дай ей бог повторить все, что выпало на его долю!

*Позже*

...Хожу по городу, разношу письма и посылки, узнаю судьбы погибших и пропавших и – с гордостью и с умилением сызнаю знакомлюсь с милыми земляками своими, ленинградцами.

Думалось, что это преувеличение, что это в Москве и на фронте, «с горки» так виделось и вспоминалось – о вежливости, предупредительности, прославленной культурности ленинградцев.

Нет, в самом деле... Всякое бывает, конечно, есть и хулиганы и грубияны. А все-таки постоянно чувствуешь, что ты не где-нибудь, а в Питере.

Спросишь на улице, как пройти туда-то, где остановка трамвая или в этом роде – сразу же отзываются все, кто поблизости. Отвечают любезно. Если не знают – извиняются. В трамваях... нет, врать не буду, в трамваях ругаются, конечно, но как-то, я бы сказал, не по-настоящему, а как будто в театре, да еще на утреннем спектакле – для детей.

Обедал по талону в «Северном» ресторане, на Садовой, 12. Там, среди прочих, много пишущей братии: ветераны блокадного Ленинграда – Голичников, Добин, Флит, Людмила Попова.

В ресторане кормят не по-блокадному и даже не по-московски изысканно: к супу дают кулебяку, на сладкое – бисквит.

После блокадной дистрофии (а ею переболели, в разной, конечно, степени, все, кого я знаю) все выглядят полными, растолстевшими.

Вечером был на Каменном острове у Пластининых.

Сердце застучало, и ноги подломились, когда за Строгановским мостом вышел из третьего номера трамвая.

По этим аллеям и дорожкам два года назад я ходил с палочкой, худой, нестриженный, бородатый. Вот тут, кажется, на этом месте какая-то девочка окликнула меня:

– Дедушка, а дедушка! Сегодня какой день – четверг или пятница?

Дедушка! Мне тогда еще тридцати четырех лет не было.

А вот на этой – Первой Березовой – аллее дребезжащая машина «скорой помощи» в беспросветном мраке холодной мартовской ночи везла меня тогда, весной сорок второго года, в бывший санаторий «Страховик». Парез, цинга и дистрофия III (третьей степени) не помешали мне в наимельчайших подробностях запомнить эту ночь и эту поездку. В темноте наша машина заблудилась и налетела на шлагбаум какой-то военной заставы. В кабине шофера вылетели стекла. Кто-то пронзительно свистел. Бегал в темноте лучик электрического фонаря. Шлагбаум был белый, из тоненьких необделанных березок.

Каждый дом, каждый мостик, каждую тумбу и фонарь на этой дороге я помню.

Сколько раз – уже поздней весной и на пороге лета, – путешествуя контрабандой в город, я отсчитывал робкие свои, неуверенные и неумелые шаги и давал себе задание: вот до этого мостика пройти без отдыха! Вот там, у этого домика-коттеджа, где живут моряки-пограничники, передохну. Там посижу минутку на тумбе.

Да, все знакомо. Но что-то и изменилось за эти годы. Исчезли почти все деревянные здания (а в июле 1942 года деревянных домов оставалось еще немало, хотя уже и тогда жгли их нещадно – и в кухонных плитах, и в заводских котлах, и в кочегарках военных кораблей).

Но главное – люди, толпа, прохожие. На Островах люди и тогда двигались несколько быстрее, чем в самом городе. Тут все-таки чуть-чуть больше было и пищи, и свежего воздуха, и спирта... Но и тут это были тогда не люди, а робкие тени, призраки. Сейчас идут бодро, быстро, пожалуй быстрее, чем вообще положено ходить среднему пешеходу. Такое впечатление, что людям приятно быстро ходить. Так ходят первые несколько дней вышедшие на волю арестанты и, по-видимому, подводники...

...Когда я внезапно (воистину внезапно, потому что я никогда не думал, что путь от трамвайной остановки до госпиталя такой короткий) увидел за жиденькими деревцами белые колонны особняка

Половцева и белую фигуру в античном хитоне на клумбе у главного входа – ноги мои уже самым буквальным образом подкосились...

...В «Страховике» сейчас санаторий летчиков. Внутри все неузнаваемо.

Что это такое? Куда я попал? Салон какой-то. Ковры, вазы, вкусные запахи кухни. Бог ты мой, ведь я узнал – тут было самое страшное место: палата колитиков, откуда выносили по два, по три человека в день.

А здесь, в угловой палате, я промерз вторую и третью ночь. Матрац был совершенно мокрый – от снега. Вода в графине замерзла. И днем и ночью было темно – электричества еще не подавали, а стекол в окнах не было, окна были кое-как задраены фанерой и старыми тюфяками...

...В санатории почему-то очень тихо.

«Что же это такое? – удивился я. – В наши времена, когда здесь лежали живые покойники, и то в этих стенах было оживленнее».

Оказывается, это безмолвие и малолюдье объясняется просто: восемьдесят процентов отдыхающих летчиков накануне были срочно отозваны в свои части.

Наступление!

Но, увы, оно, кажется, провалилось, захлебывается.

На улице – дождь. Это в середине января, когда по всем законам положено трещать крещенским морозам!

Вечером вчера немецкая артиллерия опять активизировалась. Грохотало и ночью сегодня.

Ночевал я у мамы на улице Восстания.

Снаряды падали где-то очень близко, с минутными-двухминутными паузами. Время от времени по радио объявляли:

– Артиллерийский обстрел района продолжается.

Звучит это очень плуто. Гораздо больше смысла было бы в объявлении: «Дождь идет». Потому что дождя за фанерой не видно, а снаряды, падая, производят некоторый шум.

Обстрел закончился только в четвертом часу дня. Противник переключился на другие районы.

За день я успел очень мало. Выполнял свои почтальонские обязанности, обедал, ходил на толчок за папиросами.

Мальцевский рынок закрыт, торгуют – законам и милиции вопреки – у булочной, на углу Греческого и Бассейной. Даже водку здесь можно купить. Пол-литра «Московской» – 300–350 рублей, хлеб – 50–60 рублей, масло – 100 рублей за сто граммов, папиросы «Беломор» – 30 рублей пачка.

В гостиницу вернулся рано. Работал.

За окном тихо.

Прогнозы на погоду, говорят, неважные.

Табак-эрзац, в состав которого входила всякая дрянь, вплоть до коры, мха, листьев и мочалы, шутники ленинградцы называли «Елки-палки», «Лесная быль», «Сказка Венского леса» и даже «Матрац моей бабушки».

*18 января. 10 часов 00 минут.*

Только что встал – разбудил телефонный звонок...

На улице как будто подморозило, но, по-видимому, только чуть-чуть. Исаакий, оттаявший вчера, стоит сегодня фиолетово-белый (белый с едва проступающим, намечающимся оттенком фиолетового). Купола его тоже покрыты тонкой пленкой инея. На побелевшем, поседевшем фронтоне четко проступают черные буквы: «Храм мой храм молитвы наречется».

По дымкам, которые вьются кое-где над крышами (даже над крышей германского консульства), тоже видно, что холодно. А небо – совершенно весеннее, неповторимо питерское, и нежную, легкую голубизну его ни с чем не сравнишь, кроме как с вылинявшим и застиранным воротником матросской рубахи.

На площади у собора школьницы-старшеклассницы под руководством однорукого офицера занимаются строем.

Редкие прохожие. Санки.

Вчера я писал кому-то, что Ленинград больше, чем раньше, стал петербургским. Вероятно, потому, что цивилизации стало меньше

(мало трамваев, нет автобусов и троллейбусов, да и людей на улицах мало. Луна заменяет электрические фонари и т. д.).

Котенок в Ленинграде стоит 500 рублей.

Вероятно, приблизительно столько же он стоил бы до войны на Северном полюсе.

Проснулся сегодня и сразу вспомнил почему-то тоненький-тоненький голосок девочки, напевающей:

Темная ночь,  
Только пули свистят по степи...

У Пластининых на Каменном острове. Девчушка лет пяти-шести. Дочь буфетчицы Лизы. Долго упрашивали ее спеть – стеснялась. Потом, внемля моей просьбе, согласилась. Таня села к пианино, и девочка серьезно, с большим, недетским чувством спела две песни – одну про черную фронтовую ночь и другую про землянку, про огонь, который «бьется в тесной печурке», и про людей, живущих в местах, где «до смерти четыре шага».

Девочка Валя пела, а над крышей госпиталя летели снаряды и рвались где-то совсем рядом – в Новой Деревне.

И опять у меня слезы подступили к горлу. Не выдержал – нагнулся и поцеловал русую головку девочки.

...Вечером как-то шел через площадь Революции. Впереди идут два мальчика. Один говорит:

– Сейчас домой приду. У нас – тихо. И сразу же буду в солдатиков играть. У меня одних фрицев восемьдесят человек! Я нашим звездочки на шлемах нарисовал, а немцам – кружочки. Немцы у меня в психическую пойдут, а наши – отражать будут.

Я представил себе эту уютную картину. Зима. Теплая комната. Лампа под абажуром. И мальчик – один, без товарищей, играющий в солдатики.

Очень уютно, да, но и страшновато. Неужели все, что случилось и происходит вокруг, не вытравило из ребенка извечный мальчишеский милитаризм?

Ночью и с утра было тихо. А сейчас опять пальба. Очень близко. Но, кажется, это наши дальнобойные.

Мороз чувствуется даже в этих раскатистых и надтреснутых оружейных залпах. В оружейном громе что-то звонкое, как в березовом полене, когда его раскалываешь на морозе.

### *Позже*

День сегодня шумный. С утра на Неве работали наши корабли. Около двенадцати я вышел из гостиницы. На углу Невского и улицы Гоголя чистил сапоги у инвалида-чистильщика. Молодой еще, с орденом Славы на промасленной стеганке. Не успел он наваксить первый сапог, как где-то совсем рядом (позже выяснилось, что не совсем рядом, а в соседнем квартале) с ужасающим грохотом упал тяжелый снаряд. Считается, что в таких случаях вздрагивают руки. У меня дрогнула нога – та самая, что стояла на скамеечке чистильщика. Тот тоже на несколько секунд прервал работу, прислушался.

– Это «он» бросил. Это не наш.

И, постучав по ящику щеткой, спокойно сказал:

– Другую.

То есть давай ставь другую ногу.

Я поставил. И он продолжал работать, а я – обрабатываться.

Минут через десять зашел – на Невском же – в писчебумажный магазин. Вокруг уже ревела артиллерийская гроза. И тут, когда я выбирал блокноты и переводные картинки для Иринки, радио вдруг объявило, что «начался артиллерийский обстрел района»...

Только после этого магазин закрылся. Но поскольку трамваи по Невскому продолжали идти и пешеходов как будто нисколько не убавилось, я тоже вынырнул на улицу и продолжал свой путь.

Был, между прочим, у Ильи Александровича Груздева. Просидел у него больше часа.

Уникальная редкость в блокадном Ленинграде – собака. Черный зверь-пудель, потомок житковских пуделей.

Илья Александрович подтвердил, что наступление наших войск под Ленинградом продолжается. Хотя погода (к вечеру совсем развезло) страшно мешает нам, затрудняет продвижение. Очень много жертв.

Говорил еще, что немецкие батареи на ближних подступах к Ленинграду подавлены. И немцы вынуждены пользоваться корпусной или армейской (не помню) артиллерией, стреляя с очень большой дистанции и впервые за все время осады применяя снаряды очень крупного калибра.

Показывал выбоину на стене Михайловского театра (эта стена выходит, оказывается, в сторону канала). Снаряд угодил туда на глазах у И. А. – недавно, когда он сидел у окна и работал.

Вчера наши войска освободили станцию Александровскую на Варшавской железной дороге.

Был во Дворце пионеров. Там все почти такое же, как в доброе старое время, только не так роскошно. Теснее. И от этого уютнее.

Во дворце нынче концерт. Много детей. Маленькие девочки в валенках и в платках, повязанных поверх свитеров и кофточек, возятся на дворцовом паркете, как тигрята или медвежата. Мальчики лет по десять – двенадцать, серьезные и сосредоточенные, играют в шахматы.

Видел Натана Штейнварга. Обрадовался. Ибо Натан для Петербурга последних двадцати лет – это что-то вроде Медного всадника или Адмиралтейской иглы. Кто его не знает! Основатель и руководитель пионерского движения в нашем городе.

Весь день неотвязно преследует меня мотив песни, слов которой я даже не знаю:

Тё-о-омная ночь...

И серьезное, задумчивое, скорбное лицо шестилетней девочки, напевающей о людях, которые находятся там, где «до смерти четыре шага».

Заходил в ДЛТ. Там тоже как-то теснее, чем раньше. Но товаров много, и они, кажется, дешевле, чем в Москве. Много игрушек и вообще предметов «детского ассортимента». А покупателей, как мне показалось, – меньше, чем продавцов.



По поручению С. Я. Маршака, был на Моховой у Л. М. Владимировой. Много слышал от Самуила Яковлевича об этой необыкновенной женщине, но не думал, что так хорошо мне будет – с нею и с ее милыми сыновьями.

Был в Обкоме ВЛКСМ. Секретарь И. рассказал мне страшную и увлекательную историю о том, как его, вместе с другими ребятами, закидывали самолетом в тыл к немцам и как летчик ошибся и сбросил их над населенным пунктом, занятым эсэсовской частью. Тяжелораненый И. скрывался и блуждал по окрестным лесам вместе с предателем Власовым, который тогда еще носил советскую форму.

Подробно этот рассказ записан в другом месте.

Когда возвращался из дворца Кшесинской, было уже совсем темно. Из окна трамвайного вагона видел яркие вспышки артиллерийских залпов – с наших кораблей. А может быть, и не с кораблей. Между вспышкой и грохотом выстрела очень большой интервал. Может быть, это Кронштадт. А может быть, и еще дальше.

Рассказывала женщина в трамвае:

– Моя знакомая у Путилова завода живет. Говорит – сегодня столько раненых везли с передовой, что из машин кровь лилась и на снегу след оставался.

Обстрел продолжался нынче часа четыре.

Вечером опять работали наши береговые и корабельные батареи. И сейчас каждые 3–5 минут ухает где-то за Исаакием.

Был у мамы на Знаменской, заходил на полчаса к тете Тэне.

Тетя Тэна рассказывала... Была она в протезной мастерской, заказывала какой-то бандаж. Рядом сидит, ждет очереди пожилая женщина.

«– У вас что – тоже бандаж?»

– Нет, мне руку делают.

Гляжу – у нее правой руки вот до этого места нет.

– Где вы ее потеряли?»

– Обстрел. Иду, вдруг чувствую – руке холодно стало, и где-то вот тут, под лопаткой, больно-больно. Поглядела, а руки и нет. А ей и не

больно. Больно под лопаткой. Теперь искусственную делают. Да только что ж толку-то от нее. Работала, была мастерицей, стахановкой, а сейчас инвалид, работаю сторожем, зарплата сто двадцать шесть рублей и пенсии шестьдесят».

Дзоты на улицах. Чем дальше к окраинам и вокзалам, тем больше их. На проспекте Майорова у Измайловского моста – лицом к Варшавскому вокзалу – огромный бетонированный дот. На Усачевом – у Египетского моста – сохранились баррикады.

По всему городу – главным образом на углах и перекрестках окна и двери заложены кирпичом, и в кирпичной кладке – черные щели амбразур. Некоторые амбразуры прикрыты железными ставенками – чтобы не пугать население, вероятно.

Проходил сегодня по улице Гоголя. Там, недалеко от Невского, еще в 1941 году тяжелая бомба срезала угол дома – с пятого этажа до подвала. Сейчас этот срез задрапирован холщовой декорацией. Художник постарался, нарисовал окна с поблескивающими стеклами, ложноклассический орнамент, карнизы и пр., а над рисованным подъездом – разрисованная же рельефная доска и на ней дата – чего: разрушения или восстановления? – 1942.

В городе очень мало военных. 15-го все отозваны на фронт. Чаше чем обычно мелькают черные шинели моряков.

*19 января, 9 часов утра*

Разбудил телефонный звонок. На улице было еще темно, но в комнату то и дело вбегал и освещал ее – сквозь щели в портьерах – розовый отблеск оружейных залпов.

Сейчас уже рассвело. Ночью опять были заморозки (да, в январе заморозки!). Исаакий покрыт инеем. За его спиной палят корабли. Лимонно-красный клубок огня взлетает на уровне углового, малого купола. Через одну-две секунды грохот и треск.

...А перед огромной машиной собора, который на три головы стоит выше остальных зданий города, перед собором, у которого и ступени-то кажутся отсюда выше человеческого роста, – перед этим тяжелым, как египетская пирамида, колоссом стоит на коленях

маленькая фигурка женщины. Молится. Истоиво крестится, делает земные поклоны. Мимо идут люди, влекут санки с дровами. А женщина стоит на коленях посреди мостовой и молится. Потом поднимается и идет – очень быстро, спешит, вероятно, на работу – в сторону Почтамтской.

Стреляют близко. Это очень красиво. Над крышей взметнется клочок огня, за ним клубочек рыжеватого дыма, а уж потом:

«Бам-би-ба-баммм!!!»

А дальние батареи – как зарницы.

*20 января. Вечером*

Вчера вечером радио объявило очередной приказ Верховного главнокомандующего. Заняты Красное Село и Ропша. Москва отдавала салют войскам Ленинградского фронта. Освобождены, кроме того, Петергоф, Александровка и семьдесят других населенных пунктов. Сегодня официально сообщается о том, что освобожден Новгород. Войска, наступающие со стороны Ораниенбаума и со стороны Пулкова, соединились. Отдельные группы противника окружены и ликвидируются. Повторяется осень сорок первого года, только – все наоборот.

Ленинград, конечно, ликует.

Последнюю сводку я слышал издали, на улице. Кажется, там упоминаются Лигово, Дудергоф, Стрельна. Трофеи очень большие, пленных же совсем немного – за пять дней всего одна тысяча человек. Драпают быстро и по-немецки организованно.

Был сегодня на радио. Хочу поехать на фронт или, во всяком случае, поближе к нему. До сих пор, что называется, ближе некуда было.

Завтра на этот счет будут договариваться с политуправлением фронта.

Вчера немцы еще постреливали по городу, откуда – даже не понимаю. Но, по-видимому, очень издалека. И не часто. Всего шесть снарядов за день! По-здешнему это совсем немного.

Видел вчера Ревекку Марковну из больницы Эрисмана. Она с 15 января не обедала и почти не спала. В больницу не переставая везли

раненых. Ранения у большинства тяжелые, но дух бодрый, победительный.

– Скоро и Ленинград будет Большой землей, – сказал один из них перед ампутацией.

Ездил вчера вечером на Васильевский остров и на Крестовский – все по московским поручениям.

Был на Петроградской стороне, в доме Любарских. Как много опечатанных дверей на парадной лестнице!

В ящике для писем и газет на одной из заколоченных и опечатанных дверей что-то белело. Я любопытствовал: открытка. Не удержался – прочел:

«Дорогие тетя Лиза и дядя Миша! Пишем вам пятое письмо. Страшно беспокоимся, не получая ответа...»

От Барочной улицы до Елагина острова бегают маленький одиночный трамвайчик-«кукушка».

Сегодня корабли на Неве молчат. По-видимому, они свое дело сделали, их миссия завершена. Наши наземные войска уже далеко от побережья, и корабли при всем желании поддержать их уже не могут.

Корабли под парами (то есть живут, дышат, дымят, а насчет того, «под парами» или нет, – не знаю, не специалист).

Видел вчера вечером, в темноте, огромную черно-белую, не похожую даже силуэтом на корабль, тушу крейсера «Киров». Это он рывкал своими батареями, когда у меня в номере звенели стекла и сыпалась штукатурка. Стоит между набережной Лейтенанта Шмидта и Сенатской площадью.

Был еще вчера по разным делам на Верейской улице, в районе Технологического и у Детскосельского вокзала. Району досталось здорово. Технологический институт не то чтобы разрушен (ведь он большой, занимает чуть ли не целый квартал), а весь изранен – и бомбами и снарядами. Много зданий разрушено на Международном проспекте. Если в центре города повреждения быстро залечиваются и маскируются, то здесь на каждом шагу незарубцевавшиеся, кровоточащие раны. Четырехэтажный серый дом рядом с Палатой мер и весов проткнут снарядами, как картонная коробка пальцем.

Заходил на Кузнечный рынок. Это один из трех рынков, сохранившихся в городе. Остальные или разрушены, или закрыты. Вся коммерция совершается под крышей единственного павильона. Колхозники торгуют главным образом молоком, картошкой (65 р. кило), кислой капустой... Тут же – вокруг «стационарных» лотков – идет торговля с рук, официально запрещенная, о чем предупреждают плакаты у входа. Ассортимент товаров небогатый. Всякая рвань, ботинки (дамские – 3500 р.), белье, одежда и прочее барахло. Табак, папиросы (исключительно «Беломор»), много электрических фонариков (ценный и ходкий товар не только в Ленинграде, а и в других «затемненных» городах). Мыло, масло, шпиг, мясо, конфеты, мандарины – все, что душе угодно, но все в миниатюрных количествах – поштучно или по сто, по 50 и даже по 20 граммов. Калек, инвалидов Отечественной войны меньше, чем в Москве, но и тут они, так сказать, хозяева положения. Большею частью пьяные, бушуют, ссорятся, размахивают костылями.

Видел вчера на Загородном тех, кто сегодня (а может быть, и вчера) сражался и сражается на Пулковских высотах, под Павловском и Гатчиной. Стрелковый полк поротно шел от Московского, по-видимому, вокзала на передовые позиции. Народ – некадровый, разнокалиберный, но крепкий, хорошо экипированный и, главное, хорошо обутый. Правда, большинство не в сапогах, а в ботиночках с обмотками, но за спиной у каждого – пара подшитых валенок.

Шли с песнями. Пели не слишком лихо. Много татар и вообще монголоидных лиц. Есть пожилые, но есть и совсем мальчишки.

Мне опять вспомнился сорок второй год. Вот тут, на углу Кузнечного переулка, лежал труп матроса.

Ночевал дома. Спал в своей комнате. В «домашнем холодильнике», как говорит мама. Продрог, простудился, болит горло.

Утром ездил в больницу хроников на улицу Смольного.

Казалось бы, что может быть страшнее жизни богадельных старушек во фронтовом городе! Но – нет, живут они, эти старушки, вместе со всем городом – сводками Информбюро, газетами, радио.

Кормят их очень хорошо. И самое страшное и печальное – не то, что они засыпают и просыпаются под свист снарядов, а то, что живут без семьи. Хотя сейчас, когда подавляющее большинство советских семей расплывено, и это их одиночество не так больно ранит сердце.

Смольный выглядит очень смешно, даже нелепо. Какие-то сетки, картонные или фанерные башенки, пестрая мазня на стенах. Все это за годы войны обветшало, перепуталось, перемешалось. И не думаю, чтобы этот камуфляж кого-нибудь обманывал.

Прошел к Неве – посмотреть на Охту. Думал увидеть нечто страшное, но не увидел ничего. Несколько каменных зданий на набережной, каланча, церковь, а за ними... за ними ничего нет. Ни одного деревянного дома.

Неудивительно, что тут, вокруг Смольного, так много развалин. Охотились немцы за Смольным упорно и настойчиво. И, как видно, камуфляж все-таки помог. На самом здании Смольного я не нашел ни одной царапины.

А на Суворовском многие дома разбиты до основания.

По этим пустырям идут две девушки в серых шинельках с погонами. Навстречу – с нестройной, визгливой песней – взвод девушек, тоже в полувоенной форме: в серых бушлатах-полупальто, в защитных штанах или юбках.

Из строя несется в адрес красноармеек:

– Эй, вы, ерзац-солдаты!

Те обижаются:

– Сами вы ерзац!

А потом, пройдя мимо, переглядываются, смеются:

– А и верно – эрзац!

Обедал вчера за одним столом с человеком, который сиял необыкновенно: он только что избежал очень большой опасности – в пятидесяти шагах от него разорвался снаряд (на станции Вторая Финляндская, на железнодорожных путях).

Но говорит он больше о другом:

– Вы представляете, какая счастливая случайность: за две минуты до этого с этих путей ушел воинский эшелон!..

Видел матроса из Кронштадта, который сегодня утром приехал в Ленинград. Впрочем, «приехал» – не точно. Из Кронштадта до Лисьего Носа он шел пешком – по льду. Это семнадцать километров. А лед на Финском заливе довольно хлюпкий. Машины не ходят.

Вечером звонил Рахтанов. Собирается в Кронштадт. Говорит – на днях туда будут ходить глссеры.

В холле гостиницы постовой милиционер, зашедший погреться (или, скорее, развлечься), беседует с облезлой (оживающей дистрофичкой) администраторшей:

– Гитлер так прямо и пишет: «Кончено наше дело, беги кто может». Это – я не знаю – у кого-то нашли или перехватили его письмо или приказ...

Неисправимые оптимисты мои земляки. Всегда-то и на все строят они самые радужные иллюзии.

В трамвае две женщины-работницы:

– Ну, теперь заживем. Слыхала небось: всех ленинградцев на два месяца в санаторию пошлют.

Что ж, дело за малым: остается только освободить Крым и выдать его на два месяца ленинградцам.

Вчера утром я, признаться, немножко сдрейфил. Подхожу (по улице Гоголя) к Невскому, и в ту же минуту невдалеке (в приличном невдалеке) падает снаряд, и почти сразу же, с редкой оперативностью, радио объявляет артобстрел района. Испугался я не обстрела, а испугало совпадение: накануне то же самое – первый снаряд и предостережение по радио застигли меня «на эфтом самом месте».

### *21.1. Утро*

Вчера не успел и не смог записать – вернулся в гостиницу, падая от усталости; заснул на диване, не раздеваясь.

Был в Кировском районе. Там целые кварталы превращены в пыль.

Наступление на нашем фронте продолжается. Немцы, которым грозит окружение (в случае занятия Батецкой и Гатчины), отходят «в порядке эластичной обороны». Вчера в Доме радио видел человека, который только что прибыл из-под Шлиссельбурга. Говорит, что наши войска вчера рано утром пошли в наступление, продвинулись на семь километров и... не вошли в соприкосновение с противником. Немцы, надо им отдать справедливость, отступают организованно и с ловкостью совершенно кошачьей.

С моей поездкой, по-видимому, ничего не выйдет. Процедура сложная, «радисты» копаются. Тем временем фронт все дальше и дальше убегает на запад. А я 27-го, самое позднее 28-го должен быть в Москве.

В городе непривычно тихо.

Вчера вечером видел красные вспышки — где-то в направлении Пулкова. Но грохота, даже отдаленного, уже не слышно.

Был у ребят-детдомовцев на Песочной набережной.

Оттуда прошел на Каменный остров.

Ночевал в той самой палате, где лежал зимой 42 года, где умирал, оживал и ожил, где Марья Павловна и Екатерина Васильевна переливали мне — под вражескими бомбами (буквально!) — кровь.

Все изменилось неузнаваемо: ковры, кожаные кресла, портьеры на окнах...

Проснулся в пятом часу утра и уже не мог заснуть.

Часов в восемь пришла Екатерина Васильевна, предложила познакомиться с летчиками, которых рано утром привезли из полевого госпиталя. Их подбили где-то далеко за линией фронта, когда они возвращались с задания. Машину посадили, но сильно тряхнуло.

Пошел знакомиться. В палате, где когда-то лежали дистрофики (я там бывал у одного мальчика-ремесленника), за столом, выдвинутым на середину комнаты, сидели три богатыря. Впрочем, один из богатырей, самый главный, командир корабля, — не очень-то богатырь. Маленький, кривоногий, да еще с подбитым глазом. Пьют чай. На столе стаканы в мельхиоровых подстаканниках, печенье на тарелках, огромный кусок застывших мясных консервов (это их собственное — так называемый «бортовой запас»).



Скромны, просты, но, пожалуй, слегка кокетничают этой скромностью и простотой.

Авария с ними случилась, оказывается, три дня тому назад, они уже успели отлежаться в госпитале, а все-таки еще очень заметны следы того потрясения (потрясения и психического и буквального, физического), которое им пришлось перенести. Все-таки очень-очень трогательно было слушать их рассказ (собственно, говорил один штурман, высокий, статный и красивый двадцатичетырехлетний парень, орловец) о том, как, поняв, что дело хана, они попрощались друг с другом и – зажмурились, ожидая последнего удара. Не верил, что конец, и не думал о смерти только один из них – радист Пущелацкий, самый молодой в экипаже.

– В нашем воздушном деле – так, – улыбается штурман, – або грудь в крестах, або голова в кустах.

Много курят. На столике у кровати надорванная сотня папирос «Казбек». Штурман то и дело ходит к этому столику, приносит по пять штук и раздает всем присутствующим: Екатерине Васильевне, мне, товарищам...

Видел Бор. Бродянского. Он отдыхает здесь, в санатории. Постарел, обеззубел, но почему-то кудрявый. Встретились в коридоре, он спешил, ехал с летчиками на фронт. Я сказал, что помню его по «Смене», еще с давних времен, еще «Республика Шкид» не была написана.

– И я вас помню. Помню совсем мальчиком... И Белых помню.

Вчера вечером видел художника М., который зашел ко мне в комнату «представиться». Странная личность, похож на полотера, огромные черные усы. Но – как давно он рисует блокадный Ленинград, как тонко чувствует, понимает и любит наш город.

Сегодня долго бродил с девочками по острову (две Тани и шестилетняя Валя – та самая дочь буфетчицы, которая пела «Темную ночь»).

Обошли все знакомые и незнакомые уголки.

На острове много детей, много детдомов, садиков и других детских учреждений. Батарей уже нет. И следов войны – явных следов

– не видно. А вообще-то, если приглядеться, следы есть, и их немало: поваленные деревья, столбы, рябинки от снарядных осколков, засыпанные снегом воронки.

...Таня Пластинина ушла куда-то без спросу. Попала под обстрел.

– Бегу с Крестовского. Перебегаю мост, вдруг – бах! – столб черного дыма. Женщину осколком – у меня на глазах... Вот так, как это дерево, совсем рядом. Лужа крови... белая пена... тут сумочка валяется, тухлый хлеб, а в руке карточки зажаты.

Мне страшно стало, я побежала. А снаряды то тут, то там: бах! бах! бах! И с нашей стороны, с Каменного, разрывы слышны...

До угла добежала – тут милиционер стоит, участковый, он меня знает. Говорит:

«Бегите скорей, Таня. У вас там что-то случилось».

Ну, думаю, все кончено.

Прибегаю – вся стена со стороны Зимнего сада черная от земли. Карниз над нашими окнами сорван, стекла выбиты. Я кричу:

«Ма-а-ма-а-а!»

Никто не отвечает. Думаю: все убиты. Не помню, как наверх взбежала. И вдруг – в темноте – не вижу, а чувствую: мама! Идет и тоже плачет. А в комнатах, куда ни ступишь – битое стекло лежит.

Снаряд, который попал в санаторий, пробил высокую дымовую трубу так называемого готического домика. Сейчас из этой трубы идет дым. Дырка в трубе очень идет этому оригинальному стилизованному особняку, делает его еще более древним. Очень смешно, что стены этого дома были когда-то окрашены – под копоть.

На набережных стоят на распорках небольшие военные суда – катера, морские охотники и т. п.

В детском доме на Песочной, среди прочих, человек тридцать глухонемых детей.

Шести-восьмилетние дети не знают, что сейчас война, не знают вообще, что такое война. Те, что научились уже читать и понимать азбуку глухонемых, – другое дело. А эти беспечны, как только что народившиеся зверята.

Трогательно привязался ко мне четырехлетний, пышущий здоровьем глухонемой карапуз. Ворвался в кабинет директора и, весело мыча, кинулся ко мне и стал тереться головой, требуя ласки, весь какой-то сияющий, ликующий. И правда – совсем как медвежонок или двухмесячный щенок.

Устал дьявольски. Пишу невнятно, не то и не так.  
Запишу завтра остальное.

Обстрелы еще продолжают. Вчера обстреливали Охту. Ночью сегодня снаряды ложились совсем рядом – в Новой Деревне или, может быть, даже на Островах.

Говорят, что бьют из Пушкина. Они все еще там.

Наступление на Гатчину развивается медленно. Мешает совершенно весенняя, апрельская погода. Грязь по колени. Температура даже ночью не опускается ниже нуля. Облачность – уж не знаю, какая, знаю только, что самолеты летать не могут.

*24 января*

...Вчера в «Северном» опять встретил А. Ф. Пахомова. Вместе обедали. А. Ф. безвыездно в Ленинграде. До января 1942 года жил на иждивенческую карточку – с женой и младенцем. Сейчас хорошо устроен, много и успешно работает, как всегда скромно-самодоволен.

Он подтвердил печальную весть, слышанную мною в Москве от Евгения Ив. Чарушина, – о смерти Н. Ф. Лапшина и жены его Веры Васильевны, сводной сестры нашей мамы. Умерла от голода и Анастасия Николаевна, мамочкина мачеха. Сын Лапшина Миша – в Сибири, в детском доме.

И Тырса погиб. Мы еще не понимаем, не осознали, какая это огромная утрата для нашего искусства.

Алексей Федорович настойчиво звал меня к себе. Нынче вечером я пытался зайти к нему и не попал – по обстоятельствам, от меня не зависящим: в восемь часов вечера ворота дома, где живут художники (на Кировском проспекте), были наглухо закрыты. Я и стучал, и нажимал кнопку звонка, и взывал голосом – никто не вышел и не отозвался.

Сегодня полдня провел в детском доме на Песочной набережной. Побывал в мастерских, возился с глухонемыми малышами.

С наслаждением посидел полчаса в спальне у маленьких. Не отпускали – еле вырвался.

Шел у нас разговор о литературе, вернее о писателях.

Девятилетняя девочка спрашивает:

– Это вы написали «Белочку и Тamarочку»?

– Я.

– Скажите, а Крылов жив?

– Это какой? Который «Стрекозу и Муравья»?.. Умер.

– Умер?! Ах, как жаль!

Со всех сторон посыпались вопросы:

– А Пушкин? А Лермонтов? А Некрасов?

И мне пришлось сообщать им грустные вести.

Какая-то девочка говорит:

– Ну, что такое! Если писатель, так обязательно умер!

– Ну, не обязательно, – говорю я. И привожу несколько примеров.

Спрашивают о Маршаке, Чуковском, Гайдаре, Введенском...

Между прочим, вчера или третьего дня на Каменном Таня Пластинина пела «Ниточку» – песенку из книги Введенского «Про девочку Машу». Оказывается, это любимая песня ее двоюродного братишки Вити.

Я вспомнил Александра Ивановича и многих других погибших на войне и вдали от нее, и мне пасмурно стало, я даже глаза рукой закрыл, и Екатерина Васильевна многозначительно кашлянула и сказала – в сторону девочек:

– Ну, хватит. Спать пора.

Сегодня в городе совсем тихо. Вечером, когда я стоял на автобусной остановке у Ленфильма, московское радио сквозь визг и грохот немецких пушителей сообщило о занятии нашими войсками Пушкина и Павловска. Значит, опять будет на Руси Павловский полк?!

Утром была у меня в гостинице Ляля. По моему совету и настоянию она переменяла работу и профессию. С завтрашнего дня идет работать по специальности – преподавателем немецкого языка в женской школе. И она боится, и я, по правде сказать, боюсь: ведь

опыта у нее никакого. Института, по существу, не кончила, выпуск у них был скороспелый, в декабре 1941 года. И два года после этого работала на «черной работе»: колола дрова, таскала ящики, возила тележку... Да еще и школу ей, кажется, подсунули «трудную» – где-то в районе Предтеченской барахолки...

Послезавтра или в крайнем случае 27-го должен ехать. Жаль. Уезжать не хочется. Ведь только-только освободился от всяких хлопотных и утомительных дел и поручений. Как много хотелось бы повидать и сделать...

Например, очень меня почему-то заинтересовали глухонемые дети. Вот мальчик Володя, семи или восьми лет. Казалось бы, ничего не знает о том, что происходит в мире. Ничего не слышал о войне, о немцах, о Гитлере, о блокаде... А посмотрите, что он рисует!!! Танки. Самолеты. Воздушные сражения. Взрывы.

Что это? Неужели и правда микроб милитаризма сидит в крови каждого мальчика?..

Как-то в один из первых дней по приезде шел я под вечер улицей Чайковского. Где-то не очень далеко рвались снаряды.

Снежная улица. Синие лампочки у ворот. Кажется, остатки лунного диска в хмуром небе.

Идет впереди женщина с мальчиком. Мальчику лет пять-шесть. Идут, вероятно, из детского садика домой.

Мать спрашивает:

– А ты кем хочешь быть, когда вырастешь? Артистом хочешь быть?

– Артистом? Нет, не хочу.

– А кем же ты хочешь?

– Хочу – воином.

– А почему артистом не хочешь?

– Артисту говорить надо...

...Возвращаясь домой, сел по ошибке не в тот трамвай, проехал через Дворцовый мост на Васильевский остров.

Шел обратно мимо Адмиралтейства, через Александровский сад, через площадь.

Погода нынче совершенно весенняя, апрельская, – такой в Ленинграде в конце января я не вспомню. Днем было ясно, солнечно, а на градуснике – два с половиной градуса выше нуля.

Шел мимо Летнего сада, – похоже, что там уже что-то если не зеленеет, то розовеет слегка в редкой чаще деревьев.

А к вечеру пошел дождь, подул особенный, ни с чем не сравнимый невский ветер. Идешь, подняв воротник, наклонив голову, и чувствуешь, что ты сам сейчас – фигура сугубо петербургская. Под ногами хлюпает, качается фонарь, где-то хлопает ставень или сорванный карниз.

На Неве вот-вот начнется ледоход. Вся она в черных полыньях. (Сегодня на солнце вода розовела слегка. А небо в просветах облаков было – молочно-аквамариновое, бледно-голубое, голландско-чухонское.)

Переходил Дворцовый мост, и вдруг вспомнилась почему-то июльская ночь 1942 года, когда ехали мы с К. М. Жихаревой и А. А. Фадеевым на Ржевский аэродром. Ксения Михайловна сидела в кабине с шофером, я полулежал в кузове на полу, на бортике примостился провожавший нас П. Н. Лукницкий, а Александр Александрович, широко расставив ноги, всю дорогу стоял. Лукницкий одолевал его всякими вопросами, интересовался последними новостями, расспрашивал: где тот, как этот? А.А. отвечал односложно, коротко, сосредоточенно думал о чем-то и всю дорогу насвистывал фокстрот «Сказка» (этот мотив я знаю с 35-го года, у Ляли была граммофонная пластинка). И, помню, так это было невпопад, так некстати в этот ночной час в полумертвом городе! И до чего же не соответствовало тогдашней настроенности моей души!.. Но ведь бывает – привяжется ерундовый мотивчик или глупая строчка, и не отмахнешься от нее...

Шел и вспоминал.

Из осажденного Питера на Большую землю мы летели на обшарпанном грузовом «дугласе». Кроме нас троих, пассажиров в самолете не было. Устроившись на полу, подложив под себя газету, укрывшись с головой своим коричневым кожаным репланом, Александр Александрович всю дорогу крепко проспал. Ксения Михайловна тоже дремала, прикорнув на узенькой дощатой лавочке, а

я всю дорогу просидел, не смыкая глаз, и все смотрел и не мог насмотреться: озеро, леса, реки, зеленые поля и работающие в этих полях маленькие человечки, так трогательно машущие нам платками и шапками.

Где-то уже далеко за озером была у нас вынужденная посадка. Летели мы совсем низко, бреющим полетом, и все-таки немецкие истребители обнаружили наш транспорт и напали на нас. Сопровождавшие нас «яки» вступили с ними в бой и полчаса или час отбивались от воздушных разбойников. Происходило это где-то очень высоко, мы даже выстрелов не слышали.

Наш «Дуглас» сидел в это время на лесной просеке.

Помню это благодатное, чистое, прохладное утро – где-то уже на тверской, а может быть, даже и на московской земле. На всю жизнь запомнил я, как пронзил меня крик петуха, долетевший вдруг откуда-то издалека, из-за леса. Тот, кто не жил в осажденном Ленинграде, пожалуй, не поймет, каким наслаждением было услышать этот уютный, уже забытый голос.

До чего же мало мы ценили в мирное время такие простые и такие прекрасные вещи, как ломоть черного хлеба, стакан молока или чистой воды, чирикание воробья или, скажем, просто ночную тишину за окном. Даже трава, даже какой-нибудь простецкий лопух радовал и веселил мое сердце в этот незабываемый утренний час.

В Москве я остановился у Маршака, но почему-то весь первый день провел у А. Т. Твардовского. Помню, как трогательно, с какой неумолимой настырностью кормил меня Александр Трифонович: самолично жарил на кухне чудовищно огромную яичницу, накладывал по десять ложек сахара в стакан чая. Конечно, все это делалось от доброго сердца, от хорошего расположения ко мне, но было тут что-то и от художнического (а отчасти, пожалуй, и от мальчишеского) любопытства: интересно же посмотреть, как будет насыщаться человек, без малого год голодавший.

Яичницу я с благодарностью съел, сделать это было нетрудно, но стопроцентным голодающим я, по правде сказать, в то время уже не был...

Какие это все далекие воспоминания! А за последние дни они стали и совсем далекими.

Однако пора спать. Уже четвертый час утра. Уже чуть брезжит рассвет за синими маскировочными шторами.

*25 января. Утро*

Рано разбудил телефонный звонок. Кто звонил – не знаю, когда подошел, трубку уже повесили.

За окном – весна. Так бывало в Питере на вербной или даже на пасхальной неделе. Стекла в окне совершенно сухие, не очень чистые. Приятно просвечивает сквозь эту дымку голубизна неба в просветах облаков, позолота куполов на Исаакии.

Почему-то вспоминается именно вербная неделя. Когда-то, в далекие дни нашего детства, здесь, на площади (а еще раньше по соседству, на Конногвардейском бульваре), шумел Вербный базар.

Только что ушел от меня капитан П., первый муж И. М. Принес маленькую посылку – ботинки для сына.

...П. просидел у меня долго, дольше, чем я мог позволить себе. Не успел он уйти – пришла Ляля. Расстроенная, чуть не плачет. У нее сегодня был первый урок в шестом классе.

Входит в класс – и вдруг навстречу ей:

– Немка! Фашистка! Долой!..

Опытный педагог тут, вероятно, не растерялся бы, похвалил бы девочек за патриотизм и объяснил бы им, что немецкий язык и фашизм не одно и то же. А вот когда опыта у тебя ни на копейку, когда идешь на первый в жизни урок – это действительно страшно. Да еще при Лялиной-то застенчивости!

Впрочем, сестрице моей не привыкать. Ее уже не в первый раз называют немкой.

В прошлом, кажется, году приглашают ее в отделение милиции и говорят, что она должна в двадцать четыре часа выехать из Ленинграда.

– Как? Что? Почему? На каком основании?

– Как немка.

– Позвольте! Какая же я немка?



– У вас фамилия немецкая.

А фамилия моей сестры, как известно, мужнина: Германенко.

К счастью, нашелся в том же отделении кто-то поумнее, и нашу «немку» оставили в городе.

Был на радио. Выяснилось, что утром звонили они. Получено разрешение. Я могу выехать в расположение штаба N-ской дивизии. Но, к сожалению, я должен был отказаться. 28-го мне предписано быть в Москве. И потом – неизвестно, где она, эта Энская дивизия сейчас находится. Может быть, она уже за Псковом?..

*27 января. В поезде*

Последние два дня в Ленинграде были так плотно забиты делами, что не оставалось минуты для этих тетрадок. Запишу, хотя бы коротко, конспективно то, что вспомнится.

Сегодня вечером, за два часа до отхода поезда, – салют в честь освобождения города от блокады.

Такого в Москве не бывало. Боюсь, не хватит у меня ни красок, ни умения, чтобы рассказать, как это все было, как выглядела улица, что было написано на лицах моих дорогих земляков...

Самый салют и фейерверк не такие уж мощные, внушительные. Пожалуй, по сравнению с Москвой, даже скромные. Говорят – пушек не хватило (пушки все на фронте – южнее Гатчины и западнее Тосно), поэтому на Марсовом поле закладывали и взрывали фугас.

«Толпы народа на улицах...»

«Всеобщее ликование...»

«Слезы на глазах...»

Все это так, и все-таки это только слова, которые ничего не говорят.

Не знаю, как описать и с чем сравнить мгновение, когда на углу Ковенского и Знаменской толпа женщин – не одна, не две, а целая толпа женщин – навзрыд зарыдала, когда мальчишки от чистого сердца – и тоже со слезами в голосе – закричали «ура», когда у меня у самого слезы неожиданно брызнули из глаз...

Пожилая интеллигентная женщина в подъезде.

– Сын у меня на фронте. Он слышит сейчас? Он радуется? Да? Скажите, он слышит?

Главного я не видел. Главное было на Неве. Ракеты, говорят, бросали с Исаакя.

Все эти дни город буквально на глазах оживал.

Людям казалось, что вообще кончилась война.

Трамвайные остановки из мест безопасных переносились на их обычные места. На Невском девушки в стеганках ходили с раздвижной лестницей и ввинчивали лампочки в уличные фонари. Два с половиной года эти фонари стояли слепые!

Третьего дня иду по Невскому, смотрю на эти оживающие фонари – и вдруг подумалось: «А ведь на этих перекладинах...».

И по-настоящему содрогнулся, представив себе, что могло бы случиться, если бы немцы ворвались в город. А ведь это могло случиться. Ведь и до сих пор на перекрестках улиц и у мостов стоят наготове надолбы, зияют амбразуры огневых точек. Теперь это уже все ненужное, музейное...

Дни стояли совсем весенние, первомайские. И люди ходили в пальто нараспашку по солнечной, «обстреливаемой» стороне и не верили – неужели можно действительно спокойно ходить, неужели ни один снаряд не упадет и не разорвется теперь ни у подъезда «Пассажа», ни в Доме кино, ни в Елисейском магазине, ни в кинотеатре «Аврора», ни на Аничковом мосту?!

Последние два дня провел дома, на улице Восстания.

Третьего дня вечером был у нас управхоз Михаил Арсентьевич. Раньше это был просто управляющий домом, сейчас это не только управдом – это старый боевой товарищ.

Угощал его московской водкой. До войны он, насколько я помню, не пил. До войны был степенный, солидный. Сейчас – один сплошной нерв.

– Нет, до войны не пил, вы правду говорите. Красенького рюмочку еще мог выпить, а хлебного в рот не брал. А теперь научился, Алексей Иванович!.. От такой жизни научишься...

В доме у нас умерло от голода сорок человек. Почти всех их отправлял к месту вечного упокоения сам Михаил Арсентьевич (дворник Костя к тому времени уже погиб).

– Сам и в мешок зашивал и на детских саночках увозил – на базу.

А база эта, то есть общественный морг, помещалась на Ковенском, кажется, или на Маяковской – в бывшем гараже или в манеже.

– Ничего, привык. Только первый раз немножко меня потрясло. Привез Марью Васильевну из четырнадцатого номера. У ворот – целая вереница, очередь. И все с санками. Дошла моя очередь – я вошел. А там у них в гараже темно.

– Сваливай, – говорят.

Я думаю: «Зачем же их на дрова кладут, трупы-то?» А потом огляделся, вижу – на этих поленьях у кого нос, у кого рот вижу.

Ну, тут меня пот и хватил.

А потом ничего.

Только пить вот научился. Водку по талончикам всю выкупаю до последнего грамма и пью сам, а не вымениваю, как другие поступают.

Половина двенадцатого ночи. Стоим в Малой Вишере, кажется. Вагон наглухо закрыт – во избежание неприятностей, могущих последовать на этот раз от «врагов внутренних». Один из них бушует сейчас в темноте на платформе.

Насколько могу понять – это инвалид, демобилизованный матрос Балтийского флота. Хотел купить в поездном буфете пол-литра водки и пачку папирос – его в «Стрелу» не пустили.

– За что я р-родину стоял? – кричит он хриплым рыдающим голосом. – Я родину защищал, а мне пачку папирос не дают купить?! Я махру не могу потреблять – у меня все кишки, какие есть внутри, разворочены.

Его успокаивают, никто не угрожает ему, а он, упиваясь вниманием, которое на него обращено, и все больше и больше растравляя в себе обиду, продолжает плакать, ругаться и рвать на себе полосатую рубаху...

*Позже*

Все спят в вагоне. Только я, как всегда в дороге, не могу уснуть, хожу и хожу по мягкой дорожке коридора.

Полчаса назад перечитал эту тетрадку. И сейчас почему-то все время вижу перед собой девушек, ввинчивающих на Невском лампочки в электрические, фонари. И вижу маленьких школьниц, убирающих на улице снег.

Поезд останавливается почти на всех станциях, стоит подолгу, но, когда разойдется, идет быстро и весело. Стучат колеса, и все чудится мне, что они поддакивают моим мыслям: «Быть, быть Ленинграду!...».

## У Щучьего озера\*

Осень позапрошлого года я провел в лесной и озерной местности, километрах в сорока от Ленинграда, в местах, которые еще совсем недавно были чужими, финскими, а теперь, после двух войн, опять отошли к нам.

Осень стояла поначалу нескладная: раньше срока начались штормы в заливе, рано ударили заморозки, рано и быстро облетели редкие в этих местах березы, приумолкли птицы, побагровел клен в дачных садах... Изредка налетал с моря теплый и шумный западный ветер, разметал тучи, выгонял на час, на другой солнце, а чаще с утра до утра моросил мелкий, нудный, тот самый – «словно сквозь сито просеянный» – дождик.

В один из таких дождливых деньков возвращались мы с собакой Джеком от Щучьего озера лесом в поселок. Оба мы изрядно устали, вымокли, проголодались, но домой не спешили.

Есть прелесть и в самой поздней осени – в этом безнадежном дожде, в этих острых, одуряющих запахах тления, в этих маленьких, сморщенных, посиневших от холода сыроежках, на ссохшихся беретиках которых лежат сосновые иголки, липнет брусничный лист и дрожит, сверкает, как слеза, дождевая капля.

Шумит над головой лес. Мягко похлопывает под ногами сизый карельский мох. Рдяно алеют в своей нержавеющей зелени крупные бусины брусники. Косо, невпопад лежит рыжий, поникший папоротник. И никаких звуков – ничего, кроме шума дождя и шорохов леса.

Овчарка моя бежала впереди, то исчезая, то снова появляясь за мокрыми темными деревьями.

Вдруг я услышал ее густой, захлебывающийся лай. Так она могла лаять только на живое существо и, уж конечно, не на человека, а на зверя... Поспешив на ее голос, я еще издали увидел сквозь сосновые заросли дощатый некрашенный заборчик, а подойдя ближе, увидел за этим забором деревянные кресты и бурые деревянные обелиски с железными пятиконечными звездами. Подхожу еще ближе и вижу, что за оградой этого странного лесного кладбища стоят с рогами

наизготовку две маленькие белые козочки, а мой Джек, навалившись передними лапами на перекладину забора, заливается, захлебывается злобным и жалобным лаем. Отогнав его и успокоив, я отыскал калитку, отмотал проволоку, которой она была привязана, снова ее закрутил и пошел по заросшим кладбищенским дорожкам.

Кладбище – маленькое, старое, дореволюционное.

Под высокими редкими соснами, в кустах боярышника и акатника – несколько свежих надгробий, деревянные и железные кресты, две-три крашенные суриком пирамидки, и на одной из них гвоздиками набит сбоку лучинный шестиконечный крест. А вокруг, в густых, непролазных джунглях бурьяна, – обломки чугунных решеток, металлических венков; латунных лент... Иду по тропинке и спотыкаюсь о разбитую каменную плиту, почти целиком ушедшую в землю. Наклоняюсь и с трудом читаю: «Hier ruhet im Gott...» Делаю еще несколько шагов и останавливаюсь перед высоким, уродливо тощим, словно высохшим деревянным крестом и перед такой же тощей, узенькой, вытянутой в длину могилой. Крест, крашенный когда-то белой краской, облупился, посерел; порыжела, проедена насквозь черная жестянка, бывшая некогда иконкой. На могильном холмике никнут, мокнут, сползают в сторону увядшие цветы: два кустика незабудок, анютины глазки, лиловатые сморщенные бантики иван-да-марьи. А на перекладине креста – белая, тронутая ржавчиной дощечка, и на ней черными прямыми буквами выведено:

Анна Владиміровна

СЪДЕЛЬНИКОВА

Родилась въ Любимъ въ 1874 г.

Умерла въ Оллила въ 1939 г.

Смотрю на этот крест, по которому медленно ползут и все не могут сползти дождевые капли, и не сразу понимаю, что к чему. За спиной у меня не спеша ходят и методически жуют траву успокоившиеся козы. Укрощенный Джек лежит по ту сторону забора и обиженно поскуливает. А я все стою и все не могу отвести глаз от этого длинного, как Дон-Кихот, креста и не могу справиться с горьким, тоскливым чувством, которое подкатывает к горлу. Что-то нелепое, несуразное, жуткое и вместе с тем трогательное, берущее за

сердце – в этом иссохшем кресте, в этой ржаной жестянке и особенно в этих ь и і, начертанных в тысяча девятьсот тридцать девятом году в сорока километрах от Ленинграда!..

И невольно лезут в голову мысли... Кто она, эта женщина, родившаяся в Любиме и нашедшая вечное упокоение здесь, в захолустной финской деревушке, на чужбине – так далеко и так близко от родины? Купчиха ли она, домовладелица, лавочница, вдова чиновника или, может быть, неграмотная служанка, прислуга, увезенная господами против воли ее в эмиграцию? Сознательно она уехала или случайно? Враг она или жертва обстоятельств?

Не все ли равно сейчас? И кто ответит мне на эти вопросы? Ведь в здешних местах на сто километров в окружности не найдешь ни одного старожила. И только на один вопрос можно, пожалуй, ответить, не боясь ошибиться: страдала ли Анна Седельникова? Тосковала ли она когда-нибудь?

«Да, – отвечаю я себе. – Страдала и тосковала. Уверен в этом и не сомневаюсь. Потому что не могу, не умею представить себе русского человека, какой бы он ни был отпетый и пропащий, не могу вообразить себе русского, который хоть иногда, хоть ночами не испытывал бы горечи и душевной тоски, сознавая себя в такой близости и вместе с тем так беспросветно и безнадежно далеко от родной земли!..»

Ведь это же как пытка жаждой, когда человек видит воду, слышит влажное падение ее капель и – не может, не властен освежить губ своих... А ведь именно так и жили они, эти русские люди, целых двадцать два года!

Ведь подумать только – в ясную погоду отсюда, с прибрежных холмов, отчетливо, со стереоскопической ясностью, виден Кронштадт, купол его Морского собора, дома, трубы и дымки над трубами. Слышны гудки советских паровозов. По утрам, если прислушаться, слышно, как гудит Сестрорецкий завод. В темные ночи на востоке в полнеба стоит электрическое зарево – это Ленинград. А тут – тишина, захолустье, окраина чужой страны... И так до конца, до гроба, до той минуты, когда опустят тебя в черную яму на маленьком лесном кладбище.

Но, может быть, эти люди так одичали и озлобились, так возненавидели породившую их землю, что уже и русскими себя не

считали? Нет, не думаю. Уж во всяком случае, Анна-то Седельникова до последнего дня считала и чувствовала себя русской. Ведь недаром на жестяной дощечке над ее могилой сказано: родилась в Любиме... Почему это так трогает меня? Да потому, что это не просто биографическая справка. Тот, кто снаряжал Анну Седельникову в последний путь – муж, или сестра, или дальняя родственница, – знали, вероятно, что Анна Владимировна любила и помнила до остатнего часа свою землю, свой маленький родной городок, и вот в знак последнего внимания к ней и напомнили, подчеркнули в этой коротенькой эпитафии, что покойная родилась не в Гельсингфорсе, не в Або, не в Свеаборге и не на Аландских островах, а в древнем российском городе Любиме.

«Знайте, помните, что я русская, – говорит эта надпись. – Поминайте меня как русскую. Бесславно кончила я, но есть у меня последняя радость и последняя гордость – родина моя Русь!»

...Впрочем, не так уж долго простоял я тот раз на кладбище, и не обо всем, о чем сейчас говорю, подумалось тогда словами. Все это как-то мелькнуло, померещилось, сдавило на какое-то время сердце, заволкло его мутной грустью. И помню, каким счастливым я почувствовал себя, когда полчаса спустя вышел на главную улицу поселка, и как все вокруг светилось и радовало меня в этот пасмурный дождливый день.

Вот мальчик стоит у булочной. Ест под дождем баранку. Вот маленькая черная, как таракан, собачка храбро кидается навстречу моему Джеку. Вот девочки школьницы бегут, размахивая мокрыми клеенчатыми сумками... В пустых, заколоченных дачах нет жизни, и все-таки все напоминает о ней: все эти надписи, вывески, указательные стрелки – «Детсад», «База однодневного отдыха», «5-й отряд», «Добро пожаловать!»... О шумном и веселом лете напоминают флагштоки в садах, мачты пионерских линеек, шведские лестницы, баскетбольные площадки с железными обручами для сеток и те серые, заскорузлые бревна, по которым летом бегают и ходят, растопырив руки, ребяташки. Сейчас только дятлы постукивают над головой. Безлюдно, тихо, но во всем этом скучном осеннем запустении столько милого, знакомого, близкого сердцу...



Все идет своим чередом. Своим чередом я работаю, пишу, читаю, ем, выхожу под моросящим дождем на прогулки с Джеком. Думаю о другом, а нет-нет да и вспомнится мне Анна Седельникова.

И поздно вечером, погасив свет и уже засыпая, я опять вижу перед собой этот длинный крест, эту жестянку на нем и эти чахлые, сморщенные, увядающие цветы на могиле.

И вдруг меня пронзает мысль:

«Позвольте! Откуда же цветы?»

В самом деле, как они могли появиться, эти незабудки и анютины глазки, на старой, заброшенной могиле? Кто их посадил? Ведь не могли же они сохраниться с 1939 года?

Но, может быть, цветов и не было? Может быть, это воображение мое подрисовало их? Нет, цветы были, – ясно вижу, как ползут эти жухлые, поблекшие, но еще не потерявшие голубизны своей незабудки по раскисшей, размытой дождями земле.

И вот уже лезут в голову мне всякие романтические сюжеты. И, засыпая, погружаясь в сон, я думаю: «Надо проверить, узнать, надо сходить еще раз на лесное кладбище».

Однако побывать на кладбище удалось не скоро: некогда было, мешали дела, да и погода зарядила такая, что ни пройти, ни проехать.

Но вот однажды утром, уже в конце октября, я просыпаюсь и, еще не открыв глаз, чувствую, что на дворе – солнце. Так шумно, полетному гомозят птицы за окном, так легко и глубоко дышится, так нежно, матерински-ласково давит на веки что-то воздушное, светлое, невесомое, чему нет названия.

За окном все блестит, сверкает, переливается.

– Ну что ж, повезло нам с тобою, Джек. Собирайся, идем опять к нашим белым козочкам!..

Не сразу мы разыскали в лесу кладбище. Опять за оградой его бродили козы – теперь их было больше, к двум беленьким присоседилась еще какая-то совсем маленькая, серая на черных ножках. Пришлось и на этот раз оставить огорченного и возмущенного Джека за калиткой. Под его неистовый лай вошел я за ограду кладбища и направился в тот угол его, где среди прочих старых могил находилось и место упокоения Анны Седельниковой.

В солнечный день кладбище не казалось таким забытым и запущенным. То тут, то там яркими, праздничными пятнами мелькали

сквозь рыжеватую зелень розовые, красные, яично-желтые и даже голубые бумажные розы на дешевых рыночных венках, кое-где виднелись тщательно выкрашенные в такие же ядовитые, попугайно-яркие цвета деревянные оградки, и, помню, уже не в первый раз подумалось мне, что за могилами близких многие у нас ухаживают с большим старанием и любовью, чем за собственным жильем.

Но вот я отыскал могилу Седельниковой – и останавливаюсь в недоумении. Цветы не только цветут, их кто-то привел в порядок. Чьи-то заботливые руки утрамбовали и поправили землю на могильном холмике, выпололи сорную траву на узенькой стежке вокруг могилы и даже слегка присыпали эту стежку желтым влажным песочком.

Кто же мог это сделать? Кто навещает эту эмигрантскую могилу? Откуда он приходит, этот человек?

И уже рисует воображение трогательную и замысловатую историйку о том, как революция разлучила двух подруг, или двух сестер, или дочь с матерью, и о том, как спустя много лет они встречаются – когда одна из них уже в могиле, а другая – на пороге могилы. В выходные дни или под праздники Седельникова-дочь, сама уже старуха, приезжает из Ленинграда, откуда-нибудь с Васильевского острова, в этот дачный поселок, пугливо оглядываясь, выходит из вагона электрички и, так же озираясь, волнуясь, не глядя в глаза встречным, мелкими шажками плетется по лесной дороге на этот затерянный в чаще погост. В хозяйственной сумке у нее – завернутая в газету цветочная рассада, лопатка или совочек. Тут же пакетик с завтраком, бутылка с питьем. Полдня копошится она на могиле, высаживает и пересаживает цветы, ходит за песком, за водой, а потом, когда все уже сделано, долго стоит, крестится, шепчет слова молитвы и, опустив голову, льет слезы о матери своей и о своем далеком любимском детстве... А вволю наплакавшись и надышавшись сосновым воздухом, усаживается на соседний бугорок, раскладывает на коленях бумажную салфетку и с аппетитом закусывает – жует бутерброды с крутыми яйцами и пьет тепленький жидкий чай из лимонадной бутылки...

Много чего можно придумать, когда стоишь перед такой загадкой, как этот серый высохший крест и эти голубые неувядающие незабудки.

Но тут мои раздумья были самым нелепым образом прерваны. Несчастный Джек, не выдержав казни, которую я ему учинил, содрал с калитки проволоку и вломился на кладбище. Я услышал его ликующий победоносный лай и душераздирающее мемеканье козочек, понял, в чем дело, и, не выбирая дороги, перемахивая через могильные бугры, кинулся к месту побоища. И пока бежал, услышал самое неожиданное и даже, пожалуй, самое страшное – негодующий, визгливый старушечий голос:

– Куда? Куда? Уходи! Пошел! Ах ты непотребная! Ах ты фулиган этакий! Уйди! Брысь? Кому говорю? Уйди!..

Подбежал и вижу: тщедушная старушонка в сером городском плаще и в ситцевом белом платочке, размахивая, как палицей, клюкой, храбро наступает на моего Джека. А тот, огрызаясь и отбредываясь от нее, боком идет в атаку на полумертвых от страха козочек, которые сбились в кучу, притиснулись к забору и так жалобно плачут, так мелко и часто дрожат, будто их только что из проруби вытащили.

Не знаю, чем бы все это кончилось, не успею я схватить собаку за ошейник. Козочки тотчас метнулись врассыпную, а старухи, будто и не удивившись моему появлению, с ходу набросились на меня.

– Твоя? да? – гневно спросила она, указывая клюкой на Джека.

Извинившись, я сказал, что собака действительно моя, но что она молодая, глупая, щенок еще.

– Да? Глупая? Щенок? Сам ты щенок! Фулиган ты, я тебе скажу! Ты что же это?.. Ты подумал, в кое ты место собаку привел?! Нахал ты, гражданин, вот ты кто!..

Не успел я рассердиться и обидеться, как бабка вдруг примолкла, прикрыла сухой пергаментной ладошкой глаза и вдруг застенчиво улыбнулась и уже не мне, а себе сказала:

– Фу, грех какой.

Подумала немножко, взглянула на меня искоса веселыми и смущенными голубыми глазами и махнула рукой:

– Ладно, иди, бог с тобой.

Повернулась и пошла, сгорбившись и опираясь на палку.

Прижимая к земле еще не остывшего, еще кипящего боевым пылом Джека, я смотрел ей в спину. Уши у меня горели. Все это было и в самом деле так нелепо, так по-дурацки глупо. Я выволок Джека за

калитку. Надавал ему шлепков. Постоял, покурил, подумал. Кто она, эта бешеная бабка? Откуда она взялась? Не сторожиха ли здешняя? Если сторожиха, тогда ей, конечно, должно быть известно, кто навещает могилу Седельниковой. Может быть, попробовать зайти, спросить?..

И вот, поколебавшись, я сделал то, чего никогда прежде не делал: снял ремешок и привязал Джека к дереву. А сам вернулся на кладбище и отправился разыскивать свою недавнюю обидчицу. Искать ее пришлось недолго, белый платок мелькнул за кустами боярышника на одной из боковых тропинок. Я ошибся: конечно, это была никакая не сторожиха. Пригорюнившись и сложив на коленях руки, старуха сидела на низенькой лавочке перед побледневшим от времени красным дощатым обелиском. Это была та самая уже знакомая мне пирамидка, к одной из граней которой кто-то приколотил гвоздиками сложенные крестом лучины. На другой грани, лицом на запад, висит черная с белыми буквами дощечка и над ней – за стеклом, в рамке – выцветшая, пожелтевшая фотография молодого паренька, почти мальчика, в солдатской гимнастерке. Могила густо засажена цветами, даже по выгоревшим дощечкам обелиска юлят, бегут наверх, цепляясь за серые, вымытые дождями нитки, ярко-желтые бабочки настурций.

Волнуясь, я прошел несколько раз за спиной старухи. Не замечает меня. Постоял немного, помолчал, деликатно кашлянул. Вздогнула, оглянулась, нахмурилась:

– Чего тебе?

– Вы меня, бабушка, простите, пожалуйста, – начинаю я самым дружелюбным и даже заискивающим голосом.

– Иди, иди... полно тебе... Не за что мне тебя прощать. Ты меня прости.

– Ну как же... Я все-таки виноват перед вами. Ведь как-никак это моя собака чуть ваших козочек не погрызла.

– Каких еще моих козочек? Бог с тобой, дядя. Отродясь у меня козочек не бывало.

– А эти разве не ваши?

– Нет, говорит, не мои.

Что мне было делать? Оставалось откланяться, надеть шапку и уйти. И тут я – не знаю, то ли из вежливости, то ли в тайной надежде

подольститься к старухе – показал глазами на фотографию молодого солдата.

– Сынок, бабушка?

Она ответила не сразу, помолчала, похмурилась, вздохнула, пошевелила губами:

– Да. Сын.

Спрашиваю, давно ли похоронили.

– Да, милый человек. Очень давно. Еще в финскую.

– На войне, значит, убили?

– Нет, на войне он ранетый был. Здесь, недалеко, под Перки-Ярви. А помер уж после войны, в госпитале.

– А вы что же, бабушка, выходит, здешняя будете?

– Мы-то? Мы-то сами ярославские будем, из-под Углича. А теперь вот, почитай, уже двенадцатый год здесь, в «Ленинском пути» проживаем. Я Корытова, – сказала она, быстро и слегка даже кокетливо, как мне показалось, покосившись в мою сторону. – Иван Федоровича Корытова мать я. Слышал небось?

– Нет, – говорю. – Простите. Не слышал.

– Ну? Неужто не слышал? Выходит, ты у нас, дядя, вовсе необразованный, – засмеялась она снисходительно. – Как же ты не слышал? Об Ване моем столько раз и в газетах писали и по радио объявляли. Председатель колхоза нашего. Однорукий.

Я вспомнил, что действительно читал – и совсем еще недавно – об этом человеке.

– Ах, да, как же, – говорю. – Читал, конечно.

– Вспомнил? Ну, то-то же. А как мы, говоришь, в эти места попали? Да так и попали. Ты вот, гражданин хороший, садись лучше, посиди со старушкой, отдохни, а я тебе все и расскажу по порядку, – сказала она, подвинувшись и принимая со скамьи свою вытертую, гладкую, как моржовая кость, палочку.

Поблагодарив, присаживаюсь на узенькую некрашеную лавку. Прямо в глаза мне смотрит из-за пыльного стекла веселый мальчик в старинного покроя гимнастерке без погон. Спрашиваю:

– Младший?

– Вася-то? Нет, милый. Младшенький у меня Ваня. А Вася – первенец. Ему бы сейчас, почитай, уж на пятый десяток пошло бы. А Ване – тому еще сорока нет. Вот послушай, как дело-то у нас было!

Жили мы, поживали... Хорошо до войны жили. Ну, правда, кто хорошо, а кто и похуже. Мне-то самой нелегко жилось. Я ведь сама вдовая – муж у меня еще в двадцать девятом году помер. Ну, да потом полегчало – сыновья подрастать помаленьку стали. Чего говоришь? Сколько их было? Нет, не двое, а целая троица! У меня еще и Федя был. После Васи родился. Где Федя-то? Убили, милый. Да... да... милый... на войне тоже...

Старуха помолчала, покусала нижнюю губу, белоснежным ушком головного платка промакнула один глаз, потом другой. И сразу выпрямилась, светло вздохнула, задумалась, улыбнулась:

– Эх, милый ты мой, друг ты мой неизвестный, знал бы ты, какие у меня сыновья были!.. И красавцы-то, и умницы, а уж какие славные, ласковые, приветливые!.. И с людьми хороши и промеж себя дружно жили. Бывалыча смотришь на них откуда-нибудь из уголочка – и залюбуешься. Один учится, домашнее задание готовит, а постарше который тут же ему линеечкой бумагу расчерчивает или какие-нибудь там глаголы выписывает. А уж меня-то они, миленьши, как жалели! Поверишь ли, по воду сама никогда не ходила. «Мама, голубушка, посидите, отдохните, я сбегаяю». «Мама, вы прилягте, послушайте радио, мы все сами сделаем». Вася, когда на действительную пошел, ну редкий день чтобы от него письма не было! Скучал очень. Ихняя-то часть здесь, под Питером, в Гатчине стояла. А потом как раз эта война финская, проклятушая... Узнаём, что и Вася наш тоже на передовую попал. И оттуда он часто писал: «Мама, не беспокойтесь, у меня все хорошо, только пришлите теплых носков, морозы дюже крепкие». А потом вдруг нет писем и нет. Уж и война кончилась, и мир заключили, а от него – ни духу ни слуху. И вдруг получаю письмо: «Мама, я ранетый, лежу второй месяц в госпитале. Дело на поправку идет. Скоро на выписку обещают. Приеду сразу домой». А тут денька через два – хлоп! – извещение почтарь приносит: «Помер от излияния крови после операции перитонита». Ну я тогда помоложе была... Ваня-то с Федей меня не отпускали, отговаривали: «Куда ты, мол, заблудишься на этом перешейке». А я и слушать их не стала – в чем была, в том и поехала. Думала – похоронить успею. Нет, не успела. Только могилку мне Васину и показали...

Снова дрожит нижняя губа, и снова белый ситцевый уголок плотно прижимается к одному и к другому глазу.

– Вот, милый дружок, вот как у нас дела-то нехорошо завязались. Много ли, я не знаю, времени прошло, не успела опянуться, а тут и большая, Отечественная война началась. Федя – тот сразу ушел, а через полгода и Ваню моего забрали. Осталась я одна... Ох, и вспоминать не хочу! Ох, уж эти ночки темные, ночки долгие, когда, глаз не смыкая, лежишь и все думаешь, думаешь... И все это видишь, как немец ползет и из ружья в голову им стреляет... А днем я – ничего, держалась. Помню, сосед у нас был, Михаил Фролыч, пьяница и охальник ужасный... Он увидит, как я на дворе ковыряюсь чего-нибудь, и начнет из-за плетня мне кричать: «Эй, бабка! Марья Степановна! Ползаешь еще? Помирать пора!» А я ему: «Нет, говорю, сосед милый. Пока до победы не доживу, пока сыновей не встречу, помирать не согласна. Войну кончим, сыновья вернутся – тогда, сделай милость, хорони меня хоть с музыкой». А ведь – нет, не привелось мне всех-то встретить. Один вернулся, да и тот – не человек, а обрубок...

Ничего, ничего, милый... Ладно... погоди... я сейчас... Фу ты, будь ты неладный! Куда ж он задевался, платок-от мой? Уж ты извини меня, человек хороший! Ведь вот уж, кажись, давным-давнешенько все слезы-то выплакала, ан нет! Вспомнишь все-то, растеребишь себя, ну и – опять нос мокрый. Ты сиди, сиди, не уходи, я доскажу. Про Ваню я начала... Одним словом, узнала я, что Ваня мой тяжело ранен, что ему руку осколком оторвало, и не совру тебе, милоч, – обрадовалась грешным делом. Думаю, хоть какой-нибудь, хоть инвалид, а все живой домой-то вернется. А как увидела его, как встретила его на станции – о господи! – и не узнать парня! Был он всегда у нас такой веселый, просмешливый и на лицо очень хороший, а тут пляжу – будто и не он. Весь какой-то пожелтелый, темный, не улыбнется никогда, слова лишнего не скажет. На койку на свою завалится и лежит. Очень он тогда, бедняжка, переживал, расстраивался. Боялся, что работать ему уж не придется. Ведь ему левую-то руку по самое плечо ампутировали, да еще и на правой эти вот два пальчика прихватили. А он у меня, Ваня-то, образованный – девять классов кончил, после школы в институт налаживался поступать. Ну а уж тут, думает, какие там инженеры... Ведь он у меня, ты знаешь, и ложку-то не сразу наострился держать. Ох, голубь, тяжело мне с ним было! И без него худо, и с ним нехорошо. Уж я его и

так и этак. «Сходи, мол, погуляй, Ванечка. Что же ты, мол, все лежишь этак-то? Ты же еще молодой, здоровый». – «Ладно, – говорит, – мама. Не говорите, мне, пожалуйста, таких слов. О каких тут прогулках может быть речь?!» – «Ну, – говорю, – по хозяйству что-нибудь полегче сделай. Вот, – говорю, – забор у нас валится, поправить бы надо». Он не ответит, только зубами заскрипит и – подушку этаким вот манером на голову. А один раз, пляжу, встал, походил по избе, в сени вышел, ищет чего-то. «Ты, говорю, чего там, Ваня?» – «Топор где у нас?» – «Там-то, мол, за ведрами»... А сама думаю: зачем ему? Испугалась: думаю, худого бы чего не сделал, бедолажкин мой! За ним, правда, не пошла, а бочком этак у окошка стала и пляжу, наблюдаю... Вижу, во двор вышел, топор у него под мышкой, в кульпяках своих банку с гвоздями еле как несет, к животу притиснул. Стал забор налаживать. Одную доску там всего-то и надо было гвоздями прибить. А уж он и так и этак. Никак ему, сердешному, гвоздик не приладить. Помочь хотела, думаю – нет, обидится. А он повозился, помучился, видит – ничего не выходит, осерчал, расстроился, топор с маху в доску всадил и – в избу. На кровать повалился, в подушку лицом упал и, вижу, весь так и затрясся.

Опосля-то уж Ваня мой наловчился и всякую работу мог хорошо производить. И писать научился, и на счетах щелкать; и бритвой бреется, и дрова рубит, и гвозди заколачивает. Засечку маленькую топором делает, гвоздик вставит и бьет, забивает чего надо. А в ту зиму он ужас до чего горевал. И есть не хочет и спать не желает. Нервный стал. Чуть что – порох!

И вот, милый, в аккурат в это самое ужасное время – хлоп меня еще раз по темечку! Прибегает как-то утречком девочка соседская: «Бабушка, мол, Корытова, беги скорейча, в сельсовет тебя требуют». Ну, я платок накинула – побежала. «Что, – думаю, – за спешность такая?» Прибегаю: «Здравствуйте, зачем звали?» – «Да вот, – говорит, – по невеселому, – говорит, – делу тебя позвали. Получи, Марья Степановна, и распишись». И подает мне похоронную. «Так, мол, и так, ваш сын ефрейтор Федор Корытов погиб за Советскую родину 18 февраля»... Ну тут, сам понимаешь, подсеклись мои ноженьки – на каком месте стояла, там и грохнулась. Отпоили меня, в чувство привели. А я кое-как очухалась и думаю: «Что же мне делать?»



Нет, – думаю, – Ваня об этом знать не должен. Опосля как-нибудь скажу, а сейчас – не буду, смолчу».

С тем и домой пошла. А он будто учуял чего. Подхожу, вижу – вот он, на крылечке мой Ваня стоит.

«Ну что? – говорит. – Зачем вас, мама, вызывали?»

А я ему и соври:

«А! – говорю. – Глупости! Ошибка там вышла. Не Корытова, мол, им, а Короткова требуется».

«Что за Короткова? Не помню, – говорит, – какие это Коротковы у нас?»

Ну я как-то отчудилась в тот раз. А только и он ведь у нас не дурачок. Не поверил мне. Весь день, помню, глаз с меня не сводил. Ходит за мной и смотрит. А вечером поздно, когда уж в постели я лежала, подошел в темноте и спрашивает:

«Федю убили?».

Ну что ж, милый, не соврешь ведь в этакой-то час.

«Да, – говорю, – Ванечка, убили».

Он постоял, постоял, руку мне культияпкой своей потрогал и к себе пошел.

И вот ведь, гляди, чудо-то какое! В аккурат с этого дня будто подменили Ваню моего. До этого сычом дома сидел. Ни в лавку его, ни на собрание, ни к друзьям-товарищам калачом не заманишь. А тут – будто очнулся. Веселей-то он, конечно, не стал, а все-таки действовать начал. Туда, сюда – и в сельсовет, и в правление, и в ячейку свою партийную стал ходить. И по хозяйству все, что надо, сделает.

А я тем часом успела насчет Феде в часть ихнюю написать. Думала – может, и на его могилку слетать успею. Да нет, не вышло. Ответили мне, правда, быстро. Хороший человек написал, начальник Федин. Все он мне подробно рассказал. Погиб, мол, Федя в Померании, при взятии города Пфальценберга. Там его, в этом городе, и земле предали. А где она, эта Померания, и что это за Пфальценберг такой – бог их ведает. После-то мне, правда, Ваня объяснил, что это где-то в немецкой земле, далеко очень, туда и с пересадкой не доедешь...

Ну вот, дядечка. Тут и сказке моей конец. Стали мы с той поры жить вдвоем с Ваней. Он, я говорю, как Федю-то убили, быстро в

колею взошел. Голову-то уж не вешал. Живой, мол, так надо жить. Звали его в разные места работать – и в сторожа определяли, и клубом заведовать, и даже в какую-то полоторную артель знакомый инвалид сманивал. Только он ничем этим не прельстился. «Нет, – говорит, – я еще молодой, буду учиться». Разложил опять свои книжечки и тетрадки, прошел заочные курсы и полтора года счетоводом у нас в потребсоюзе работал. Потом в Ярославль его посылали – в областной школе занимался. Инструктором в райкоме состоял. А в сорок девятом, кажись, году приезжает один раз из Углича: «Мама, – говорит, – такое у меня к вам предложение. Не желаете ли поехать со мной жить на постоянно на Карельский перешеек? Там новые колхозы создаются». – «Ну что ж, – говорю. – А не знаешь – от Васиной могилки далеко это будет?» – «Нет, – говорит, – по моему расчету, не может быть, чтобы очень далеко. Это под Питером».

Ну вот и поехали. И живем тут. А только могилку-то Васину я, милый, не сразу тогда отыскала. Ведь пока война, пока что – здешний-то народ все наши солдатские могилы разорил и все тумбочки вот эти повыкидал. Уж я в тот раз искала, искала, все глаза выплакала. Чудом нашла! Каким, говоришь, чудом-то? А вот слушай. Лазаю это я тогда через бурьян да через крапиву и вдруг вижу – заколка лежит. Эвона она...

Старуха выпростала из-под платка жиденюкую седую косицу, отстегнула и показала мне зелено-коричневую пластмассовую, грубо сработанную «под черепаху» булавку.

– Видал, брат? Она самая! Гляжу – лежит на этом вот месте, у самого бугра. А я и вспомни, что давеча, после финской-то войны, где-то тут, в аккурат у Васиной могилки заколку обронила. Тогда не искала, не до того было. А этта пляжу – накося! Лежит как миленькая! Ну, думаю, значит, и Вася мой тут же, под этим бугорком. Слава богу, свиделись...

Опустив голову и опершись на палку, старуха сидит, задумалась, медленно и шумно дышит, улыбается чему-то. Задумался и я. Солнце уже стоит высоко, шагнуло вправо, уже заглядывает через плечо и бьет искоса в пыльное стекло на могильной тумбочке, и уже не видно за этим стеклом веселого мальчика в гимнастерке, а видны вершины сосен, зеленоватое небо и барашки облаков.

Откуда-то издалека, будто из-под земли, доносится вдруг безысходно тоскливый собачий плач.

– погоди, чего это? – говорит, встрепенувшись, старуха. – Это кто же бренчит? Постой, дядя, а ты куда барбоса-то своего дел?

Только тут я вспомнил, по какому делу пришел на кладбище. Поднимаюсь и говорю:

– Барбоса я в лесу к дереву привязал, Марья Степановна. Не бойтесь, не удерет. А я вас вот о чем хотел спросить: скажите, вы часто здесь, на кладбище, бываете?

– На кладбище-то? Нет, дружок, не часто. Ноги не позволяют. Ведь восемь километров доселе от нашего-то колхоза. Пока дойдешь, пока старые кости свои дотащишь – хоть сама в могилку ложись. Нет, редко я хожу. Но все-таки не забываю, заглядываю к Васе-то...

– Народ тут, на кладбище, бывает?

– Бывают. Ясное дело. Не я одна хожу.

– А скажите, вы не знаете случайно, что это за могила – вот на той дорожке, налево?..

– Это какая? На какой дорожке?

– Там еще крест такой – очень длинный, белый.

– А-а! Это Седельниковой, что ли? Анны?

– Знаете!

– Ну как же не знать, – усмехнулась она.

– Значит, вы и с самой Седельниковой знакомы были?

– Как это с самой?.. Полно тебе, где же это я могла с ней обзнакомиться?

– Ну, а кто к ней ходит, кто ее могилу навещает, – тех знаете?

– А никто, милый, не ходит. Я ведь вот уж который год здесь бываю, у Васи-то, и хоть бы, ты знаешь, одна душа к ней когда заглянула!

– Удивительно! – говорю. – Никто не ходит, а на могиле цветы вовсю растут. Кто же их мог там посадить?

– Цветы-то? Цветы я посадила.

Это спокойное признание так меня, помню, удивило, что я даже снова опустился на лавочку.

– Позвольте! – говорю. – Марья Степановна! Как же это так? Зачем же вы это сделали?

– А что я сделала?

– Да вот, цветы, посадили.

– А тебе что – жалко?

– Мне-то не жалко. А все-таки это странно как-то. Вы же, говорите, не родственница этой Седельниковой.

– Какая родственница?! Бог с тобой!

– Ну вот...

– Что «вот»? А ничего тут, милый, особенного нет. Бродила я этта еще в позапрошлом году по кладбищу, вижу, могилка растрепанная стоит. А у меня в аккурат рассада оставшись была. Ну вот, я и посадила цветочков-то. И могилу кое-как подровняла, и крест попрямей поставила. А то ведь он, ты знаешь, вовсе пригорюнившись стоял...

– Марья, – говорю, – Степановна, а вам известно, что эта Седельникова – эмигрантка?

– Как это?

– А так вот, что она, попросту говоря, из России уехала и не вернулась.

– А это я, милый, очень даже хорошо понимаю. Как же. У ней ведь и фамилия по-старому напечатана... Вот мне, ты знаешь, за то и жалко их, что они на чужой стороне век свой кончили. Ведь их тут немало наших-то, русаков. Тут еще недалеко Ваня Мещорский семи лет от роду погребен лежит.

– И за ним наблюдаете?

– Да, милый, и за ним наблюдаю.

– А вам, бабушка, не приходило в голову, что эти люди – враги?

– Как это? Чьи враги?

– Ну... наши с вами. Может быть, это они тумбочки-то с могилки?..

Старуха взглянула на меня, не ответила, нахмурилась, ниже опустила голову. Искося гляжу на ее шафранно-желтые с синими прожилками руки, грузно опершиеся на загогулину клюки, и на тусклое венчальное колечко на левом безымянном пальце, и вдруг, как вино, ударяет мне в голову теплая сыновняя нежность. Хочется склониться к ней, припасть к этим милым шершавым старушечьим рукам, крепко сжать их, погладить, расцеловать...

А Марья Степановна не смотрит на меня, думает о чем-то, покачивает головой.

– Тумбочки-то? – бормочет она. – А что ж... кто ж их, бродяг, знает... может, и они...

И, обратив на меня ясные голубые глаза, она мягко и осудительно творит:

– Нет, милый, ты меня не тревожь, не смущай. Неправильно, нехорошо этак-то говорить... Ведь мы с тобой люди русские... великодушные... Мы по ихним законам жить не должны...

Вдруг она наклоняется, трогает своей легкой и теплой рукой мою руку:

– Слушай, чего скажу. Гля-кось, денек-от какой благословенный. А? Вот ведь благодать какая! Я вот, ты знаешь, сижу, бывает, в этакой-то раздольный день у Седельниковой или у Мещорского Вани, ковыряюсь чего-нибудь и думаю: а что, как и на Федину могилу, в Померании и этой, тоже сейчас какая-нибудь вроде меня старушонка притащилась... А? Как ты думаешь?

– Что ж, – говорю. – Возможно. Всякое на свете бывает. Все может быть.

В эту минуту опять откуда-то издалека, как из погребца, донесся безнадежный плач обезумевшего от ужаса Джека. Я быстро поднялся, протянул руку, поклонился, пожелал Марье Степановне здоровья, поблагодарил за беседу. И через пять минут, оставив за спиной кладбище и поселок, я уже вышагивал по широкой лесной дороге в сторону Щучьего озера. Далеко впереди, не оглядываясь и поджимая хвост, трусил обиженный Джек. А я шел, и посвистывал, и посмеивался, и размахивал палкой. И много о чем думалось мне в этот благодатный, благословенный солнечный осенний день.

# **Одноактные пьесы**

*Комедия в одном действии*

**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:**

Старый муж.

Старая жена.

Лейтенант Мигунов.

Марья Васильевна, его жена.

Дети лейтенанта Мигунова.

На сцене – Муж. Он стоит у раскрытого чемодана, в руке у него связка писем. Он потрясен до последней степени.

**Муж.** Нет, этого не может быть! Это бред! Я сплю. *(Закрывает рукой глаза.)* Проснись! Сергей Николаевич, проснись! *(Открывает глаза.)* Проснулся. *(Читает письмо.)* «Милая моя, дорогая моя Анечка... *(стонет)* где мне найти слова, чтобы рассказать вам, какую радость доставило мне ваше последнее, ваше чудное, ваше нежное, ваше ласковое письмо...» Что это?! Что это такое?! Я!!! Я, когда мне было двадцать два года, не писал ей таких нежных, телячьих писем!.. *(Читает.)* «...Если бы вы знали, как много значат для меня ваши письма – особенно здесь, среди этих безмолвных сугробов, в занесенной снегом землянке... Знать, что кто-то думает о тебе, что есть на свете близкая душа...» Нет, это и в самом деле бред, это ужас, это затемнение какое-то! *(Лихорадочно перелистывает другие письма.)* «Милая...», «Дорогая...», «Чудесная...», «Милая моя девочка...» Боже мой! Девочка!!! Когда это написано? Может быть, это пятьдесят лет тому назад написано? Нет, не пятьдесят. «Февраль 1942 года. Действующая армия». *(Облокотился на стол, закрыл глаза.)* Нет, я не могу больше, у меня ноги от ужаса отнимаются... Дожить до седых волос, пройти с человеком рука об руку долгий жизненный путь и вдруг... узнать... *(Схватился за голову, зашагал по комнате, остановился.)* Нет, скажите, что же это?! Что же мне

делать?! Ведь я... ведь я даже забыл... честное слово, я забыл, что в таких случаях полагается делать.

*Телефонный звонок.*

**Муж** (*снимает трубку*). Да! Кто? А, Евгений Исаакович, здравствуйте, милый! Нет, нет, скажите, что я не буду. Нет, дорогой Евгений Исаакович, я не могу, сегодня ни в коем случае не могу. У меня... Что? У меня... Нет, не грипп. Как вы сказали? Гастропневмоларингит? Нет, нет. У меня... Я уже забыл, как это называется. У меня – семейная драма. Да нет, какой театр?! Какая постановка? У меня действительно драма... трагедия! Что? Градусник? (*Трогает лоб.*) Да, кажется, есть. Вы думаете? Да, пожалуй, лягу. Что? (*Упавшим голосом, мрачно.*) Ее нет дома. Я говорю: ее дома нет! А! (*Сквозь зубы.*) В жакте для бойцов теплые вещи шьет. Что? Заботится? Гм... да... заботится. Что? Слушаюсь. Передам. Спасибо. И вам тоже. До свид... (*Кричит.*) Евгений Исаакович, простите, милый, у меня к вам один, так сказать, чисто личный, сугубо личный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не помните случайно, что делают... Алло! Вы слушаете? Я говорю, вы случайно не помните, что делают, как поступают, когда... гм... как бы вам сказать... когда изменяет жена? Как? Что вы говорите? Градусник? Да нет, я вас совершенно серьезно... Что? Стреляются? Гм. Нет, это не подходит. Не подходит, говорю. Развод? Н-да. Вот это, пожалуй, как говорится, идея-фикс. Я говорю: надо подумать. Зачем мне это знать? Да понимаете ли... у меня тут... я тут... один очень интересный кроссворд решаю... Да, да, именно – в «Огоньке». Исключительно интересный. И там как раз вопрос на данную, так сказать, тему.

*В прихожей звонок.*

Одну минутку.

*Звонок повторяется.*

Что? Простите, Евгений Исаакович... Тут звонок. Да, я сейчас.

*Уходит, возвращается. Следом за ним в комнате появляется Жена – пожилая, ничем не примечательная женщина. Она очень утомлена, в руке у нее авоська. Со словами «Здравствуй, милый» она хочет поцеловать мужа в висок, но тот брезгливо и даже гадливо отстраняет ее и проходит к телефону.*

**Муж.** Алло! (*Мрачно.*) Да, простите, Евгений Исаакович. Да, да. Тут пришла одна (*подыскивает слово*)...личность.



*Жена остановилась, с удивлением смотрит на него.*

Да, так на чем мы с вами остановились? Я говорю, надо подумать, что делать с этими накладными. Я говорю – с накладными на гвозди и на рубероид. И на кровельное железо. Что? Да, да, я понимаю, что вы не понимаете. Их надо отправить немедленно, иначе банк не откроет текущего счета до конца месяца. Что? Кроссворд? Гм... Ну что ж, и на кроссворд, разумеется, тоже надо выписать накладную... Что? Градусник? Гм. И на градусник... И на градусники тоже... Евгений Исаакович, что я хотел сказать? Петра Ивановича вы не видели? Нет? А Матвея Семеновича? Погодите, дорогой, что-то я хотел еще... Алё! Алё!.. *(Неохотно и нерешительно вешает трубку.)*

*Пауза.*

**Жена** *(у раскрытого чемодана, спокойно).* Что это значит?

**Муж** *(оробев).* Гм. Да. Вот и я хотел спросить: что это значит? А?

**Жена.** Ты рылся в...

**Муж** *(храбрится).* Да, рылся. Искал промтоварную карточку.

**Жена** *(закрывая чемодан).* Нашел?

**Муж.** Гм... Н-да... Этого... Ты понимаешь – нигде нет. И в сумочке искал, и в комод... А у нас в киоске нынче такие чудесные джемпера продавали...

**Жена.** Ну? Шерстяные?

**Муж.** Да нет, пожалуй, вигоневые... Но плотные такие.

**Жена.** Ты обедал?

**Муж.** Обедал. Ты знаешь, картофельные котлеты сегодня на второе были, довольно вкусные.

**Жена.** Надо, пожалуй, взять.

**Муж.** Что взять?

**Жена.** Джемпер. Не для себя, так...

**Муж** *(насторожившись).* А?

**Жена.** На фронт пошлем.

**Муж** *(сардонически).* Ага!! *(Зашагал по комнате, подошел к Жене, пристально смотрит на нее.)* Кому?

**Жена.** Что – кому?

**Муж.** Джемпер, который по моей промтоварной карточке? Лейтенанту Мигунову?

**Жена.** Да.

**Муж** (*снова шагает по комнате и снова останавливается перед Женой*). Анна! Я все знаю.

**Жена**. Что?

*Муж указывает на чемодан.*

**Жена**. Ах, вот оно – ты читал мои письма?!

**Муж**. Я всю жизнь, я тридцать лет, как дурак, читал твои письма.

**Жена**. Ну конечно. Это были письма от тетушек, от крестного, а эти...

**Муж**. О да, сударыня, письма ваших любовников я до сих пор не имел удовольствия читать.

**Жена**. Козлик! Да что с тобой? Что это за театр?

**Муж** (*кричит*). Какой я вам Козлик!!

**Жена**. Ну конечно, Козлик.

**Муж**. Был Козлик, а теперь...

**Жена**. А теперь?

**Муж**. Козлов Сергей Николаевич!

**Жена** (*садится*). Ну, так вот, Козлов Сергей Николаевич. Давайте кричать не будем. Мне и без того... с этими письмами...

**Муж**. Скажите – «и без того»! Я требую ответить мне: эти письма адресованы вам?

**Жена**. Мне.

**Муж**. И вам не совестно?

**Жена**. Немножко.

**Муж**. Анна, да что с тобой?! Неужели ты всегда была такая?

**Жена**. Да, пожалуй, я всегда была такая...

**Муж** (*бессильно опускается на стул*). Боже мой... Тридцать лет... Изю дня в день... Рука об руку... (*вскакивает, бежит по комнате*.) Нет, ведь надо же! А?! Какой позор! Какой стыд! Этакая, прости господи, мымра, на которую и плядеть-то... и на тебе, тоже – хахаля завела! Ну и времечко!

*Жена, положив голову на спинку стула, тихо плачет.*

**Муж**. Ага! Все-таки совестно, значит?

**Жена**. Я не знаю, что мне делать. Я запуталась. Помогите мне.

**Муж**. Тьфу. Послушать, так прямо Анна Каренина какая-то. Будто ей не пятьдесят с гаком, а двадцать два года.

**Жена**. Да.

**Муж.** Что «да»?

**Жена.** Двадцать два.

**Муж** (*испуганно пятится*). Да ты что? Да ты, кажется...

**Жена.** Нет, я просто устала. Я страшно устала, Козлик. Мы весь день работали – шили рукавички... фланель кроили на портянки...

**Муж.** Мигунову? Хе-хе. Лейтенанту?

**Жена.** Может быть, и Мигунову тоже. (*Плачет.*) Бедный мальчик! Милый мой, хороший мой, славный мой...

**Муж** (*нервно шагает вокруг*). Послушай... Нет, это... Это в конце концов переходит... Это – я не знаю что!.. Это – бред! Я должен еще выслушивать ее... всякие там любовные серенады!..

**Жена.** Прости меня, Козлик. Я устала. У меня голова кругом.

**Муж.** У нее – голова! А у меня что – арбуз или абажур какой-нибудь? (*Останавливаясь.*) Кто этот Мигунов?

**Жена.** Не знаю.

*Муж смотрит на нее, потом идет к дверям и начинает одеваться.*

**Жена** (*поднимаясь*). Ты что? Ты куда?

**Муж.** Ха! Куда! Ха-ха!

**Жена.** Нет, Сережа, в самом деле!

**Муж** (*напяливая пальто*). В самом деле – две недели! Оставь меня! Хватит. Как это называется... это учреждение? Загс? Ага. Загс...

**Жена** (*пытается обнять его*). Козлик, милый, да что с тобой? Я же уверяю тебя, что я не знаю лейтенанта Мигунова.

**Муж.** Да? (*Показывает на чемодан.*) А это что?

**Жена.** Я хочу сказать, что лично мы с ним не знакомы.

**Муж** (*язвительно*). «Лично»!

**Жена.** Я его и в глаза не видела.

**Муж** (*язвительно*). «В глаза»!

**Жена.** Мы только писали друг другу письма.

**Муж.** Только письма? И он тебя тоже в глаза не видел?

**Жена.** Разумеется.

**Муж.** Ага. А с какой же, интересно знать, стати он писал тебе эти нежные, телячьи письма... если не видел?

**Жена.** Ну, потому и писал... потому, вероятно, и писал, что не видел.

**Муж** (*ходит по комнате, садится на стул, сжимает руками голову*). Нет, я не могу. Это не просто бред, это какой-то пьяный, фантастический, кошмарный бред!..

**Жена**. Нет, Козлик, это никакой не бред. Все это очень просто получилось. Помнишь, мы собирали прошлую осень посылки бойцам?

**Муж**. Ну, помню. Ну и что?

**Жена**. Ну, и я тоже, как ты знаешь, послала. Вот моя посылочка и попала к этому лейтенанту Мигунову.

**Муж**. Ну?

**Жена**. Он мне ответ прислал. Поблагодарил. Просил о себе написать: кто я, что я... Ничего я о нем тогда не знала, да и сейчас не знаю. Знаю только, что человек этот на фронте, что он защищает и тебя, и меня, и землю нашу. И вот, когда он прислал мне письмо и просил написать ему... я и написала, что мне – двадцать два года, что я – девушка.

**Муж** (*поднимается, нервно смеется, ходит по комнате*). Хорошо. Очень хорошо. Великолепно. Но... Но почему – двадцать два года?

**Жена**. Ну... мне просто казалось... я думала... что человеку приятнее, если ему пишет молоденькая женщина, а не такая... как ты очень удачно определил: мымра...

**Муж** (*смущенно*). Ну, ну. Ладно. Чего там. (*Радостно хохочет.*) А ведь ты знаешь – ты молодец! А? Ведь это верно: молодому человеку приятнее, когда ему пишет молоденькая.

**Жена**. Да небось и не только молодому.

**Муж** (*ходит по комнате, смеется*). Молодец! Ей-богу, молодец! (*Остановился.*) Послушай, а только почему ты... это... потихоньку? А? Почему ты... это... инкогнито от меня?

**Жена**. Почему? (*Подумав.*) Потому что я относилась к этому серьезно.

**Муж**. А что ж – разве уж я такой... гм... саврас?

**Жена**. И потом, ты знаешь, я действительно чувствовала себя молодой девушкой, когда писала эти письма. И, пожалуй, если уж говорить правду, я даже была немножко и в самом деле влюблена. А Мигунова я представляла себе знаешь каким? Сказать? Нет, не скажу... В общем, это был ты, такой, каким ты был в девятьсот

четырнадцатом году. Помнишь? Молоденький прапорщик с такими вот усиками... Когда я писала этому лейтенанту Мигунову, мне казалось, что это я пишу тебе...

**Муж.** Гм... Ты знаешь, я как-то чувствую... ей-богу, чувствую, что начинаю как будто... любить этого Мигунова. Славный, в общем, я думаю, парень. А? Он где? На каком фронте?

**Жена** (*мрачно*). Как? Ты разве не читал?

**Муж.** Что?

**Жена.** Ты же письма читал.

**Муж.** Ну!

**Жена.** Он тяжело ранен. Лежит в госпитале – здесь, уже второй месяц.

**Муж.** Здесь? У нас?

**Жена.** Ну да. Ох, ты бы знал, Козлик, как я намучилась.

**Муж.** Ты была у него?

**Жена.** Что? Да бог с тобой, как же я могу...

**Муж.** Да, конечно. Если он воображает, что ты... Это, конечно... как-то... Понятно.

**Жена.** А как он меня звал! Как он просил меня прийти! Я думаю, он мне по меньшей мере двадцать писем оттуда, из госпиталя, прислал. А я – у меня даже не хватило мужества ответить ему на его последние письма.

**Муж.** Да, положеньице у тебя, надо сказать...

*Телефонный звонок. Жена идет к телефону.*

**Муж.** Погоди. Это, вероятно, Брискин. Нас разъединили. (*Снимает трубку.*) Да? Евгений Исаакович? Алло! Что? Не совсем так? Что? Кого? Анну Ивановну? Кто? А? Да, да, пожалуйста. (*Протягивает трубку Жене.*) Тебя.

**Жена.** Это – он!

**Муж** (*передает ей трубку*). Лейтенант Мигунов.

**Жена** (*хрипло*). Алло! (*Откашлявшись.*) Да, это я. (*Постепенно входит в роль, несколько кокетничает.*) Что? Счастливы слышать мой голос? Голосок? (*Пауза.*) Вы не шутите? В самом деле? Я тоже – очень, очень рада. (*Растерянно.*) Что? Я не слышу. Алло!.. Зайти ко мне?

*Смотрит на Мужа. Тот в волнении быстро ходит по комнате.*

Сегодня? Уезжаете на фронт? Я, право, не знаю. На полчаса? Не один? Целая компания? Нет, вы знаете, голубчик... вы знаете, мой милый...

*Муж громким, зловецим шепотом что-то подсказывает ей.*

У меня... Я плохо себя чувствую... У меня... *(Мужу.)* Что? У меня... гастропневмоларингит. *(Смеется в ответ на реплику Мигунова.)* Нет, нет... Вы знаете, Мигунов, я сама страшно... я страшно хочу вас видеть. *(Смотрит на Мужа.)* Но... Вы слушаете? Что? Алло! Алло! Алло! *(Вешает трубку.)*

**Муж.** А?

**Жена.** И слушать не хочет. Говорит: уезжаю на фронт и не могу, хоть убейте, не могу не повидать вас, моя добрая фея.

**Муж.** Так и сказал: добрая фея?

**Жена.** Моя добрая фея.

**Муж** *(фыркает).* Номер!

**Жена.** Он... тут, рядом, из автомата говорил. Сейчас придет.

**Муж.** Так-с. И еще не один, кажется?

**Жена.** Да... Говорит: вы уж меня извините, а мы к вам целой компанией заявимся.

**Муж.** Н-да. Веселенький номер сейчас будет.

**Жена.** Ох, Козлик, милый мой, в какое ужасное, в какое глупое я попала положение!..

**Муж.** Да. Но, по правде сказать, он тоже... попал.

**Жена.** Нет. Я не могу. Я уйду.

**Муж.** Да? Что? А я? А мне тут с ним – что, дуэли устраивать?

*Звонок в прихожей.*

**Жена** *(в ужасе).* Это – они. *(Кидается на шею Мужу.)* Боже мой, Козлик, что же мне... что же нам делать?!

**Муж.** «Нам»! Гм... Знаешь что? Идея-фикс!

Телефонный звонок.

**Муж** *(взявшись за трубку, но не снимая ее).* Ты знаешь что? Мы скажем, что ты – это не ты.

**Жена.** Как – я не я?

**Муж.** То есть что она – это не ты... *(Снимает трубку.)* Алло! *(Жене.)* То есть что ты – это не она... *(В трубку.)* Да? *(Жене.)* Одним словом, что Анечка – это наша дочь.

*Звонок в прихожей.*

**Муж** *(в трубку)*. Евгений Исаакович? Да, да, нас разъединили.

**Жена**. Но, Козлик, но где же она?

**Муж**. Ну, где? Ну, уехала... Простите, Евгений Исаакович.  
*(Жене.)* Что?

**Жена** *(заламывая руки)*. Куда?

**Муж** *(в трубку)*. Одну минуточку... *(Жене.)* Ну куда? Ну, мало ли, в конце концов...

*Звонок в прихожей. Жена уходит. По пути заглянула в зеркало. Поправила волосы.*

**Муж** *(в трубку)*. Что? Простите, Евгений Исаакович. Тут очень шумно сегодня. Что? Не слышу! Как сформулирован вопрос? Какой вопрос? А, в кроссворде... В кроссворде он сформулирован так...

*В прихожей шумные голоса.*

Евгений Исаакович, дорогой, может быть... Алло! Может быть, вы будете настолько любезны... может быть, вы позвоните – ну, так минут через пять или десять. Нет, нет, просто у нас тут сегодня...

*Пока он произносит последние слова, в комнате появляется Жена, а за нею – сорокапятiletний бородатый человек в форме артиллерийского офицера, пожилая женщина и двое детей – мальчик и девочка. На руках у бородача еще один ребенок – грудной.*

**Лейтенант Мигунов**. Ее нет?

**Жена**. Ее нет.

**Муж** *оглянулся, хочет повесить трубку и не может: петля не садится на крючок.*

**Муж**. Н-да.

**Лейтенант Мигунов**. А вы – ее мама будете?

**Жена**. Да. А вот это...

**Лейтенант Мигунов**. А это – папа.

**Жена**. Познакомьтесь.

**Лейтенант Мигунов**. Очень приятно. Честь имею. Лейтенант Мигунов.

**Муж** *(про себя)*. Номер!

**Лейтенант Мигунов**. Что-с?

**Муж**. Козлов. Бухгалтер.

**Лейтенант Мигунов** (*представляя жену*). Моя жена – Марья Васильевна, мать моих детей.

**Марья Васильевна.** Здравствуйте.

**Жена.** Присаживайтесь, пожалуйста. Садитесь.

**Лейтенант Мигунов** (*знакома*). Мои, а также моей жены, дети. Однако должен признаться, – не все, а только, так сказать, левый фланг. Остальные – на фронте.

**Марья Васильевна.** Давай-ка сюда – левый фланг. (*Берет грудного ребенка.*)

**Лейтенант Мигунов.** Вы уж простите, что я к вам со всем своим подразделением заявился. (*Мужу.*) Закуривайте.

**Муж.** Спасибо. (*Качает головой, дескать – «некурящий».*)

**Жена.** Какие славные ребятишки.

**Муж.** Да, да, исключительные.

**Жена** (*мальчику*). Тебя как зовут?

**Марья Васильевна.** Олег его зовут.

**Жена** (*мальчику*). Олег?

**Мальчик.** Ага.

**Жена.** А тебя?

**Марья Васильевна.** Ее Галя зовут.

**Жена.** Галя?

**Девочка.** Угу.

**Муж** (*мальчику*). Скажи, пожалуйста, Олег, тебе сколько лет?

**Лейтенант Мигунов** (*сыну*). Ну, что в рот воды набрал?

**Марья Васильевна.** Десятый пошел ему.

**Муж.** Десятый? Правда?

**Мальчик.** Ага.

**Марья Васильевна.** А этой девяти еще нет.

**Жена.** Девяти нет?!!

**Девочка.** Угу.

**Лейтенант Мигунов.** А где же все-таки Анечка... то есть, простите, Анна Ивановна?

**Муж** (*переглянувшись с Женой*). Анечка... Анечку... Ее, понимаете, экстренно вызвали...

**Лейтенант Мигунов.** Я ведь с ней только что, пять минут тому назад по автомату говорил.



**Муж.** Да. Сами знаете, времечко сейчас такое – сегодня здесь, завтра там.

**Марья Васильевна** (*Жене*). Куда же это ее – так экстренно?

**Жена.** Ее... (*Смотрит на Мужа.*)

**Муж.** Ее (*Показал рукой.*) Дрова рубит.

**Марья Васильевна.** Ах, на лесозаготовки?

**Муж.** Во-во.

**Лейтенант Мигунов** (*задумчиво*). Дрова – дело хорошее.

**Марья Васильевна.** У вас – центральное?

**Жена** (*задумчиво*). У нас? Да, да. Простите, что вы сказали? Центральное?

**Марья Васильевна.** Мучение, одним словом?

**Лейтенант Мигунов.** Обидно, обидно. А может быть, это и к лучшему, что я ее не застал. Вы знаете, мы ведь с нею знакомы только по письмам.

**Муж.** Да, да, как же... Мы ж давно в курсе.

**Лейтенант Мигунов.** Она меня и в глаза не видела. Но зато какие она письма писала! Эх, вы бы знали... Какие трогательные, ласковые и в то же время какие-то мужественные, ободряющие, по-настоящему патристические письма. Вот она знает – читала.

**Марья Васильевна** (*Жене*). Чудесная девушка!

**Муж** (*посмеиваясь*). А? Что ты скажешь?

**Жена** *смущена, молчит.*

**Лейтенант Мигунов** (*задумчиво*). Помню, бывало, зимой – сидишь у себя в блиндаже. Не скажу, чтобы очень скучно было... Нет, скучать не приходилось. И себя развлекали, и противнику не давали в полную апатию впасть. Что-что, а артиллерия у нас, между нами говоря, веселая. Я – артиллерист.

**Муж** (*покосившись в сторону Жены*). Да, да, как же, мы знаем.

**Лейтенант Мигунов.** Да. Скучать не скучали, а все-таки на душе...

**Марья Васильевна.** Понятно – уж чего там...

**Лейтенант Мигунов.** И вот приходит это письмо. Такое же оно, как и все, – и штемпеля на нем казенные, и обыкновенные марки, и «проверено военной цензурой»... А сколько в этом письме, вы бы знали, огня, сколько такой юношеской свежести, чистоты,

прелести, доброты женской... Потом дней пять после этого ходишь посвистывая, само у тебя внутри как-то свистит... Как будто и сам помолодел. Не знаю, понятно ли я выражаюсь? Понятно ли вам это?

**Жена** (*из глубины души*). Да!

**Лейтенант Мигунов**. Может быть, Анна Ивановна и обиделась бы, уж вы ей об этом не рассказывайте, а только я иногда письма ее вслух читал. Один раз, в апреле, кажется, перед так называемой массажированной артподготовкой я одно ее письмо ребятам своим на батарее прочел... Вы знаете, впечатление – лучше всякого митинга!..

**Муж**. Ты слышишь? Анна Ивановна! А?

**Марья Васильевна**. Как? Вы тоже – Анна Ивановна?

**Муж** (*испуганно*). Как? Что? Нет, я сказал: Марья Ивановна.

**Лейтенант Мигунов**. Вообще надо сказать: не знают или плохо знают наши девушки и женщины, что такое на фронте письмо. Мало, мало, очень мало пишут они.

**Марья Васильевна**. Ну, Володюшка, тебе-то уж грех обижаться!

**Лейтенант Мигунов**. Тут дело не в обиде. (*Повернулся к Жене.*) Вот вы говорите: дрова.

**Жена**. Я? Какие дрова?

**Лейтенант Мигунов** (*дохнул как на морозе*). Это, конечно, дело хорошее. Водочка, скажем, – тоже неплохо, на морозе согреться. Теплая вещь – свитер, рукавички, шарф какой-нибудь – это великое дело. За это спасибо. Но – теплое слово, теплое женское слово – это... это ни на какой овчинный тулуп (*улыбнулся*) с валенками в придачу не променяешь.

**Марья Васильевна**. Ну, Володя, кончай, пора нам собираться. Тебе ведь еще...

**Лейтенант Мигунов** (*поднимаясь*). Да, да. Правильно, жена. Ты у меня – капрал.

**Муж**. Куда вы?!

**Лейтенант Мигунов**. Пора. (*Застегивает шинель, детям.*) Ну, допризывники... (*Берет на руки маленького.*) Левый фланг – равенство на отца командира!..

**Муж** (*в сторону Жены*). Чаю даже не выпили.

**Жена**. Да, да. Чай.

**Марья Васильевна**. Что вы. Какой там чай.

**Лейтенант Мигунов** (*берет под козырек*). Ну-с, дорогие хозяева, простите за неспровоцированную агрессию. Анне Ивановне передайте низкий поклон. Только не говорите ей, пожалуйста, что я такой старый, что я этакая мымра, как изволит выражаться почтенная моя супружница.

**Марья Васильевна.** Володя, ну как тебе не стыдно!..

**Лейтенант Мигунов.** Н-да. (*После короткой паузы.*) А все-таки жаль. Все-таки посмотрел бы я на мою Анечку. Пардон! Может быть, у вас ее карточка есть?

**Жена.** Нет!!

**Марья Васильевна.** Как? Неужели ни одной карточки? Хоть старой какой-нибудь.

**Муж.** Что? Карточка? (*Вдруг осенило его.*) Хо! Ну, конечно, есть. (*Бежит к ящичку.*)

**Жена.** Сережа!

**Муж** (*роется в ящичке*). Квитанции... квартплата... электричество... Ах, вот она где, проклятая!..

**Марья Васильевна.** Карточка? Нашли?

**Муж.** Да. Но это – не та. Это промтоварная. (*Достает из ящичка, сдувает пыль и протягивает лейтенанту Мигунову.*) Вот...

**Марья Васильевна** (*разглядывая из-за плеча мужа карточку*). Ах, какая чудесная девушка!

**Муж.** А? Что? Правда?

**Лейтенант Мигунов.** Вы знаете... я почти... почти такой ее себе и представлял.

**Марья Васильевна** (*детям*). Правда, хорошенькая тетя?

**Мальчик.** Ага.

**Девочка.** Угу.

**Марья Васильевна.** Но, бог ты мой, до чего она похожа на вас!

**Муж.** Ну, помилуйте, что ж тут удивительного? Все-таки, в конце концов, до некоторой степени...

**Лейтенант Мигунов** (*читает*). «Милому Козлику – Аня». (*Повернулся к Жене.*) Простите, она что – замужем или?..

**Жена** (*растерянно*). Она?..

**Муж.** Что вы, товарищ лейтенант. Она же... Она еще в школе учится.

**Марья Васильевна** (*удивленно*). Да?

**Муж.** То есть, разумеется, в высшей школе.

**Марья Васильевна.** Но, простите, почему тут написано: «Москва, 1909 год».

**Муж.** Девятый? Гм. Прошу извинения, это – не девятый, а тридцать девятый. Это у нее еще почерк такой – детский.

**Лейтенант Мигунов** (*оторвался от карточки*). Дорогие друзья! Не считайте меня за нахала. Но – великая просьба: подарите мне эту карточку. А? (*К жене.*) Не заревнуешь?

**Марья Васильевна** (*смеется*). Не заревную.

*Муж переглянулся с Женой. Та чуть заметно кивнула.*

**Муж.** Ну, и я тоже. То есть мы тоже... ничего не имеем против.

**Лейтенант Мигунов** (*пожимает руку*). Спасибо.

**Марья Васильевна.** Володя, ты опоздаешь...

**Лейтенант Мигунов.** Ну... (*Прощается.*)

**Муж.** Значит, на фронт?

**Лейтенант Мигунов.** Да. В двадцать один тридцать.

**Муж.** Ну, бейте их там, оккупантов.

**Лейтенант Мигунов.** Били, бьем и... как это в бухгалтерии называется? (*Показал рукой.*)

**Муж.** Сложные проценты?

**Лейтенант Мигунов.** Во-во. Одним словом, баланс будет, как говорится, положительный.

**Жена.** Да?

**Лейтенант Мигунов** (*учтиво повернулся к ней*). Можете не сомневаться... простите, забыл имя... Марья Ивановна?

*Жена кивнула.*

**Лейтенант Мигунов.** Но это зависит и от вас.

**Муж.** И от нас.

*Гости уже в дверях.*

**Марья Васильевна.** Ну, бывайте здоровы. Простите за беспокойство.

*Все говорят «до свиданья» и «прощайте».*

**Лейтенант Мигунов.** Анечку... Анечку целуйте крепко. Просите писать.

**Муж.** Ну вот еще – просить. Прикажу – и будет.

**Лейтенант Мигунов** (*в дверях*). Пожелайте ей счастья, здоровья, бодрости, сил и прочего, и прочего, и прочего. А главное... главное – хорошего мужа...

*Муж и семья Мигуновых уходят. На сцене одна Жена. Возвращается Муж.*

**Муж.** Слыхала? Говорит: пожелайте ей хорошего мужа! А? Как это тебе нравится?

**Жена.** Мне это нравится.

**Муж.** Что тебе нравится?

**Жена.** Мне нравится... Когда мне желают хорошего мужа.

**Муж.** Погоди... Я запутался. Ты сейчас кто? Тебе сколько лет? Ты в каком классе учишься?

**Жена.** Я? Я всего лишь старая мымра, у которой не очень тоже молоденький муж, которого она очень, очень любит. (*Обнимает его.*)

*Телефонный звонок*

**Муж** (*вместе с Женой подходит к телефону*). Алло! Да? Евгений Исаакович? Да, да. Свободен. Нет, нет, вполне свободен. Что? Заинтриговал вас. А? Как сформулирован вопрос? Какой? А, в кроссворде.

*Жена с удивлением смотрит на него.*

Н-да. Там сказано, в общем, так: «развязка семейной драмы». Что? Десятки решений? Ну, например? Да, да, слушаю. Убийство? Так. Дуэль... Да, да, слушаю. Развод. Гм... Самоубийство. Что еще? Не слышу! Мордобой?..

*Пауза.*

Гм... Видите ли, Евгений Исаакович, благодарю вас, но мне кажется, я уже... решил этот кроссворд. Да, да. И несколько более, так сказать, безболезненно. Во всяком случае, я очень, очень благодарен вам за ваше трогательное участие и добрые советы... Да! Евгений Исаакович, скажите, голубчик, вы еще работаете? Нет? Уходите? А другие как? Баланс еще не подвели? Вы знаете... Скажите, еще не очень поздно? Что? Ага. Вы знаете, я, пожалуй... я, пожалуй, все-таки приду поработаю часок или два. Да, да. Что-то я хотел еще? Да! Евгений Исаакович. Вы не увидите этого... как его... ну, Москалева, нашего снабженца? У него там в киоске давеча такие необыкновенные джемпера появились. Если увидите, попросите его,

голубчик, отложить для меня парочку. Что? Нужно очень. Хочу тут на фронт одному товарищу послать.

*Занавес*

*1943*

## Ночные гости\*

### *Комедия в одном действии из времен Великой Отечественной войны*

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Дед Михайла.

Марья, жена его.

Дуня Огарёва, комсомолка,  
командир партизанского отряда.

Немецкий офицер.

Его вестовой.

Староста.

Партизаны.

Изба деда Михайлы. Налево – часть русской печи. Направо – входная дверь. Темнеет.

За окном бушует метель. У стола бабка Марья собирает ужинать. С улицы входит Михайла. Он с ног до головы запорошен снегом.

**Марья.** Ну, слава тебе, господи, наконец-то!..

**Михайла.** Ох, и метет же нынче, мать, – не приведи бог! Фу!..  
(Отряхивается.)

**Марья.** Я уж и то пляжу – только и гулять в такую-то пору. Эвона, поглядите, какой снегирь!.. И где тебя, старого лешего, носит?! Я уж думала – тьфу, тьфу, тьфу – не в полицию ли его потащили...

**Михайла** (сбивая с валенок снег). Ну, да! На шута я им сдался. Нужен им такой старый хрен. (Бросил веник, проходит к столу.)

**Марья.** Садись, ешь...

**Михайла** (стоит, потирает руки). У Маслюковых, понимаешь, засиделся. Мужики собрались. Побеседовали. То да се. Все-таки оно на людях как-то и дышать легче. (Садится, оглядывается.) Слыхала, мать? Наши-то, говорят, опять наступают.

**Марья** (*испуганно*). Тс-с-с... «Наши»! (*Оглянулась.*) За «наших»-то нынче, знаешь, головы снимают.

**Михайла.** А шут с ним! Пускай снимают. Тоже не жизнь. (*Берет ложку, ест.*) Н-да. А еще такой слух есть, что будто опять к нам в село каратели едут.

**Марья.** О господи! Это кто ж тебе говорил?

**Михайла.** Да волостной этот, черт, сказывал как будто. Если, говорит, партизан не найдут, – ни одного человека в живых не оставят.

**Марья.** Ох уж эти мне партизаны!.. Тьфу на них! И так уж никакого житья нет, а они, колоброды...

**Михайла.** Ну, ну, помолчи, матка... Ладно. Не понимаешь, так и молчи. (*Ест.*)

**Марья.** Только народ баламутят... Это все Дунька эта, Огарёва... Статное ли дело – девчонка, комсомолка, с немцами воюет! Из-за нее, проклятушей, все семейство ихнее постреляли. Сколько народу погибло...

**Михайла.** Ладно, ешь, помалкивай... (*Вдруг вспомнил что-то, хлопнул себя по лбу.*) Эх, старая дубина!

**Марья** (*испуганно*). Ты что?

**Михайла.** Да забыл совсем... (*Поднимается.*) Иду сейчас, понимаешь, мимо Кочетковых, а тут этот... как его... Володька, что ли? Сони-то Минаевой, которую повесили, братишка. Сунул чего-то: «Вам, – говорит, – дедушка, телеграмма...»

**Марья.** Какая телеграмма? От кого?

**Михайла.** Н-да. Сунул и говорит: «Читать, – говорит, – можно, только осторожно». (*Идет к дверям, роется в карманах своего драного зипунишки.*)

**Марья.** А, брось ты!.. Небось пошутил над тобой, старым...

**Михайла.** Да! Хорошие теперь шутки... (*Достает записку.*) Вот она! Эвона! А ну-ка, старуха, засвети огонька, почитаем.

*Марья, что-то сердито бурча, раздувает огонь и зажигает маленькую керосиновую лампочку-фитюльку. Старик достает из-за божницы очки, напяливает их и привязывает веревочками.*

**Марья.** О господи, господи... Тьфу! Погибели на вас нет. Уж и так второй год без карасина живем, а тут – на всякие глупости...



**Михайла.** Ладно, старая, не ворчи. Не тужи, будет тебе еще карасин. *(Развернул записку.)* А ну, почитаем давай, что за телеграмма такая. *(Читает по складам.)* «Дя-дя Ми-хай-ла, се-год-ня ве-че-ром я, ес-ли мож-но, приду к вам ночевать...»

**Марья.** Чего? Кто придет? Это кто пишет?

**Михайла.** Постой, постой... *(Читает.)* «Если вы позволите и если у вас все в порядке, поставьте, пожалуйста, на окошко огонек. Я приду так около семи часов...»

**Марья.** Это кто же пишет?

**Михайла** *(чесет затылок)*. Гм... «Ога-рё-ва Дуня».

**Марья.** Что-о-о?! Дунька?! Да она что – очумела? К нам ночевать просится?

**Михайла.** Тихо, старая, тихо. Значит, у нее дело есть, коли просится. Без дела бы небось не пошла.

**Марья** *(кипятится)*. Да что это она, в самом деле, бессовестная!.. Стыда у нее нет?! Мало, что сама в петлю лезет, и людей туда же тянет!..

**Михайла** *(чесет затылок, смотрит на ходики)*. Н-да. В семь часов. Сейчас без десяти. *(Берет лампочку, потом, подумав, ставит ее обратно на стол.)*

**Марья.** И так уж никакого житья от этих немцев проклятых нет. Уж второй год не живем, а одну муку-мученическую принимаем. У кого все хозяйство разорили, у кого девку повесили... Там, слышно, убили, там – сожгли, там – на каторгу угнали. Только нас одних, стариков, кажись, и не трогают. Ну, и сиди спокойно, и радуйся. Дожить бы до смертного часа и – аминь, слава тебе, господи...

**Михайла** *(чесет затылок)*. Эх, баба! Эх, дура ты, баба! Эх, какие ты, баба, неумные слова говоришь. «Не трогают»? А сердце твое – что? – не трогает, что по нашей русской земле поганые немцы ходят?!

**Марья** *(тихо)*. Мало ли... *(Берет лампочку, держит ее в руке.)* Терпеть надо.

*Пауза.*

И чего это она, в самом деле, к нам вдруг полезла? Что уж – по всей деревне и ночевать ей, кроме нас, негде? Тут у нее крестный живет, там тетка... Тоже, скажите пожалуйста, свет клином сошелся...

**Михайла.** Нет, это не говори, это она хитро придумала. Это она, девка-то, сообразила. У других – что? У кого сын в Красной Армии, кто сам у немцев на подозрении. А мы с тобой вроде как два старых гриба живем, век доживаем.

*Пауза.*

А может, и верно? А? Избенка-то у нас махонькая, и спрятать негде. У людей хоть под полом можно ночь переспать.

**Марья** (*ехидно*). Да? Вот как?! Под полом? Это зимой-то? Эх ты – мужик! Дурак ты, мужик! Девка из лесу придет, намерзла небось как цуцик, а ты ее – в подполье! Вот и всегда вы так, мужики, к нашему женскому сословию относитесь... Нет уж, извиняюсь, не бывать по-твоему! (*Ставит на окно лампочку.*) Вот! Милости просим!

**Михайла** (*смеется, обнимает жену*). Эх, матка, matka... Хорошая ты у меня, matka...

*В окошко стучат.*

**Марья.** Эвона! Уже! Легкая она на помине.

**Михайла** (*заглядывая в окно*). Кто? Что? Иду, иду, сейчас...

*Уходит и почти тотчас же возвращается. В избу вваливается запорошенный снегом немецкий офицер, обер-лейтенант. За его спиной – с автоматом у живота – немецкий солдат.*

**Офицер.** Хайль Гитлер! Шприхьт хир йеманд дойтч? Найн? (*К Михайле.*) Ду! Шприхьст ду дойтч?<sup>[4]</sup>

**Михайла** (*машет рукой*). Нет, нет, не бормочу я по-вашему. Извиняюсь, ваше благородие.

**Офицер** (*ломаным русским языком*). Э-э-э... кто есть хозяин?

**Михайла.** Я хозяин.

**Офицер.** Это есть деревня Ифановка?

**Михайла.** Так точно, Ивановское село.

**Офицер.** Где имеет жить староста?

**Михайла.** Староста... он, ваше благородие, туточки вот, около белой церкви, в большом доме живет.

**Офицер** (*приказывает*). Проводит меня!

**Михайла.** Проводить? Ну что ж, это можно. Проводим... (*Не спеша одевается.*)

**Офицер.** Шнелер! Бистро!

*Старик, одеваясь, делает жене какие-то знаки. Та растерялась, не понимает.*

**Михайла** (офицеру). Пойдем, ваше благородие.

*Немцы и Михайла уходят. Старуха испуганно смотрит им вслед. Слышно, как хлопнула калитка.*

**Марья** (лицом к зрителю). О господи... Владычица... Помяни царя Давида... Спаси и сохрани, царица небесная! (Крестится.)

*Легкий стук в окно.*

**Марья** (подбегая к окну). Что еще? Кто?

*Бежит к дверям и сталкивается с Дуней Огарёвой. Девушка в белом овчинном полушубке и в шапке-ушанке.*

**Дуня** (запыхавшись). Здорово, бабушка!

**Марья** (машет на нее руками). Ох, девка, не в добрую ты минуту прилетела!

**Дуня**. А что?

**Марья**. Да ведь чуть-чуть ты кошке в лапы не угодила. Немцы у нас были. Только что.

**Дуня** (свистит). Фью... Откуда их нелегкая принесла?

**Марья**. Карательный, говорят, отряд. Вас, одним словом, ловить приехали.

**Дуня**. Та-а-ак. Ну что ж. Молодцы, ребята! Ловите!.. А дядя Михайла где?

**Марья**. К старосте его повел. Офицера-то...

**Дуня** (с досадой). Н-да. А я думала – завтра. Ну что ж, ладно – и сегодня можно. Поиграем еще в кошки-мышки.

**Марья**. Это как же, милая, понимать надо?

**Дуня**. А так, бабушка, понимать, что если от немецкой кошки один только хвост останется – так мы и на хвост наступим. (Смеется, протягивает руку.) Ну, бабуся, прощай, мне здесь делать нечего.

**Марья**. Опять в лес?

**Дуня**. Русская земля большая, бабушка. Место для нас найдется.

**Марья**. Холодно ведь.

**Дуня** (многозначительно). Ничего. Не бойся. Холодно не будет. (Подумав.) Н-да. А у меня к тебе, бабушка, просьбица. (Расстегивает полушубок, достает из полевой сумки блокнот и карандаш.) Ты

Володю Минаева знаешь? Моей подруги Сони, которую повесили, брата? Я ему записку напишу, – ты снесешь?

**Марья.** Пиши давай.

**Дуня** (*подходит к столу, пишет*). Если сегодня вечером доставишь – молодец будешь.

*Хлопнула калитка. Во дворе, а потом и в сенях – голоса. Старуха испуганно вздрагивает.*

**Марья.** Ой, девка, никак идет кто-то!..

**Дуня.** Что? Где? (*Сунула блокнот в сумку.*)

**Марья.** А ну, прячься.

*Обе мечутся по избе.*

**Марья.** А ну... живенько... скорей... лезь на печь. (*Подсаживает ее, и Дуня прячется на печь.*)

*Появляются Михайла, русский староста, тот же немецкий офицер и немецкий солдат. У солдата в руке чемодан.*

**Староста.** А это вот, ваше благородие, самая, так сказать, подходящая фатера для вас лично. Тут у нас, имею честь вам сказать, проживают самые безобидные старики-единоличники. Обстановочка у них, правда, неважная, но зато, так сказать, вполне безопасно. И тепло. (*Трогает рукой печку.*) Печку топили. Если не побрезгуете, ваше благородие, можете на печечку лечь. (*К Михайле.*) Клопов нет?

**Михайла.** Пока не было.

**Офицер.** Хорошо. Я буду здесь. (*Солдату.*) Ду бист фрай. Векке мих ум драй ур.<sup>[5]</sup>

**Солдат** (*ставит чемодан*). Яволь! Ум драй ур. Гут нахт.<sup>[6]</sup>

*Откозырял, поворачивается на каблуке и уходит. Михайла, заметив на окне лампочку, вздрагивает. Поспешно ставит лампочку на стол.*

**Офицер.** Что?!

**Михайла.** Тут посветлее будет, ваше благородие.

**Марья** (*многозначительно*). Опоздал! Поздно уж.

**Офицер.** Что ты говоришь? Опоздал? Кто опоздал?

**Марья.** Говорю – поздно. Темно, говорю, на дворе-то...

*Офицер снимает шинель и, расстегивая полевую сумку, проходит к столу.*

**Староста.** Так что ж – я пойду, ваше благородие?

**Офицер** (*не глядя на него*). Да. Иди. Утром придешь.

**Староста** (*кланяется*). Будьте покойнички, приду... Приятного сна, ваше благородие. Советую на печечку. Так сказать, и тепло, и не дует... (*Хозяевам.*) Прощайте, старики.

*Михайла кивнул. Староста уходит. Офицер закуривает, раскладывает на столе бумаги, просматривает их. За его спиной – старики. Марья показывает на печь. Старик не понимает.*

**Офицер** (*повернув голову*). Кто там стоит?

**Михайла**. Это мы стоим, господин офицер.

**Офицер**. Что вы стоить? Дайте мне есть!

**Михайла** (*разводит руками*). А вот уж есть-то, извиняюсь, и нечего, ваше благородие. Как говорится, хоть шаром покати.

**Офицер**. Шаром? Что есть такое «шаром»? Хорошо, дать мне шаром.

**Михайла**. Гм... По какому же месту вам, ваше благородие, дать-то? (*Старуха толкает его в бок.*)

**Офицер**. Я не понимать. Ну, быстро! Дать хлеп, яйка, молёко!

**Михайла** (*жене*). Молоко у тебя есть?

**Марья**. Полно, господин, какое нынче молоко. Молока ведь без коровы не бывает, а наших коровушек всех ваши солдатики скушали.

**Офицер** (*ругается*). А доннер-веттер!..

**Михайла** (*жене*). Ну, чаю хоть согрей.

**Марья**. Чаю-то? Это можно. Пожалуйста. (*Берет ведро, уходит в сени.*)

**Офицер** (*сидит за столом, пишет*). И сделать мне скоро постель. Я должен скоро ложиться спать.

**Михайла**. Н-да. Где же прикажете, ваше благородие? На печи или...

**Офицер**. А-а!.. Все равно.

**Михайла**. На печи-то, я думаю, все-таки оно сподручнее. И тепло, и мешать никто не будет.

**Марья** (*приоткрыв дверь*). Михайла!

**Офицер** (*испуганно*). Кто? Что?

**Михайла**. Меня это, – старуха зовет. Ну, чего тебе? (*Уходит в сени.*)

*Офицер пишет. С печи выглядывает Дуня. Офицер бросает карандаш, поднимается. Дуня поспешно прячется. Офицер ходит по комнате, ерошит волосы, снова садится, снова вскакивает, подходит к печи, греет руки. Потом снова садится за стол и пишет.*

*Возвращается Михайла. Он взволнован. Он только сейчас узнал, что Дуня у него в доме. Он смотрит на печь, чешет в затылке, качает головой. На одну секунду опять показалось лицо Дуни Огарёвой.*

**Михайла** *(кашлянув)*. Гм... Ваше благородие...

**Офицер**. Да? Что?

**Михайла**. Извиняюсь... Этого... вам по каким-нибудь специальным делам пройти не требуется?

**Офицер**. Что? Какой деля?

**Михайла**. Ежели что, так я провожу, покажу.

**Офицер**. Уходи, не мешать мне. *(Поднимается, держит в руке бумагу.)* Стой!

**Михайла**. Да?

**Офицер** *(Смотрит на него в упор)*. Где женчин?

**Михайла**. Чего-о? Какой? Какая женщина?

**Офицер**. Ну... твой жена! Хозяйка.

**Михайла**. А-а-а... Жена? *(Зовёт.)* Марья!

*Марья входит с полным ведром.*

**Марья**. Ну, что?

**Офицер**. Ты где был?

**Марья**. За водой ходила.

**Офицер**. На дворе часовой стоит?

**Марья** *(мрачно)*. Как же... стоит, ирод.

**Офицер**. Что?

**Михайла**. Стоит, говорит, ваше благородие.

*Марья возится с самоваром.*

**Офицер**. Слушать меня! Будем иметь маленький разговор. *(К Михайле.)* Скажи мне, ты знаешь немножко, зачем я и мои зольдат приходил в ваша деревня?

**Михайла**. Гм... Значит, уж дело есть, ваше благородие, коли пришли. Не гулять небось.

**Офицер.** Да, да. Гулять нет. Служать меня! Я и мои зольдат имеют искать в ваша деревня русский партизан! А? Что ты говоришь?

**Михайла.** Как? Не понимаю я чего-то, ваше благородие.

**Офицер.** Я знать, что ви не понимать. Ви добрый старый люди и ви не иметь никакой доля с партизан. Я хотел иметь ваш маленький зовьет. Служать, я буду читать один приказ, который я написал ваш мужик! *(Читает.)* «Воззвание! Командованию германской армии иметь бить известно, что в район деревня Ивановка опэрирует партизанский отряд и что выше... упо... упомянутый партизански группа руководит русский женщина Еудокья Огарьёва, или, как ее имеют называть, товарищ Дуня». *(Пауза.)* Что? Ты знать о такой Дуня? Нет?

**Михайла.** Дуня? Гм... Чего-то я слышал. Только ее, по-моему, ваше благородие, давно уж и в живых нет.

**Офицер.** О, нэт! Живое еще... *(Вздыхает.)* Очень живой. *(Заглядывает в бумагу.)* Дальше... *(Читает.)* «Командование германской армии объявляет: всем, кто имеет указать место нахождения русской партизан Огарьёва, а также кто иметь будет ее нахождению немецким войскам способствовать, иметь получить от немецкий военный штаб награда: один тысяча рублей и живой корова». *(Михайле.)* А? Это хорошо?

**Михайла** *(чесет затылок)*. Н-да... Еще бы... Корова – это я тебе скажу! Это – премия! Только вы бы, ваше благородие, мой вам совет, – еще бы и теленочка приписали.

**Офицер.** Как? Теленочек? Что есть такое «теленочек»? А-а, маленький корова?!!

**Михайла.** Во-во... Уж тогда, я думаю, вам не одну, а десять этих Дунек сразу приведут.

**Офицер.** Да? О, это идэе... *(Пишет.)* «Живой корова и плюс живой маленький теленок»... Так. Дальше... «Тот же, кто иметь будет содействоват партизан, укрывать их в своем доме или способствовать их побегу или не-на-хож-дению – того германская армия будет безжалостно наказать, он сам, а также его семья – отец, мать и маленький дети – будут получать смертный казнь через повешение». *(Кончил читать.)* А?

**Михайла** *(мрачно)*. Н-да.

*Пока офицер читал, Дуня выглядывала с печи. В руке у нее блеснул револьвер, но, по-видимому, она не решилась выстрелить. Офицер кончил читать, и она снова спряталась.*

**Марья** (*ставит на стол самовар*). Нате, хлебайте.

**Офицер** (*весело*). Так. Ну, хорошо. Теперь я буду хлебать чай, а затем буду немножко спать.

**Михайла**. Так где же вам, ваше благородие, спать-то устраивать? Знаете, вижу я, что хороший вы человек, – ложитесь-ка вы на нашу постель, а мы со старухой – на печь.

**Офицер**. А?

**Марья**. Правильно. Ведь, вы знаете, господин, у нас на печке-то... это самое...

**Офицер**. Что?

**Марья**. Тараканов много.

**Офицер**. Как ты сказать? Таракани? Что есть такое «таракан»? А-а, маленький клёп! Э, глупости!.. У немецкий зольдат много свой есть – и клёп, и вошка, и блёшка... (*Пьет чай. Михайле.*) Принеси мне... как это называется? Много-много солёма!

**Михайла**. Чего принести?

**Марья**. Соломы, говорит, принеси.

**Михайла**. А, соломы... (*Мрачно.*) Ну что ж, соломы – это можно. (*Уходит.*)

*Офицер кончает пить чай, встает, потягивается, снимает мундир, кладет на стол пистолет, потом садится и начинает стягивать сапоги. Марья, скрестив на груди руки, стоит у печи, смотрит на него.*

**Марья** (*подходит к офицеру, оглядывается*). Послушай... ты... как тебя... ваше преподобие. Чего я тебе скажу. Это вы насчет коровы-то – сурьезно или как?

**Офицер**. Что? Корова? О, да, да. Это серьезно. (*Поспешно натягивает сапог, поднимается.*) А что? Ты знать что-нибудь?

**Марья**. И... и теленочек, значит?

**Офицер**. Да, да. И теленочек. И один тысяча... Даже два тысяча рублей. Ты знаешь, да, где иметь быть Еудокия Огарёва?

**Марья** (*подумав, кивнула*). Знаю.

**Офицер** (*напяливает мундир*). Ну!



*С огромной охапкой соломы появляется Михайла.*

**Марья** (*приложив палец к губам*). Тс-с-с. (*Делает офицеру знак молчать.*)

*Михайла, став на приступку, бросает на печь солому. Марья и офицер наблюдают за ним. Он уминает солому, потом спускается вниз и тяжело вздыхает.*

**Михайла.** Ох-хо-хо!

**Офицер.** Слюшай... ты! Ходи, принеси еще солёма! Больше солёма! Это очень мало.

**Михайла.** Солому-то, ваше благородие, всю снегом замело.

**Офицер.** А-а... (*Нетерпеливо.*) Ну, быстро!

**Михайла.** Ладно, принесу... (*Вздыхает.*) Ох-хо-хо! (*Уходит.*)

**Офицер** (*к Марье*). Ну?

**Марья.** Уж и не знаю, как... О господи!..

**Офицер** (*стучит кулаком по столу*). Ну, говорить! Быстро! Я слушать тебя. Где она?

**Марья.** Тут она... близко.

**Офицер.** Где?

**Марья.** Тут, одним словом... в одном доме... около колодца.

**Офицер.** Как?

**Марья.** Говорю, тут они, партизаны-то, по ночам собираются в одном доме. Слыхала, будто и Дуня там тоже бывает. Идем, одевайся, я тебе покажу.

**Офицер** (*набрасывает на плечи шинель*). Как ты сказать? У колодца?

**Марья.** Да, да, у колодца. Идем, покажу тебе. Только ты не один иди. Ты солдат с собой ваших побольше возьми. Всех, какие есть, бери...

**Офицер** (*задумавшись*). Гм... Зольдат? О, найн. Нет! (*Сбрасывает шинель.*) Мы будем делать с тобой так. Ты быстро тихонько идешь туда один. Все узнавать и приходить сказать мне.

**Марья** (*смущенно*). Это как же одна? Почему одна?

**Офицер** (*нетерпеливо*). Да, да, я уже тебе сказать. Ходи осторожно... так... без всякий деля. Смотри туда-сюда... Сколько там имеет быть человек... кто там есть. И все приходи рассказать мне.

**Марья** (*подумала, одевается*). Ну что ж, ладно...

*С охапкой соломы появляется Михайла.*

**Михайла** (*застревая в дверях*). О! На! баба! Ты куда это собралась?

**Офицер**. Ну, ну, быстро!

**Михайла**. Ты куда, я говорю?

**Марья** (*не смотрит на него*). К Минаевым я... за молоком.

**Офицер**. Да, да, молёко... (*Михайле.*) Ты! Слюшать! Принеси... это... еще солёма!

**Михайла** (*растерянно чешет затылок*). Еще? Гм... Ну что ж, можно и еще. (*Испуганно поглядывая на Марью, выходит.*)

**Офицер** (*Марье*). Ну! Бегом! Я буду ждать.

**Марья** (*набрасывает на голову платок*). Ладно... (*Уходит.*)

*Офицер, волнуясь и нервничая, ходит по комнате, посвистывает, смеется, потирает руки. Прислонившись спиной к печке, потягивается, громко зевает. Возвращается Марья.*

**Офицер**. Что?!

**Марья**. Да не пускает.

**Офицер**. Кто не пускать?

**Марья**. Да ваш часовой не пускает. Орет чего-то. Меня чуть ружьем, сволочь, не запорол...

**Офицер**. А, плюности! Идем, я сказать ему. (*Идет к выходу.*)

**Марья** (*садится на скамеечку, разувается.*) Ладно, иди, ваше благородие. А я – сейчас. Переобуюсь только.

**Офицер**. Что?

**Марья**. Переобуюсь, говорю. Валенки надену. Снегу на дворе много.

**Офицер**. А! Ну, быстро! (*Уходит.*)

**Марья** (*поднимается, громким шепотом*). Дуня!

**Дуня** (*выглядывая с печи*). Да?

**Марья** (*сбрасывая с себя зипун*). Быстро – одевайся.

*Дуня спрыгнула с печки, сняла с себя белый полушубок, старуха – свой зипун.*

**Дуня** (*переодеваясь*). Ох, бабушка, милая... Знаешь, ведь я его убить хотела... Только вас пожалела.

**Марья**. Полно ты... Нас жалеть.

**Дуня**. Нет, уж бить так бить. Будем бить оптом, всех сразу.

**Марья.** Ладно, молчи. Беги в сени скорей. Там темно. Он не узнает.

**Дуня** (*обнимает ее, звонко целует*). Ну, бабуся... золотце мое... спасибо...

**Марья** (*отталкивает ее*). Да ну тебя! Беги!.. Живо! (*Кидает на печь Лунину одежду*.) Стой! Подсади меня! (*Лезет на печь. Дуня ей помогает.*) Ну, и – беги! Прощай!

**Дуня.** Увидимся еще, бабушка... Скоро!

*Дуня заметила на столе пистолет обер-лейтенанта, взяла его, потом раздумала, вынула из пистолета обойму, а пистолет положила обратно на стол. Все это очень быстро.*

*Шаги и голоса. Дуня метнулась к дверям, потом нагнулась, надевает валенок. Появляются – Михайла с охапкой соломы, за ним офицер. Михайла узнал Дуню, отпрянул.*

**Офицер.** Ну, всё польный порядок. Ты можешь ходить, я сказалъ.

**Михайла** (*загораживая от него Дуню*). Ну, иди, иди, чего ковыряешься!..

**Дуня** (*глухо*). Иду, иду. (*Запахнувшись в Марьин зипун, юркнула в сени.*)

*Офицер подходит к столу, замечает пистолет, прячет в карман. Михайла, бросив на пол солому, вытирает вспотевший лоб, озирается – где же Марья?*

**Офицер.** Ты что? А?

**Михайла.** Устал.

**Офицер.** Усталъ? (*Усмехнулся.*) Солёма тяжелый?

**Михайла.** Ох, тяжелая! (*Озирается.*) Раньше-то она, ваше благородие, словно бы и полегче была, солома-то... А нынче... (*Про себя.*) Куда ж это Марья девалась?

**Офицер.** Твоя жена – умный женчина.

**Михайла.** Жена-то? Умная, ваше благородие. С умом.

**Офицер** (*смеется*). Она умеет нос показать. (*Показывает «нос».*)

**Михайла.** Умеет, ваше благородие. Ох, умеет!

**Офицер.** А солёма ты можешь уносить. Я спать не буду.

**Михайла.** Нет?

**Офицер.** Нет, нет... (*Зевает.*) Хотя... Айн веник цу шляфен<sup>[7]</sup>... Да! (*Снимает мундир.*) Я буду немножко лежать, отдыхать.

*(Пытается влезть на печь.)* Если я буду засипать и если придёт твоя жена, тотчас меня будить! *(Не может взобраться на печь.)* Эй! Служай! Ты! Помогать мне немножко.

*Михайла подсаживает его. Почти тотчас же офицер вскрикивает и кубарем скатывается вниз.*

**Офицер.** О, таузенд тойфель!<sup>[8]</sup> *(Стучит зубами.)* Кто там есть?

**Михайла** *(испуганно)*. Чего? Никого нет, ваше благородие.

**Офицер.** Там кто-то живой! *(Выхватывает револьвер.)* А ну, посмотреть!

**Михайла.** Боюсь, ваше благородие.

**Офицер** *(махает револьвером, кричит)*. Ну!..

**Марья** *(садится на печи, свесив босые ноги)*. Э, ладно, чего там прятаться. Это я, ваше преподобие! Здрате!

**Офицер** *(в ужасе)*. Ты?! Как ты попал? Ты уходил на колодец!

**Марья.** А ты и поверил...

**Офицер.** О, доннер-веттер! Эс ист айне гроссе фальш!<sup>[9]</sup> *(Кидается к Марье с пистолетом. Старуха прыгивает с печи.)* Кто уходил? Говорить мне живо, кто уходил из дом?! *(Махнет пистолетом.)* Ну! Говорить! Я буду стрелять!..

**Михайла** *(делая шаг к офицеру)*. Тихо, ваше благородие, не кричи, тихо...

**Офицер** *(визжит)*. А-а-а!.. И ви – тоже! Все как один! Русский свинья! Полючай! *(Стреляет.)*

*Михайла грудью своей заслонил жену.*

**Офицер.** На! *(Стреляет еще раз, замечает, что пистолет не заряжен.)* А, ферфлюхте тойфель!<sup>[10]</sup> *(Отбросив пистолет, схватил табуретку, замахнулся.)*

*За полминуты до этого на улице застучал пулемет, послышались голоса. Распахнулась дверь. На пороге – Дуня. За ее спиной несколько партизан.*

**Дуня** *(в руке у нее револьвер)*. Стой! *(Стреляет.)*

*Офицер выронил табурет, вскрикнул, схватился за простреленную руку.*

**Дуня.** Хэнде хох!<sup>[11]</sup>

*Офицер поднимает сперва левую, потом – медленно – правую раненую руку.*

**Офицер** (к Михайле). Это кто есть?

**Михайла.** А это вот, ваше благородие, Дуня Огарёва и есть, за которую ты, сволочь, живую корову с телятком обещал.

**Дуня.** А ну... (Показывает рукой, дескать – пошел вон.)

Два паренька с автоматами наизготовку заходят – один справа, другой слева. Офицер медленно идет к выходу.

**Марья** (стоит, по-прежнему прислонившись к печке). Эй! Стой! (Офицер остановился.) Ну-ка, дай я на тебя попляжу в последний раз. (Качает головой.) Ведь надо же! А? Вы подумайте, люди честные... Краденой коровой думал русского человека купить... Эх, и дурак же ты, я тебе скажу, ваше сковородие... (Махнула рукой.) Иди!..

На улице громче застучал пулемет.

Занавес



## Комментарии

### **Рассказы о подвиге\***

Героическая тема привлекала Л. Пантелеева давно. Еще в начале 30-х годов он пишет свой первый рассказ о подвиге – «Пакет».

### **Пакет\***

В 1931 году несколько ленинградских писателей задумали издание детского альманаха. Один из авторов, М. Зощенко, предложил, чтобы в книге были собраны рассказы о героях. (Подробно о возникновении альманаха «Костер» см.: Л. Пантелеев «Гори, гори ясно!», журнал «Нева», 1966, № 5. «Как зажигался „Костер“». Журнал «Костер», 1966, № 5). Для этого альманаха Л. Пантелеев и написал рассказ «Пакет».

Отдельное издание «Пакета» вышло в 1933 году в издательстве «Молодая гвардия». Обложку и рисунки к этому изданию делал Н. А. Тырса.

«Пакет» был инсценирован и долгие годы шел па сцене Московского ТЮЗа. Перед войной снимался фильм «Пакет», где роль Буденного играл сам С. М. Буденный. Поставленный на Мосфильме в 1966 году телевизионный фильм «Пакет» получил первую премию («Злата Прага») на Международном фестивале телевизионных фильмов в Чехословакии.

### **Ночка\***

Первая публикация: «Ночка», журнал «Костер», 1940, № 6. Отдельное издание: «Ночка», М.-Л., Детгиз, 1948.

### **Рассказы о Кирове\***

В 1941 году в Детгизе готовился отрывной календарь. Для него Пантелеев написал три небольших рассказа, в том числе два – о С. М. Кирове. Издание календаря не осуществилось, помешала война. Один из рассказов, под названием «Случай на Волге», был напечатан в журнале «Костер», 1941, № 7. В дальнейшем он назывался «Рассказ

артиллериста». «Рассказ путиловца» был опубликован в № 12 журнала «Мурзилка» за 1946 год.

Впервые «Рассказы о Кирове» вышли одновременно в книгах: «Рассказы о подвиге», М.-Л., «Молодая гвардия», 1948 и «Рассказы», Лениздат, 1948.

### **Первый подвиг\***

«Не нужно думать, – писал А. Толстой, – что герой детской повести должен совершить двенадцать подвигов Геркулеса.

Важно его поведение – факты могут быть самыми повседневными, но поведение героя повести должно возбуждать одобрение, восхищение, стремление к подражанию. Поведение героя должно быть по плечу нашему времени».

Впервые рассказ опубликован в книге: «Первый подвиг», Петрозаводск, Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1946.

### **Приказ по дивизии\***

Рассказ опубликован одновременно в книгах: «Рассказы о подвиге», М.-Л., «Молодая гвардия», 1948; «Рассказы», Лениздат, 1948.

### **Гвардии рядовой\***

Очерк написан в 1943 году и впервые опубликован в газете «Комсомольская правда» (1943, 29 октября).

В том же 1943 году в журнале «Дружные ребята» № 11–12 был напечатан рассказ Пантелеева «Саша Матросов». Между газетной и журнальной публикациями есть существенные различия: в первом случае гораздо подробнее описывается день, предшествующий решающему сражению; во втором-последние часы жизни Александра Матросова.

Отдельное издание рассказа: «Гвардии рядовой», М.-Л., Дет-гпз, 1944. В книге автор более полно раскрыл характер, подробнее рассказал биографию героя.

### **Рассказы о детях\***

Название этого раздела условно. В «Республике Шкид», «Леньке Пантелееве», «Карлушкином фокусе», «Часах» – герои тоже ребята. Дети, их судьбы, характеры всегда волновали Пантелеева, писать для детей стало его жизненным призванием.

Выступая на совещаниях по детской литературе и на страницах печати, писатель призывал своих товарищей к тому, чтобы детская книга была всегда книгой большого содержания, «где были бы и юмор, и героика, и лирика, и настоящие человеческие страсти, и большая мысль», («Детская литература», 1937, № 5.)

### **Честное слово\***

В начале 1941 года редколлегия журнала «Костер» обратилась к нескольким писателям с просьбой: ответить детям на важные этические вопросы, связанные с представлением о долге, чести и т. п. «Костер» успел поместить ответы двух писателей: в № 4 были напечатаны три небольших новеллы М. Зощенко под названием «Разве это неудобно?», а в № 6, вышедшем в самые первые дни войны, был опубликован рассказ Л. Пантелеева «Честное слово». В том же месяце он был перепечатан в московском «Бюллетене Детгиза». Л в 1943 году рассказ «Честное слово» был напечатан в сборнике того же названия, вышедшем в московском Детгизе.

Обычно в детской литературе взрослый поучает ребенка. Пантелеев делает обратный ход – не взрослый ребенку, а ребенок взрослому показывает пример истинной стойкости.

В начале 50-х годов рассказ вызвал полемику в печати (см.: «Литературная газета», 1951, 24 ноября).

По рассказу «Честное слово» был снят фильм под тем же названием (Мосфильм, 1957 год).

С теми же важнейшими вопросами – о хороших и дурных свойствах человека, о воспитании характера – Л. Пантелеев не раз обращался к читателям непосредственно через газеты и радио. В результате одного из таких обращений возникла статья «Хуже трусости», напечатанная в «Пионерской правде» от 23 июля 1968 г. Приводим полный текст этой статьи.

*Хуже трусости*



– Что вы знаете хуже трусости?

С таким вопросом я обратился недавно к читателям «Пионерской правды». Я не думал, что вопрос мой вызовет такое огромное множество откликов. Большинство ребят считают, что ничего отвратительнее трусости на свете нет.

«Трусость – это самое гадкое, самое мелкое и подленькое, что есть в человеке, – пишет мне моя землячка, ленинградская школьница Лена В. – Все очень плохое – ложь и предательство – рождаются в человеке от трусости».

То же пишет и Марина К. из города Киренска:

«От трусости рождаются ложь, предательство... Я думаю, на свете нет ничего хуже трусости».

И почти слово в слово говорит Лена Кочнева:

«Я думаю, что нет на свете ничего хуже трусости. Трусость ведет к подлости, лжи, предательству».

Такого же мнения держатся и Сережа Мелихов, и Таня Рыжова, и Галя Везо, и все пионеры 5-го класса Абаканской средней школы, и пятиклассница Оля Ярошенко, и Вера Жильцова из города Отрадного, и десятки других мальчиков и девочек.

Некоторые ребята считают, что хуже трусости – предательство, измена. Для Риммы Пугаевой из города Уфы и Нади Платоновой из деревни Боровки Псковской области самое страшное зло – равнодушие. Кое-кто ставит на первое место – ложь, угодничество, жадность, лицемерие. Другие, как бы поправляя своих товарищей, напоминают им о том, что жадность – родная сестра трусости, и что изменяют и предают тоже чаще всего из трусости.

Меня по-настоящему порадовал этот поток читательских писем, искренность, непосредственность ребячьих голосов. Значит, эти вопросы – вопросы нравственности, морали – наших ребят волнуют, берут за живое.

Несколько человек признались мне в том, что сами не отличаются большой храбростью.

«Я тоже немножко трусливая, но я воспитываю себя, воспитываю в себе смелость», – сообщает Люба Копейкина из города Череповца.

Другая девочка – Наташа Стефаноза из города Воркуты – пишет:

«Я даже не знаю, что хуже трусости, потому что я сама трусишка».

А ведь это неправда, милая Наташа! Ты не такая трусишка, какой себя считаешь. Признаться в трусости, публично об этом заявить, – для этого тоже нужна смелость.

Никто из тех, кто признался в недостатке храбрости, не оправдывает ни себя, ни трусость вообще. Только одна девочка, Лида Д., написала (правда, «в шутку», как замечает она) очень нехорошие слова:

«Лучше пять минут быть трусом, чем всю жизнь покойником».

Думаю, что многие из вас не сразу и поймут, что это значит. А значит это вот что: за пять минут и даже за одну минуту, за полминуты человек может изменить Родине, предать своих товарищей и друзей, и такой ценой купить себе жизнь. Нет, такие слова не стоит произносить даже в шутку. Хочу надеяться, что гаденький этот афоризм придумала не сама Лида, а что ей подсказал его какой-то нехороший взрослый.

Сейчас мне вспомнилось другое время и другой афоризм. В 1936 году во время гражданской войны в Испании, когда фашистские мятежники уже брали верх над республиканцами и те оборонялись из последних сил, руководительница испанских коммунистов Долорес Ибаррури сказала:

– Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Эти прекрасные, гордые слова облетели тогда весь мир, их с восторгом повторяли всюду. Поэтому я очень хорошо запомнил, как в одной компании один молодой человек – художник – усмехнулся и сказал, что – нет, он не согласен. Он предпочитает хоть и на коленях, а все-таки жить. Прошло немного лет, и мы узнали, что человек этот оказался предателем.

Можно ли бороться с трусостью, можно ли ее победить? Да, можно, но только не тем способом, какой предлагает, например, Наташа Шамардина из 5-го класса. «Трусость надо стереть с лица земли», – пишет она. Почти такие же грозные слова обрушивают на трусость и трусов Таня Богомолова и еще несколько моих читательниц.

Нет, милые девочки, если мы с вами будем действовать таким устрашающим образом, число трусов, пожалуй, не уменьшится, а, наоборот, увеличится. Трусость надо побеждать прежде всего в себе. И начинать надо с мелочей.

Ведь страшно бывает не только под бомбами и снарядами, не только под угрозой пыток... Иногда человек боится самых простых и самых, казалось бы, нестрашных вещей.

Шла по улице пожилая женщина, сильно хромала, почти приседала на левую ногу. Сзади бежали три девочки. Две из них, обгоняя старуху, прыснули, засмеялись. Потом вдруг покраснела и тоже засмеялась их подруга. Девочку эту я хорошо знаю: она добрая, умная и, как мне казалось, вовсе не трусиха.

Позже я спросил у нее:

– Почему ты засмеялась?

Она покраснела еще больше, и тут я вдруг понял, что смеялась она просто «за компанию» – не решилась, постеснялась не только остановить своих подружек, сказать им, что нехорошо, недостойно, глупо и гадко смеяться над увечным человеком, но и просто побоялась прослыть в их глазах пайнкой, белой вороной...

Сколько уж раз говорили у нас о том, что многие ребята плохо воспитаны, садятся за стол в шапках, не уступают места старшим, ленятся лишний раз сказать «спасибо» или «пожалуйста»...

Все правильно. Много таких. Но вот ленятся ли они? Думаю, что не всегда тут виновата лень, а виновата во многих случаях та же трусость, которую некоторые взрослые деликатно именуют «стеснительностью» или «застенчивостью».

Победи в себе эту дурацкую стеснительность, эту смешную маленькую трусость – и вот ты уже выиграл первую битву! Не бойся пойти «наперекор течению», не\*бойся, что над тобой будут смеяться. Посмеются и перестанут. А сильных, принципиальных людей, готовых драться за свои убеждения, всегда и повсюду, во все времена и во всех коллективах уважали и уважают.

Значит, выходит, что ничего отвратительнее трусости на свете нет. С этим мы все как будто согласились. Но вот я вскрываю еще один конверт и читаю письмо из города Чимкента от школьницы Фаризы Салыбековой.

Фариза пишет:

«Хуже трусости – отсутствие какой-либо совести».

Должен признаться вам, ребята, что эти слова чимкентской школьницы меня пронзили. Как верно, как метко это сказано, как точно поставила девочка все на свои места.

Ведь и правда: что толку в смелости, в бесстрашии, в беззаветной храбрости, если за ними не стоит совесть?! Разве не было храбрецов среди гитлеровцев, эсэсовцев, власовцев?..

Честность, идейность, принципиальность – вот главное, что должны мы ценить в человеке. Такой человек не может быть и никогда не будет трусом.

А самый дурной человек – человек бессовестный, бесчестный, безыдейный. Если он храбр, его храбрости цена – копейка. Это храбрость зверя, а не человека.

*1968 2. Л. Пантелеев*

### **Новенькая\***

Рассказ написан для большого сборника «Книга для чтения», который составляли С. Я. Маршак, Т. Г. Габбе и А. И. Любарская. Выходу этой антологии помешала начавшаяся война. Опубликован в «Учительской газете» 10 марта 1943 года, затем вошел в сборник «Честное слово», М., Детгиз, 1943.

### **На ялике\***

Впервые рассказ опубликован в газете «Комсомольская правда», 1943, 26 мая. Затем в сборнике «Честное слово», М., Детгиз, 1943.

### **Маринка\***

Рассказ был начат в блокадном Ленинграде, закончен в Москве, в госпитале, летом 1942 года. Впервые автор читал рассказ по московскому радио осенью того же года. Рассказ вызвал огромное количество читательских откликов. «Маринка» была опубликована в газете «Комсомольская правда» (1943, 5 марта), затем одновременно в сборниках «Рассказы о маленьких и больших», М., Советский писатель, 1948; «Рассказы о подвиге», М., «Молодая гвардия», 1948.

### **Долорес\***

Рассказ написан в 1942 году. Вышел одновременно в сборниках: «Рассказы о подвиге», М., Молодая гвардия, 1948; «Рассказы», Лениздат, 1948; «Новенькая», М., изд-во «Правда», 1948; «Рассказы о маленьких и больших», «Советский писатель», М., 1948.

### **Главный инженер\***

Рассказ написан летом 1942 года. Впервые опубликован в журнале «Дружные ребята», 1944, № 2–3, затем в книге «Первый подвиг». Петрозаводск, Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1946.

### **Платочек\***

Впервые рассказ опубликован в книге «Рассказы и повести», Петрозаводск, Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1952.

### **Индиан Чубатый\***

Персонаж с похожим характером появился в рассказе «Новенькая». Но там Володька Бессонов – лицо эпизодическое. Здесь же выдумщик, фантазер Володька Минаев, прозванный Индианом Чубатым, главное действующее лицо.

Впервые опубликован в книге «Рассказы и повести». Петрозаводск, Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1952.

### **Камилл и учитель\***

Впервые рассказ опубликован в журнале «Костер», 1940, № 5. Затем в сборнике «Повести и рассказы», М., «Молодая гвардия», 1958.

### **Трус\***

Рассказ написан в начале 1941 года для детского отрывного календаря, выходу которого помешала начавшаяся война. Напечатан в журнале «Чиж», № 6 за 1941 год. Затем одновременно опубликован в сборниках: «Рассказы о маленьких и больших», М., «Советский писатель», 1948; «Рассказы», Лениздат, 1948; «Новенькая», М., изд-во «Правда», 1948.

### **Буква «ты»\***

На игре слов автор, по выражению Горького, учит ребенка «тонкостям родного языка».

Впервые рассказ появился в журнале «Мурзилка», 1945, № 8; затем одновременно в сборниках: «Рассказы о маленьких и больших»,

М., «Советский писатель», 1948; «Рассказы», Лениздат, 1948; «Новенькая», М., изд-во «Правда», 1948.

### **Маленькие рассказы\***

«В маленьком рассказе, – говорил А. П. Чехов, – лучше недосказать, чем пересказать». Лаконизм, точность наблюдения характерны для этого раздела.

### **Спички\***

Впервые опубликован: «Ленинградская правда», 1962, 8 апреля; затем в книге «Живые памятники», Л., «Советский писатель», 1966.

### **Кожаные перчатки\***

Впервые опубликован: «Ленинградская правда», 1962, 8 апреля; затем в книге «Живые памятники», Л., «Советский писатель», 1966.

### **Настенька\***

Впервые опубликован: «Огонек», 1960, № 12; затем в книге «Живые памятники», Л., «Советский писатель», 1966.

### **Брат алкоголика\***

### **Плоды просвещения\***

### **Всепоглощающая любовь\***

Там же.

### **Две лягушки\***

Сказка написана в 1937 году. Первая публикация: журнал «Чиж», 1938, № 3. Вышла одновременно в сборниках: ' «Рассказы о маленьких и больших», М. – Л., «Советский писатель», 1948; «Рассказы», Лениздат, 1948.

### **Живые памятники\***

Рассказ печатался в журнале «Вожатый», 1964, № 1; затем в книге «Живые памятники», Л., «Советский писатель», 1966.

### **В осажденном городе\***

«В осажденном городе» – это отрывки из подлинных дневников и записных книжек Л. Пантелеева, которые он вел в блокадном Ленинграде в 1941–1944 годах.

Первая публикация (отрывки): журнал «Москва», 1957, № 6; затем в журнале «Нева», 1964, № 1; полностью в книге «Живые памятники», Л., «Советский писатель», 1966.

### **Январь 1944\***

Первая публикация: «Новый мир», 1965, № 5; затем в книге «Живые памятники», Л., «Советский писатель», 1966.

### **У Щучьего озера\***

Первая публикация: «Нева», 1963, № 5; затем в книге «Живые памятники», Л., «Советский писатель», 1966.

### **Анечка\***

Написана в конце 1942 года, в Москве. Шла на сцене Московского Театра эстрады, во многих фронтовых и периферийных театрах.

### **Ночные гости\***

Написана в 1944 году. Опубликована в журнале «Дружные ребята», 1945, № 1.

*Г. Антонова, Е. Путилова*

## Выходные данные

ПАНТЕЛЕЕВ Алексей Иванович  
Собрание сочинений в четырех томах  
ТОМ 3

Ответственный редактор *И. М. Ивановский.*  
Художественный редактор *А. Д. Рейпольский.*  
Технический редактор *З. П. Коренюк.*  
Корректоры *К. Д. Немцовская* и *Л. К. Малявко.*

Подписано к набору 23/IV 1971 г.  
Подписано к печати 26/XI 1971 г.  
Формат 84X108 1/32. Печ. л. 14,25.  
Усл. печ. л. 23,94. Уч. изд. л. 21,65.  
Тираж 300 000 экз. М-36316. Заказ № 1723.

Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени  
издательства «Детская литература» Комитета по печати при Совете  
Министров РСФСР.

Ленинград, 192187, наб. Кутузова, 6.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография  
№ 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома  
Комитета по печати при Совете Министров СССР, г.

Ленинград, Гатчинская ул., 26. Цена 90 коп.

---

**notes**



## **Примечания**

**1**

Английская велосипедная фирма.

**2**

Словесный портрет (франц.). Термин из практики уголовного розыска.

По-настоящему, по паспорту, его звали Дойвбер, то есть медведь по-древнееврейски (дойв) и медведь на современном еврейском (бер).

4

Привет! Говорит тут кто-нибудь по-немецки? Ты! По-немецки говоришь? (Нем.)

**5**

Можешь быть свободным. Разбуди меня в три часа. (Нем.)

**6**

Можешь быть свободным. Разбуди меня в три часа. (Нем.)

7

Немножко поспать! (Нем.)



А, тысяча чертей! (Нем.)

Это обман! (Нем.)

А, дьявольщина! (Нем.)

Руки вверх! (Нем.)